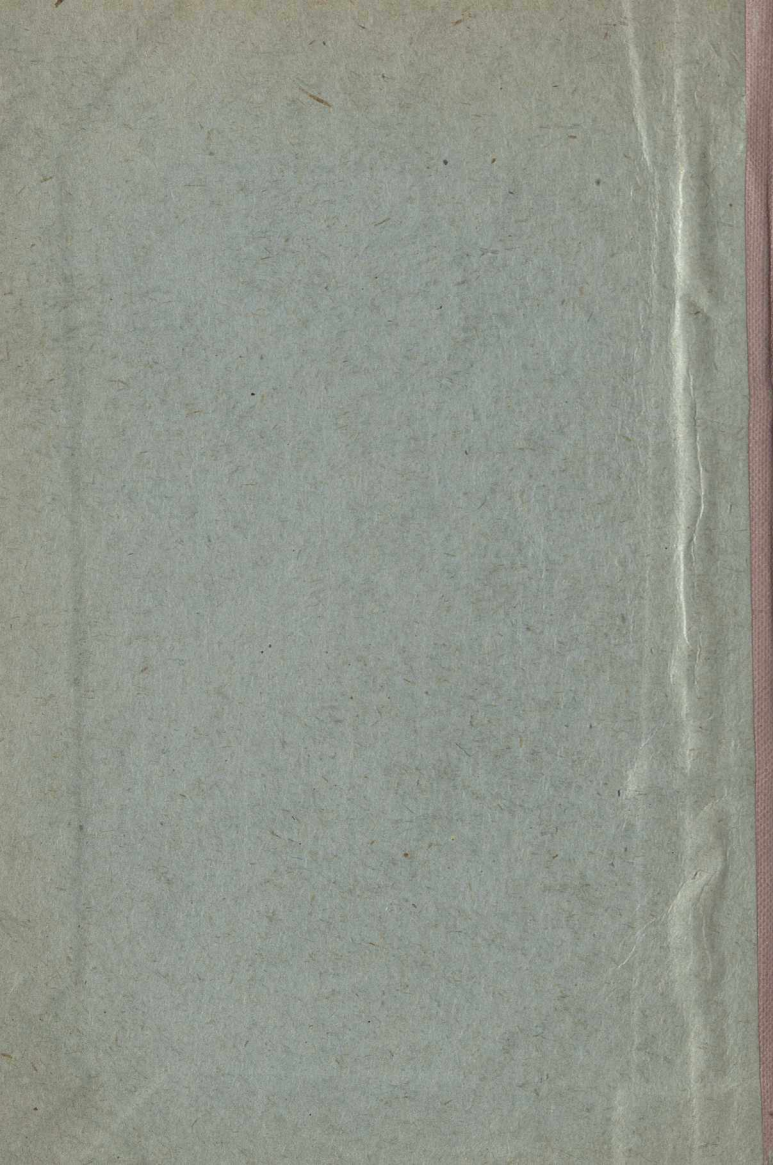
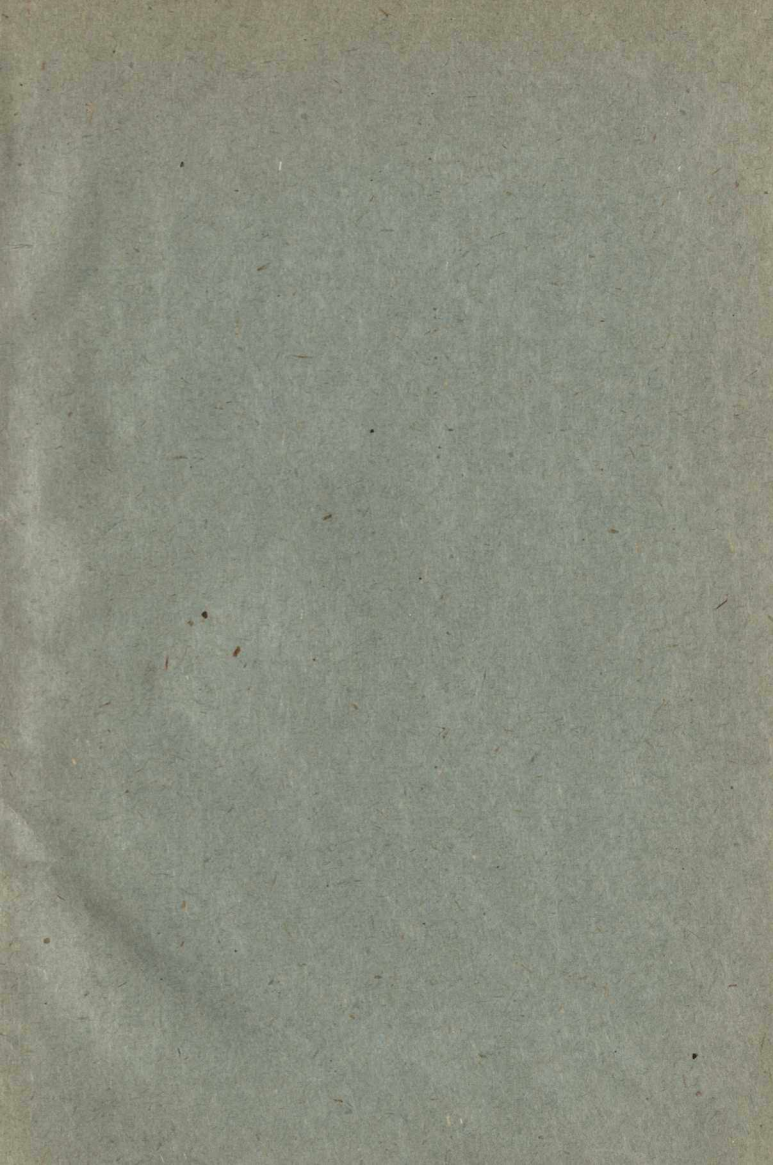


u

463

374







Изд. Комитета Популар. Худож. Издан. при Гос. Акад. Истор. Матер. Культуры
Ленингр. Областлит № 22464 Тираж 3000 Зак. № 2173. Объем 22 $\frac{1}{2}$ п. л.

Типография Облфо, им. Котлякова, кан. Грибоедова, 30-32, 1-30

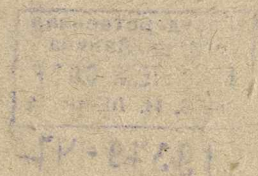
95
ИЗ ПРОШЛОГО РУССКОГО ИСКУССТВА

Акад. П. П. Соколов

U 463
374

ВОСПОМИНАНИЯ

РЕДАКЦИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ
СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
Э. ГОЛЛЕРБАХА



Комитет Популяризации Художественных Изданий
при Госуд. Академии Истории Матер. Культуры
ЛЕНИНГРАД. 1930

Рамка обложки воспроизведена
с первого издания „Бориса Го-
дунова“ А. С. Пушкина (1831 г.);
надпись на обложке сделана (по
образцу шрифта того же изда-
ния) художником Е. Д. Белухой.

Государственная
опдена. Ленина
БИБЛИОТЕКА СССР
М. В. И. ЛЕНИНА

19379-47



2020075955

КНИГА ИМЕЕТ

Листов печатных	Выпуск	В перепл. един. соедин. №№ вып.	Таблиц	Карт	Илл.юстр.	Служебн. №№	№№ списка и порядковый	1961
23				20.	7	503	1029	2

97/3-1029



Э. Голлербах

П. П. Соколов и его „Воспоминания“

В мемуарной литературе, воспроизводящей русскую жизнь 40 — 60-х годов прошлого века, „Воспоминания“ художника П. П. Соколова занимают видное место по обилию сведений о литературной и художественной жизни России в сочетании с тщательно выписанным бытовым фоном. Если они порою уступают воспоминаниям именитых современников художника в смысле глубины наблюдений и значительности выводов, то в отношении некоторых явлений они, напротив, оказываются более точными и содержательными: сосредоточенный и зоркий глаз художника иногда воспринимает события и все их „окружение“ более четко, чем всегда „обсуждающий“, но не всегда „запоминающий“ взгляд писателя.

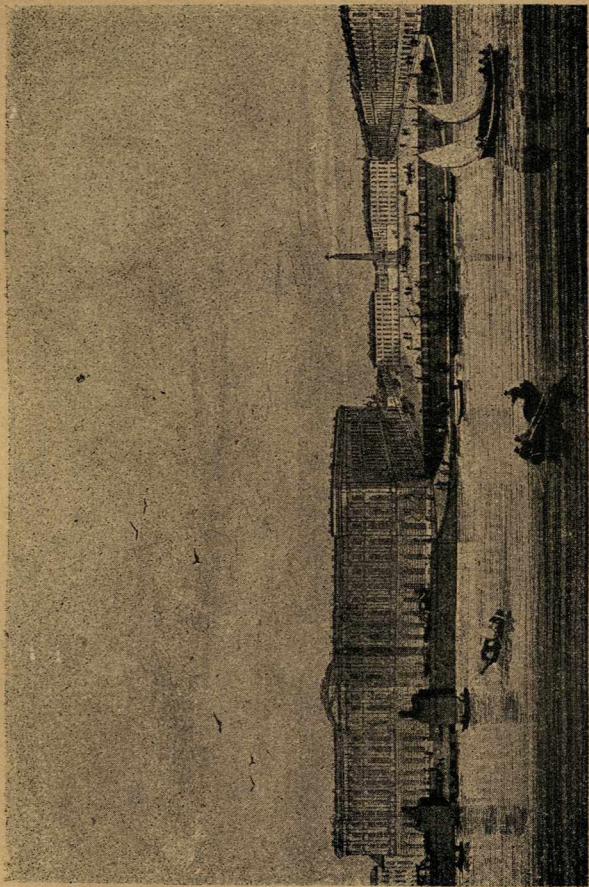
В воспоминаниях П. П. Соколова перед нами проходят „классические“ типы литераторов и художников той эпохи, когда социальный уклад страны создавал разнородные условия творческой работы — привилегии для одних и преграды для других; „случайные люди“, „самородки“, „разночинцы“ были, сравнительно, редкостью. В литера-

туре господствовал „писатель - дворянин“, „писатель - барин“, нередко помещик, владелец крепостных, человек обеспеченный. Д. В. Григорович в своих „Литературных воспоминаниях“ отмечает, что „литераторы сороковых годов имели полную возможность писать неторопливо, холить свою работу; большая часть из них состояла из людей более или менее обеспеченных. Вознаграждение за литературный труд не было для них вопросом жизни“.

Некоторым писателям приходилось завоевывать себе положение путем упорного труда, преодолевать нужду и лишения (Некрасов, Достоевский), но, как общее правило, писатель принадлежал к обеспеченному сословию. Особенно типичны такие, ныне основательно забытые, но в свое время очень заметные, люди, как, напр., Е. П. Ковалевский, о котором рассказывает в своих воспоминаниях Соколов.

„Разночинец“ особенно „густо пошел“ в литературе конце прошлого века и продолжал в начале текущего завоевывать позиции. Тип писателя-барина стал отходить в прошлое задолго до революции 1917 г. Литература стала все более проникаться профессионализмом, превращаясь в основной, а не побочный заработок, проникаясь насущно-трудовым интересом*.

* Как документ, типичный для отмирающей эпохи „барственной“ литературы, замечателен „Дневник“ А. Блока (особенно первый том). Блок, как и некоторые другие виднейшие



Академия Художеств эпохи К. Брюллова.

(С актографии 40-х годов).

Зачатки „обобществления“ литературы, усиление публицистических мотивов и, вместе с тем, расширение круга деятелей искусства и литературы относятся именно к той эпохе, с которой начинаются личные воспоминания П. П. Соколова. Это придает особый интерес его запискам.

Сороковые годы — не знаменуют ли они некий психологический перелом в жизни русского общества или, по крайней мере, его культурных верхов? Нет сомнения, что каждая историческая эпоха создает особый тип людей — не штамп, но как бы контуры, не основу, но очертания, отмеченные у самых различных людей какою-то стилистической общностью.

Год смерти Пушкина—1837—явился той гранью, на которой „начались 40-е годы“. Так бывает: С. А. Венгеров не случайно относил 90-е годы к XX веку, говоря о русской литературе новейшего времени; хронологические сдвиги обусловлены „своеволием

писатели дореволюционной эпохи, был, в сущности, писателем-рантье. Его дневник, с „переживаниями“ на первом плане, с частыми прогулками „просто так“ (а не только в редакцию „за гонораром“), с фигурой мецената—Терещенко едва ли не в центре издагельских возможностей, составляет заключительное звено в длинной цепи „барственно-писательской“ мемуарной литературы. Таких дневников больше не будет, жизнь писателя складывается по иному. Важно не „что“, а „как“: быговые условия прежних лет, разумеется, ничуть не „компрометируют“ и не „умалют“ Блока, но, несомненно, их „тон“ сделал „музыку“ блоковского дневника.

эпохи“; термины „30-е годы“, „40-е“, еще какие-нибудь — имеют условный характер, порою выходя из рамок десятилетия, порою сужаясь. С кончиной Пушкина закончился период „большой“ поэзии — называть ли ее классической или романтической — все равно; и медлительный темп жизни перешел на иной: не оттого, конечно, что 30 октября 1837 г. впервые в России свершился пробег поезда из Петербурга в Царское Село — первая попытка вытеснить мальпосты (о которых упоминает Соколов) и „перекладные“ — паровозом, а потому, что „иное племя“ по иному стало воспринимать жизнь. В наши дни только иногда, очень редко, в час досуга, проходя вечернею порой по тенистым аллеям Летнего сада, остановившись в бездумном созерцании на набережной Невы, где когда-то стоял „А. С. Пушкин с мосье Онегиным“, или бродя в вековых аллеях царскосельского парка, куда тот же Пушкин любил возвращаться, чтобы сливать с шуршанием широко-шумных лип голос памяти, говорящей о годах лицейских, — только тогда можно на миг ощутить — понять — почувствовать стиль и темп „той“ жизни, пушкинской, жизни 20-х, 30-х годов, с путешествиями в дормезах и тарантасах, с остановками на почтовых станциях, на постоянных дворах, с долгими, неторопливыми беседами за самоваром, с бисерными чубуками, шлафроками, вышиваниями по канве, с альбомами стихов, с чувствительными ро-

мансами при свете оплывающих свечей, и—оставляя в стороне шелуху быта—с очень искренним и глубоким мировоззрением у лучших людей эпохи.

У представителей до-пушкинской эпохи и пушкинского времени было „житие“, „эпопея“; с 40-х годов началась „биография“, „хроника“. У тех жизнь была монолитом; у последующих она превратилась в осколки, фрагменты, „ералаш“. Изменился и характер мемуаров: „летопись“ превратилась в „листки“. Таковы и записки П. П. Соколова, подобно запискам его современников. Перелом от пушкинской эпохи к 40-м и последующим годам сказался на мемуарной литературе раздроблением, мозаичностью, эпизодичностью материала. Люди перестали чувствовать свою судьбу, как органическое целое: и она расплылась на „впечатления“, встречи, анекдоты.

Исторический процесс ритмичен, похож на волнообразную кривую: подъем—спуск, подъем—спуск. От одного перелома до другого—примерно тридцатилетие. И по запискам Соколова можно проследить рождение двух формаций, два этапа пути русской интеллигенции: 40-е годы и 70-е. Конец века принес новый сдвиг; несколько, может быть, „преждевременные“ роды при недавнем переломе подводят к образованию новой формации—вновь на исходе тридцатилетия.

Эта периодичность наблюдается как в общественной и литературной жизни, так и в области изобра-

зительного искусства, неизбежно связанного, так или иначе, с процессом развития общества и с направлением литературы. Прилив новых сил здесь также особенно заметен в 40-х годах, затем в 70-х и 90-х. До 40-х годов мы замечаем в истории русского искусства небольшую группу одаренных мастеров-одиночек, наряду с безличной академической группой живописцев-службистов. В области искусства выходцы из народа чаще, чем в литературе пробивали себе путь к успеху, благодаря тому, что на хорошую живопись всегда был спрос, как на „предмет обстановки“. Но и тут господствовали „династические“ условия: профессора Академии Художеств пользовались особыми преимуществами при воспитании своих детей, протекционизм играл важную роль в жизни императорской Академии, и еще бóльшую роль играло частное меценатство. Воспоминания Соколова дают очень показательный материал для характеристики академической атмосферы 30-х и 40-х годов, с мундирами и шпагами профессоров, с бестолковыми конференциями и закулисными интригами, с ложноклассическими канонами, с некрополем гипсовых слепков в классах и кладовых. Прав А. Н. Бенуа, указывая („Ист. русск. жив.“), что все, происходившее в стенах Академии Художеств до появления К. Брюллова и Ф. Бруни, имело, в сущности, довольно мало отношения к подлинному искусству. Величайшими русскими худож-

никами XVIII и начала XIX века были Левицкий, Боровиковский, Венецианов — мастера, никогда не учившиеся в Академии, а не та безличная масса академиков и профессоров, которая официально считалась носительницей искусства. Русские „Рафаэли“ и „Пуссэны“ культивировали в Академии живописные шаблоны, скучные и мертвые, считая их высшими образцами художественного творчества. Академизм изживал себя, выпуская не художников, а каких-то чиновников искусства, усвоивших определенное мастерство, но не умевших, за редкими исключениями, преодолеть трафарет, завещанный им маститыми учителями.

Появление в 30-х годах Брюллова и Бруни на арене академического преподавания произвело настоящий перелом в судьбе Академии.

Для П. П. Соколова эта роль Брюллова осталась незамеченной, — может быть, потому, что в 30-х годах он был еще мальчиком, способным воспринимать лишь эффект внешнего успеха своего знаменитого дяди, а также связанные с Брюлловым анекдотические и компрометантные истории. Отталкивающие черты Брюллова-человека заслоняют перед взглядом мемуариста историческое значение Брюллова-реформатора, каковым он явился в 30—40-х годах. Брюллов силою своего таланта сумел оживить умирающий академизм, влить в него новые силы. В его творчестве не было искренней

убежденности, он больше стремился поразить воображение зрителя, блеснуть великолепием колорита, чем раскрыть некую художественную истину,—но все, что он делал, было ново и свежо по сравнению с до-брюлловской академической мертвечиной, и в этом значение Брюллова.

Миссия Брюллова и Бруни в истории русской живописи равнозначна миссии Менгса, Энгра и Делароша на Западе: они обновили и продлили академическое направление, окружили его ореолом славы и величия, подняли на ту высоту, с которой он затем рухнул, и, рухнув, развалился сильнее, чем если бы он был на меньшей высоте. Мучительные искания, подвижническое искусство Александра Иванова и проникновенное, внешне — бытовое, а внутренне — символическое, творчество Федотова явились бессознательной реакцией на брюлловщину: они, и подобные им, невольно, сами того не подозревая, тихой сапой подкапывались под неоклассическую традицию. Эта борьба „старого“ и „нового“ в искусстве 40 — 50-х годов не отразилась в воспоминаниях Соколова: он запомнил лица, типы, события, но не самый процесс художественной жизни. Художник словно перелистывает старинный альбом с портретами: вот „Карла-Черномор“ (прозвище К. П. Брюллова), вот старик Тропинин, заботливо кормящий тараканов, вот „Клодт Фидиасович“ (как называл В. А. Жуковский скульптора Клодта).

Страдальческой тенью проходит образ Федотова, мелькают силуэты многих других художников. Припоминаются встречи и приключения, оживают образы театральных кумиров, воскресает вся многообразная жизнь старого Петербурга. Здесь есть законченные картины и портреты, есть и беглые наброски, эскизы, иногда карикатуры.

Обращаясь к личности автора „Воспоминаний“, нельзя не остановиться, прежде всего, на обилии у него родственных художественных связей, представляющих интерес с „евгенической“ точки зрения. История искусства знает целый ряд случаев, когда художественное дарование передавалось из рода в род. У нас в России подобными примерами могут служить семьи Брюлловых, Бруни, Бенуа, Лансере, Репина, Клевера и др. Семья Соколовых имеет своего представителя в художественном мире до сих пор: родным внуком Александра Петровича Соколова является профессор московского Вхутекина Лев Бруни.

Павел Петрович Соколов родился в 1826 г. в семье известного портретиста Петра Федоровича Соколова. Жена П. Ф. Соколова — Юлия Павловна была родной сестрой Карла Брюллова; в Государственном Русском Музее имеется акварельный портрет Ю. П. Соколовой, написанный ее сыном Александром.

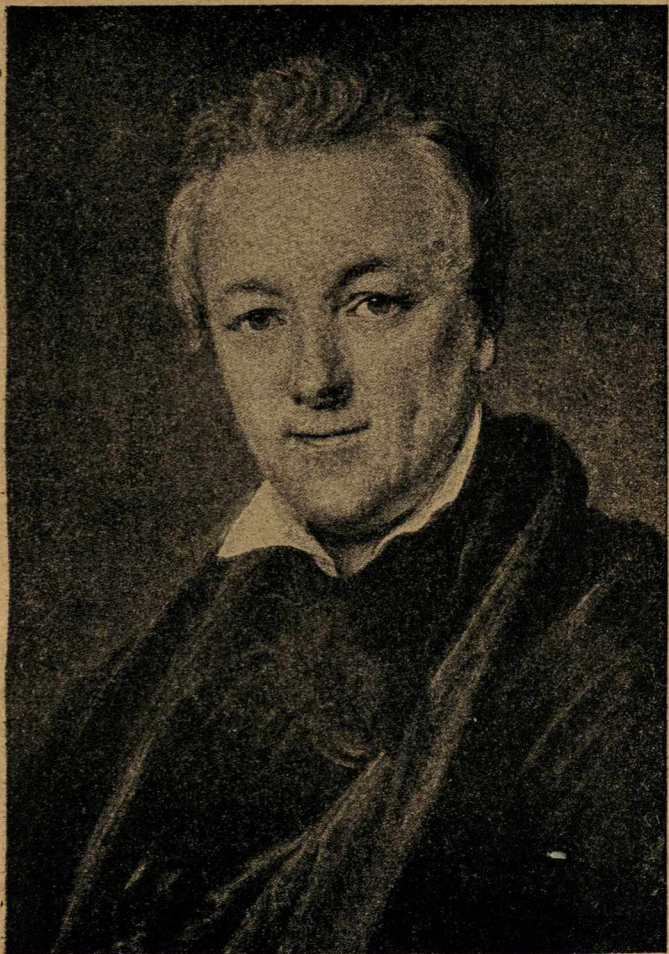
Оба брата Павла Соколова — Александр и Петр

были художниками-акварелистами, так же как и их отец, пользовавшийся славой выдающегося портретиста.

Необходимо вкратце остановиться на деятельности отца и братьев Павла Соколова, в виду того, что обилие однофамильцев часто подает повод к путанице и ошибкам (о некоторых из них будет речь ниже). Разобраться в бесчисленных Соколовых нелегко, — достаточно указать, что в одном только юбилейном справочнике Академии Художеств (1914 г.) приведено 25 живописцев с этой фамилией, не считая скульпторов, архитекторов и гравиров.

Петр Федорович Соколов (1787—1848) — наиболее крупная фигура в плеяде Соколовых, если иметь в виду популярность художника в кругах любителей портретного искусства. Ему принадлежит множество миниатюрных портретов акварелью, вызывавших восхищение современников и пользующихся до сих пор значительным „весом“ на антикварном рынке. Можно сказать, что в 1820—40-х годах П. Ф. Соколов был одним из виднейших петербургских портретистов. В 1839 г. он получил звание академика живописи (портретной, акварельной).

Н. Н. Врангель в своей работе „Миниатюра в России“ (СПб. 1909) указывает, что старинную миниатюру на кости вытеснили в 1820-х годах „акварельные портреты, введенные в моду Петром



П. Ф. СОКОЛОВ.

(С ориг. В. Ар. Тропинина).

Соколовым“. „В эпоху увлечения казенным стилем, лощеностью и выписыванием мелочей, Петр Соколов порвал со старыми заветами и свободно и жизненно увидел и воскресил красоту. Сотни исполненных им акварельных портретов написаны со свободной непринужденностью. Ловкое мастерство их исполнения нравилось даже людям николаевского времени“.

Портреты работы П. Соколова стали как бы „патентом на благородство“. В. Соллогуб говорит в „Тарантасе“, что „всякая невеста, выходя замуж, дарила жениху свой портрет, писанный Соколовым“.

П. П. Соколов довольно много рассказывает в своих „Воспоминаниях“ о Петре Федоровиче, но сообщает о нем сравнительно мало фактических данных. Более подробные сведения о П. Ф. Соколове дает Александр Петрович Соколов, напечатавший задолго до появления „Воспоминаний“ его брата (а именно в 1882 г., в „Русской Старине“) очерк — „Петр Федорович Соколов, основатель портретной акварельной живописи в России“.

Он останавливается, прежде всего, на технике живописных работ своего отца, подчеркивая его значение, как создателя акварельной живописи на бумаге. До П. Ф. Соколова акварельные краски употреблялись не иначе, как с примесью белил; большинство акварельных красок при писании миниатюр на кости было принято смешивать с бели-

лами, а при писании на бумаге акварельные краски употреблялись исключительно в смеси с белилами. П. Ф. Соколов первый начал работать без всякой примеси корпусных красок. Позднейшие его последователи — Гау, Шрейнцер и др. не только не обладали строгостью рисунка, присущей работам П. Ф. Соколова, но не могли усвоить того свежего колорита, тех замечательно мягких переходов от света к полутонам и глубоким теньям, которые составляют главную прелесть и, вместе с тем, трудность акварельного жанра. П. Ф. Соколов, по словам А. П., никогда не прибегал во время работы к каким либо приемам вне чисто живописной техники, напр. к смывкам, протирациям, сглаживаниям и т. п. Тон лица, платья, кружев или фона он накладывал смело, сразу, почти в полную силу и затем детализировал его смешанными, преимущественно сероватыми, оттенками. Ход кисти, ее удары, спускание краски на „нет“ все время оставались на виду.

Работал он быстро, делая иногда портрет в один сеанс, в одно утро. На первых его работах заметно влияние Лампи, Лауренса, Боровиковского, Левицкого. Писал П. Ф. Соколов большею частью на гладком английском бристоле, иногда же (особенно для мужских портретов) брал шероховатый ватман слегка кофейного оттенка. Только в последнем случае он применял один-два мазка белилами для выделения самых белых мест (напр., белья); обычно

же для всех световых эффектов он пользовался неприкосновенной белизной бумаги.

Исключительного совершенства достигал он в передаче таких аксессуаров, как кружева, сохраняя в точности перепутанность кружевного рисунка и бесконечное разнообразие нюансов.

Обращаясь к биографии отца, А. П. Соколов отмечает, что период времени от 1787 г. до выхода П. Ф. из Академии Художеств (1810) совершенно неизвестен. Все, что известно, заключается в сообщении, что отец П. Ф. умер вскоре после его рождения, а мать, вышедшая вскоре замуж за некоего фон-Гильднера, не любила сына и мало о нем заботилась. Говоря о женитьбе П. Ф. Соколова на Ю. П. Брюлловой (в 1820 г.) А. П. отмечает, что братья Ю. П.—Карл и Александр—до конца жизни питали к П. Ф. дружеское и родственное расположение. Это указание может отчасти служить коррективом к сообщению Павла Петровича Соколова о недоброжелательстве К. П. Брюллова.

Из числа работ П. Ф. Соколова А. П. упоминает о некоторых портретах: трехлетнего цесаревича Александра Николаевича (Александра II), имп. Елизаветы Алексеевны, имп. Александры Федоровны, вел. княжен Марии и Ольги Николаевны. Ему был заказан также портрет Николая I, но во время сеанса царь был в дурном настроении и портрет не удался.

В 1842 г. П. Ф. Соколов отправился за границу, посетил Саксонскую Швейцарию, Баден-Баден, Париж. В Париже он написал ряд портретов. Осенью 1843 г. художник вернулся в Россию; в 1846 г. он переехал в Москву. Здесь были написаны портреты кн. Мещерской (рожд. гр. Строгановой), княгини Щербатовой, Стрекаловой и др.

Умер П. Ф. Соколов в имении гр. Н. А. Орловой-Денисовой—Мерчик, около Харькова, от холеры, унесшей в 1848 г. множество жизней чуть ли не на протяжении всей России.

У П. Ф. Соколова был конкурент, менее известный современник - однофамилец — Петр Павлович Соколов (1794 — 1848), также академик портретной живописи и акварелист.

Старший сын П. Ф. Соколова—Петр (1821—1899), как художник, занимает, пожалуй, второе по масштабу место среди Соколовых. Учился он в Академии Художеств (курса не кончил), в 1855 г. получил звание неклассного художника по живописи портретной акварелью, в 1893 г.—звание академика. Он известен, главным образом, своими охотничьими сценами. В отличие от техники П. Ф. Соколова, писавшего тщательные миниатюры, акварели Петра Петровича Соколова отличаются более свободной, эскизной техникой; он применял белила, гуашь и пр. Произведения его неоднократно издавались в виде хромолитографий.

В 1887 г. П. П. Соколов устроил в Обществе Поощрения Художеств отдельную выставку своих рисунков и акварелей. В следующем году им была написана картина „Крушение царского поезда 17 октября 1888 г.“; это произведение он выставял в Петербурге и в Париже.

П. К. Мартьянов в своем (довольно убогом) „Словаре-альбоме русских деятелей XIX века“ (1893) посвятил П. П. Соколову следующие строки:

„Художник и Немврод, отдавший жизнь труду,
Его охотничьи сцены:
„Медведь“, „На тяге“, „Стойка“, „На следу“,
К нам сами просятся на стены,
А мы не знаем их, к великому стыду“...

П. П. Соколов был участником выставок в Академии Художеств, где выставялись в 1874 году его картины „Обоз“ и „Баба, убивающая медведя“ (исторический эпизод), в 1876 г. акварель к стихотворению Некрасова „Сам Топтыгин-генерал едет на берлогу“, в 1877 г. „Охотник на оленя“. В 1876 г. П. П. Соколов дебютировал на Всемирной выставке в Филадельфии картиной „Тройка“.

Петр Петрович Соколов принадлежал к числу „любимцев публики“ не только в России, но и в Париже, где его произведения охотно покупались. В житейском отношении это был „человек богемы“, типичный bon-vivant, ведший легкомысленный образ

жизни. Таким рисует его в своих воспоминаниях и Павел Петрович.

Младший брат Павла Петровича — Александр (1829—1913), учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, затем был учеником Академии Художеств. В 1854 г. получил звание свободного художника (за портрет Киреева), в 1859 г. — звание академика живописи акварельной (за портрет ф.-Крузе). С 1892 по 1907 г. А. П. Соколов состоял хранителем музея Академии Художеств; с 1896 г. числился действительным членом Академии.

А. П. Соколов, в отличие от своих братьев, работавших преимущественно в исторической и жанровой живописи, был, главным образом, портретистом. От отца он унаследовал тщательное отношение к рисунку и детальное выписывание лица, но размер его портретов отличается от миниатюрных приемов его отца, — они написаны обычно в половину натуральной величины.

Другие художники Соколовы, бывшие современниками П. П. Соколова, в родстве с ним не состояли; из них назовем Николая Соколова (1823—1859) — исторического живописца, Ив. Клим. Соколова — портретиста 60—70-х годов, Петра Кир. Соколова (1829—1898) — художника-реставратора и Ив. Ив. Соколова (род. в 1823 г.), академика, проф. жанровой и пейзажной живописи.

Об И. И. Соколове В. Михневич в своем фелье-

тонном словаре „Наши знакомые“ (1884 г.) писал, что это — „специалист по изображению охоты, преимущественно псовой, поэтому и ценить вполне поэзию, драматизм и правдивость картин г. Соколова могут только специалисты „борзятники“ из „Общества любителей охоты“, — нам же сие не дано„.

Кроме того, упомянем известного скульптора, академика Павла Петровича Соколова (р. 1761 г.), автора царскосельской „Девушки с кувшином“ и грифонов на Екатерининском канале. О нем приходится вспомнить в виду совпадения имени и отчества, а также и потому, что живописец Павел Петрович Соколов занимался скульптурой, что может дать повод к ошибкам, несмотря на разницу во времени деятельности того и другого художника*.

Мемуарист Павел Петрович Соколов учился в Академии Художеств (в качестве вольноприходящего ученика) в 40-х годах. Начав учиться живописи, он испытал на себе недоброжелательство К. П. Брюллова и вскоре перешел в архитектурный класс, где учился у К. А. Тона. Архитектурой он занимался недолго и, не чувствуя в себе способности быть строителем, вернулся к живописи.

* На остальных Соколовых останавливаться нет надобности, поскольку они не были современниками П. П. Соколова; отметим только, что в XVIII столетии виднейшим из Соколовых был академик проф. Петр Ив. Соколов (1753—1791) и граверы Иван Алексеевич (1717—1757) и Ник. Ив. (р. 1767 г.).

В 1849 г. Соколов окончил курс Академии и получил звание некласного художника живописи исторической и портретной за портрет художника Н. И. Подключникова. Образ Подключникова рисуется в „Воспоминаниях“ Соколова типичным персонажем Федотова: его облик и окружающая обстановка во всех деталях напоминают федотовского „Бедного художника“. В дальнейшем Соколов был одно время учителем рисования, преподавал в Николаевском женском институте, давал частные уроки, работал в иллюстрированных журналах, занимался декоративной живописью (исполнил несколько панно в Мраморном дворце).

Из его живописных работ обратила на себя внимание картина „Святое семейство“, за которую он получил в 1864 г. звание академика. Б. Л. Тагеев в „Историческом Вестнике“ (1910, авг.) сообщает, что звание академика П. Соколов получил во время пушкинских торжеств в 1899 г., когда были выставлены его картины (и в том числе „Святое семейство“) и иллюстрации к „Капитанской дочке“. В труде Ф. И. Булгакова „Наши художники“ (СПБ, 1889, изд. Суворина, т. III) указывается, что Павел Петрович получил это звание в 1864 г.; эта дата имеется также в юбилейном справочнике Имп. Академии Художеств, составленным С. Н. Кондаковым (т. II). Она представляется более вероятной, так как в 1899 г. Павел Соколов был уже глубоким стариком, 71 года,

и едва ли в этом возрасте писал что-либо капитальное. Булгаков упоминает всего о двух картинах Павла Петровича Соколова — акварель „Тройка“ (экспонировалась на всемирной выставке 1872 г. в Лондоне, была приобретена Александром II) и „Рассказы бывшего солдата“ (собственность гр. Стенбок). Тагеев называет еще ряд произведений Павла Соколова: 1) картину маслом „Иоанн Грозный и Шибанов“ (приобретена Кокоревым за 500 руб.), 2) акварель „Смерть Ивана Сусанина“ (приобретена имп. Марией Александровной и подарена Александру II), 3) две жанровые картины (изображающие молодых женщин), написанные по заказу В. Ф. Громова, затем увезенные в Америку Уэнцом, 4) картину маслом „Моцарт и Сальери“ (приобретена Пальчиковым) и 5) шестнадцать картин, написанных для в. кн. Николая Николаевича Старшего (находились в его дворце). Кроме того, Соколову принадлежит ряд иллюстрационных работ, — именно рисунки к „Капитанской дочке“ Пушкина, к „Евгению Онегину“, к „Горе от ума“ Грибоедова (все эти работы находились в Москве у Булгакова, после смерти которого попали в другие руки), иллюстрации к „Старосветским помещикам“ Гоголя (были куплены Бенкендорфом, затем проданы Марксу, издавшему их небольшой книжкой), к „Тарасу Бульбе“ Гоголя, к „Арапу Петра Великого“ и „Дон Жуану“ Пушкина.

Соколов занимался также и портретной живо-

писью, — им были написаны, между прочим, три портрета знаменитого актера М. С. Щепкина (в ролях), портреты кн. В. А. Кочубея, баронессы Разль и др.

К списку его работ можно было бы присоединить еще отдельные иллюстрационные работы, появлявшиеся в периодических изданиях. Их сравнительно не много и они затеряны в иллюстрированных изданиях середины прошлого века, так что установить их перечень было бы крайне трудно. Особенного соблазна эта задача не представляет, так как лучшее из того, что было сделано Соколовым, относится, по его собственному признанию и по мнению современников, к упомянутым произведениям классической литературы. Недавно удалось найти ряд рисунков П. П. Соколова, относящихся к Павловску и воспроизведенных ксилографией в „Иллюстрации“ 40-х годов. Это — ранние произведения художника, еще робкие и довольно безстильные, но интересные, как зарисовки Павловского парка в старые времена, когда его пейзаж несколько отличался от теперешнего. Рисунки Соколова воспроизводят колоннаду Аполлона, „Шалэ“, Висконтиев мост, давно не существующий театр (замененный другим) и прочие уголки парка. Ценность этих рисунков в том, что они показывают нам Павловск 40-х годов, т.е. как раз той эпохи, о которой говорится в воспоминаниях Соколова и которая занимает видное место в

литературно-бытовой истории Павловска. Именно в конце 30-х годов и в начале 40-х, вслед за сооружением первой железной дороги между Петербургом, Царским Селом и Павловском, последний сделался особенно популярным и модным дачным местом, где жили представители аристократии, литературного и артистического мира. В эти годы здесь жили гр. М. Ю. Виельгорский, гр. В. А. Сологуб, Панаевы, А. А. Краевский, Н. М. Языков, здесь бывали Н. П. Огарев, Тургенев, В. П. Боткин и многие другие.

Повторяем, что заслуги Соколова, как иллюстратора, не в его журнальных рисунках, порою носящих ремесленный характер, а в иллюстрациях к Пушкину, Гоголю и Грибоедову. Иллюстрации к „Горе от ума“ являются одной из его самых удачных работ. Комедия Грибоедова была в 60-х годах особенно любима в качестве иллюстрационной темы. В 1862 г. были изданы иллюстрации М. С. Башилова (1821—1870), гравированные Габером (Дрезден); в 1863 г. появилось малоудачное издание с рисунками Иогансена, гравированными Н. Михайловым; в 1866 г. были выпущены иллюстрации П. П. Соколова, гравированные Брокгаузом в Лейпциге (изд. Н. Тиблена, СПб). А. А. Сидоров в статье „Искусство русской книги“ („Книга в России“, т. II, Гос. Изд., 1925 г.) сопоставляет иллюстрации Башилова и Соколова: „На титульном листе Башилов дает крупный портрет Грибоедова и ряд медальонов

с портретами героев „Горе от ума“, между которыми возятся фантастические чортики. У Соколова композиция та же, но портрет Грибоедова уменьшен, введен вид Москвы, фигуры неких молодых людей: то-есть, иллюстрационность и интерес к литературным персонажам заменяется псевдореализмом. Зато усложнение: гравюра напечатана в две краски, заглавие набрано славянскими буквами“. Башилов сделал 25 рисунков к пьесе, Соколов—32. Характеристика типов в обоих случаях весьма различная и является, в известной мере, характеристикой самих художников-иллюстраторов. Тема первого рисунка одинакова, но ситуации различны. „Софья и Молчалин: у Башилова он ей целует руку, у Соколова они добродетельно музицируют. Первое явление: у Башилова Лиза стучит в запертую дверь, у Соколова—спит перед дверью. Характерная деталь: Соколов дает и рампу, и занавес сцены, на которой, очевидно, мыслит себе происходящей постановку. Появляется Фамусов. У Башилова это—великолепный тип, впоследствии использованный и Боклевским: молодящийся, щеголеватый, толстомордый барин; у Соколова—благообразно-аккуратный чиновник“.

В результате сравнения этих двух иллюстрационных сюит, А. А. Сидоров утверждает, что Башилов несравненно живее, интереснее, разнообразнее, но Соколов—умнее, суше, строже.

„Башилов порою впадает в шарж: его Скалозуб

поэтому уступает соколовскому, чудесно передавшему бурбонистый тип бессмертного полковника. Молчалин удачнее у Башилова, Чацкий не удался ни у того, ни у другого. Любопытны разнородные приемы отношения к иллюстрации вообще у обоих художников. Интеллектуальность Соколова допускает большую свободу обращения с текстом. Он, например, иллюстрирует первый монолог Чацкого, описывающий московские типы, маленькими группами этих самых закулисных персонажей, соединенных в один рисунок. Он дает портрет Софьи и Чацкого. Башилов же живее и энергичнее ведет самое действие и, всякий раз, когда иллюстрация к одному месту совпадает у обоих художников, оказывается выше своего подражателя". Отсюда делается вывод, что в 60-х годах неизбежно было произвести выбор между непосредственной художественностью выражения (Башилов) и типичной рационально-достижимой содержательностью (Соколов). „Цель, очевидно, была поставлена в достижении все того же общественного смысла иллюстрируемого явления. Но то, что совпадало у Агина, у его преемников оказалось разъединенным. Художественно Башилов стоит ближе к 40-м годам. Соколов указывал на будущее—рационалистически—трезвой исторической иллюстрации конца XIX века“.

Иллюстрации П. П. Соколова к „Евгению Онегину“ и „Капитанской дочке“ появились значительно

позднее: „Капитанская дочка“ была издана В. Готье в 1891 г., „Евгений Онегин“ в 1893 г. Первое из этих изданий содержит 12 рисунков Соколова, гравированных на меди А. Ламот, второе—6 рисунков и 16 виньеток Соколова и 2 рисунка Л. Л. Белянкина, воспроизведенных фототипией.

Если в рисунках Соколова к „Горе от ума“ можно усмотреть влияние Башилова и Агина, то в рисунках 90-х годов сквозит некоторое влияние А. Шарлеманя и отчасти М. Зичи, видных иллюстраторов 60-х и 70-х годов. Рисунки эти носят в общем натуралистический характер, типичный для конца прошлого века. Иллюстрации этого типа были завершительным этапом в истории иллюстрированных изданий XIX века, за которым последовала на рубеже этих столетий реформация графического искусства, совершенная художниками группы „Мир Искусства“. В иллюстрациях к „Евгению Онегину“ есть декоративная тенденция (виньетки), но выражена она еще в старомодной форме.

Сам П. П. Соколов был высокого мнения о своих иллюстративных работах и, не желая быть чрезмерно скромным, называет в своих записках рисунки к „Онегину“—„чудными“, а по поводу рисунков к „Старосветским помещикам“, столь небрежно изданным Марксом, высказывает надежду, что „когданибудь русское общество оценит эти вдохновенные работы“.

Как уже было нами отмечено, Павел Соколов занимался и скульптурой; Вольф, напечатавший в 1900 г. некролог Петра Соколова, приложил к статье снимки с ваз работы Павла Соколова, указывая, что их автором является Петр. Об этой ошибке вспоминает и сам Павел Соколов в своих записках.

По словам лиц, знавших Павла П. Соколова в 90-х годах, он вел замкнутый образ жизни и по временам таинственно исчезал, неизвестно куда. Эта черта „непоседливости“ сближала его с братом Петром, от которого он отличался, однако, несравненно большой скромностью и серьезностью.

Литературные опыты Павла Петровича Соколова не ограничиваются его „Воспоминаниями“: он был вообще не чужд литературных занятий и свято почитал звание литератора.

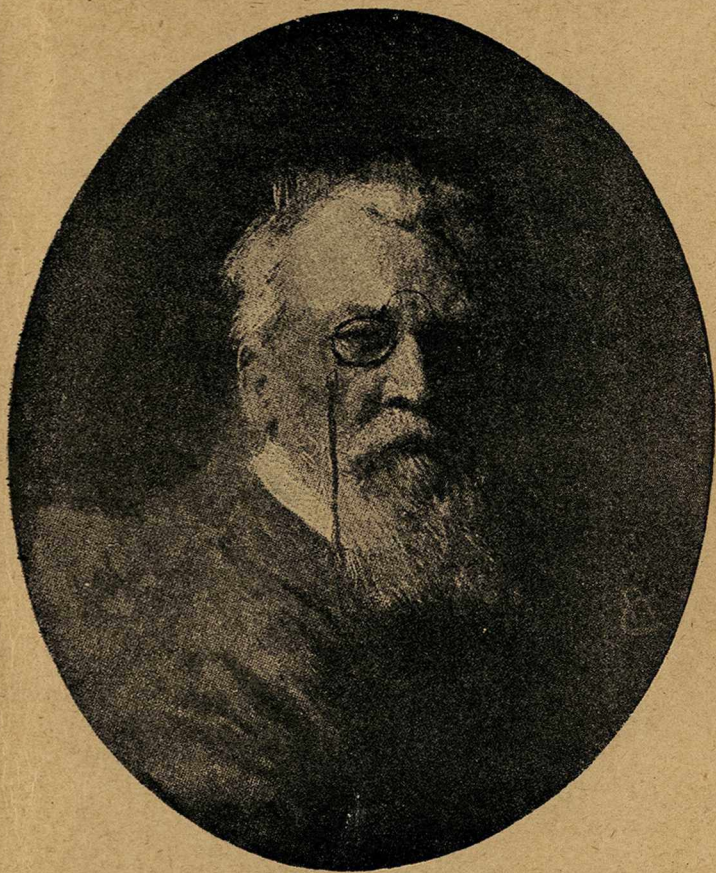
В главе XVI он приводит свой разговор с будущей женою, которой почему-то показалось при первом знакомстве, что Соколов „непременно должен быть литератором“. Художник ответил ей, что это „сильно льстит его самолюбию“, так как, „прочтя Пушкина“, он решил, что звание литератора „выше всего на свете“.

Пушкин остался его кумиром на всю жизнь: он не только иллюстрировал его произведения, но и переделывал их (что гораздо хуже): им были переделаны в драмы „Дубровский“ и „Капитанская

дочка". Первая из этих пьес шла в 1900 г. в Василеостровском театре и имела успех.

„Открытие“ записок П. П. Соколова принадлежит Б. Л. Тагееву, который рассказывает („Исторический Вестник“, 1910, август) о том, как ему случайно досталось несколько тетрадей с рисунками (преимущественно—иллюстрациями к произведениям Пушкина, Гоголя и др.) неведомого автора. Тагеев решил выяснить автора этих рисунков; он показал их в Русском Музее Альберту Н. Бенуа, затем в Академии Художеств—А. П. Соколову. Оказалось, что автором рисунков является Павел Петрович Соколов.

Тагеев разыскал художника, встречу с которым он описывает в следующих строках: „Я вошел в маленькую, довольно мрачную комнату со сводами. По стенам висело несколько картин. Около окна стоял мольберт с начатой женской головкой. Посреди комнаты, на постаменте возвышалась почти законченная глиняная ваза, изображающая группу из „Русалки“ Пушкина. Такая же ваза с группой „Золотой рыбки“ стояла возле одной из стен. Хозяин, повидимому, только что закончил свою работу и, отдыхая, всматривался в изваяние. Это был выше среднего роста, сухой, но весьма благообразный старик, лет за 70, с признаками на лице безусловной красоты. Его симпатичное лицо приветливо улыбалось мне и он любезно предложил мне стул.



Петр Петрович Соколов.

Автопортрет (Гос. Русский Музей).

На голове у старика была надета бархатная ермолка, придававшая ему в окружающей обстановке средневековый вид. Убогое помещение, жалкий, жесткий диван, ветхая мебель, все говорило о том, что старик очень нуждался“.

П. П. Соколов подписал свои рисунки, принесенные Тагеевым, и просил позаботиться об их сохранности.

После этой встречи он стал изредка заходить к Тагееву и однажды принес с собою несколько мелко исписанных тетрадей—свои воспоминания, уполномочивая напечатать из них все, что окажется интересным для печати. Тагеев не сообщает, когда были написаны воспоминания Соколова; в записках Соколова почти отсутствуют даты. Начало воспоминаний (гл. I) содержит не личные впечатления, а пересказ фамильных „преданий“ (биография отца) или сообщения о давних событиях (наводнение 1824 г.). Свою личную жизнь Соколов описывает со времени раннего детства. Он говорит, наприм., что картина Брюллова „Последний день Помпеи“ подействовала на него „опьяняюще“ (гл. II): мальчику было в то время (1834 г.) восемь лет. Таким образом, началом его личных воспоминаний можно считать 1830-е годы; к концу 40-х годов он был уже взрослым человеком.

Воспоминания охватывают около полустолетия; последняя четверть века вовсе не затронута, что

74 объясняется, может быть, замкнутым образом жизни автора, сужением круга интересов, наступлением старости. Некоторые ошибки в датах, сбивчивость анохронизмы можно объяснить именно дряхлостью автора: в начале I-й главы имеется упоминание о выставке 1900 г. (в Академии Наук), как о недавнем событии; отсюда следует, что воспоминания написаны не ранее, как в начале 1900-х годов, т.е. когда П. П. Соколову было уже за 70 лет. Возможно, однако, что некоторые главы, или части главы были написаны значительно раньше и затем оставлены без изменений,—иначе трудно объяснить умолчание автора о целом ряде значительных общественных явлений конца XIX века и личных событий в жизни автора, о которых он не мог бы не вспомнить. Предположение о „мозаическом“ составе воспоминаний подкрепляется и тем, что некоторые их части носят характер более непосредственный и свежий, чем те, в которых ощущается известная „перспектива“, „историческое отдаление“. Об этом свидетельствует и повторное появление некоторых персонажей, без какой-либо последовательности в изложении.

„Воспоминания“ Соколова не отличаются строгой планомерностью, они лишены четкой исторической канвы. Соколов не всегда придерживается хронологического порядка в изложении событий. Например, после рассказа о художнике Федотове,

посещавшем классы Академии Художеств в конце 30-х, начале 40-х годов, он говорит, что не мог навещать Федотова во время его болезни (Федотов психически заболел в 1852 г. и умер 14 ноября того же года), потому что был в это время в Москве, а затем переходит к смерти Пушкина („наступил ужасный для России год, год утраты нашего солнца поэзии—А. С. Пушкина“) и сожалеет, что не мог поклониться священному праху,—т.-е. возвращается назад, к 1837 г., когда ему было всего 11 лет.

Несомненно, что весь быт и события 30-х годов описаны Соколовым с чужих слов, по отзывам старших и, может быть, только отчасти по смутным воспоминаниям детских лет. Характерно, что ни И. И. Панаев, ни А. Я. Панаева, о которых он говорит как о близких знакомых, ни разу не упоминают о нем в своих записках, очевидно, потому, что Соколов был в ту пору еще очень юн и „незаметен“.

В начале главы XX Соколов рассказывает о том, как он писал свою картину „Святое семейство“, за которую в 1864 г. получил звание академика; вслед за тем Соколов говорит о Крымской войне 1854—55 г.г., так что временем создания картины „Святое семейство“ можно предположительно считать именно эти годы.

„Крымская кампания была в разгаре“, пишет он, и затем сообщает: „Начал выходить „Художест-

В "Листок" Тимма. Это указание ошибочно: Тимм начал издавать „Русский Художественный Листок“ в 1851 г. Годом смерти К. П. Брюллова Соколов называет 1854 г., тогда как Брюллов умер в 1852 году. Память изменяет Соколову не только в отношении дат, но иногда и в отношении имен; так, Федора Петровича Толстого он дважды называет Федором Павловичем, скульптуру Логановского „Сваешник“ приписывает Пименову и т. д.

В XXII главе своих воспоминаний Соколов рассказывает о Е. П. Ковалевском в последние годы его жизни (Ковалевский умер в 1868 г.), а затем вновь возвращается к Крымской кампании. В той же главе он упоминает о взрыве на Пороховых в 1871 г. и о своем дяде Александре Павловиче Брюлове (умершем в 1877 г.). На этом, в сущности, и заканчиваются воспоминания, если не считать последней XXIII главы—„На старом пепелище“, с рассказом о Е. И. Димерте (год смерти которого установить нам не удалось) и воспоминаниями о помещике Саврасове и собаке Азорке, относящимися к детским годам автора.

Таким образом, воспоминания П. П. Соколова заканчиваются серединой 70-х годов.

Несомненно, что записки Соколова, подобно большинству памятников мемуарной литературы, страдают местами недостоверностью и отсутствием объективности. В этом—недостаток всяких мемуаров

по сравнению с документами иного рода, представляющими собой сухо запротоколированные факты или внешнее описание исторических событий. Зато мемуарная литература отражает живое восприятие очевидца, в ней есть трепет непосредственных переживаний. Даже „сплетня“, записанная мемуаристом, интересна, как показатель тех или иных бытовых условий.

П. П. Соколов, в некоторых случаях, повидимому, пристрастен, напр., он беспощадно чернит К. П. Брюллова, не пытаясь уравновесить отрицательную характеристику какими либо положительными данными. Он не умеет или не хочет проводить разницу между „человеком“ и „художником“, не учитывает исторической роли Брюллова и т. д.

В оценке некоторых бытовых явлений своего времени Соколов повторяет общие суждения. В частности, как у него, так и у других мемуаристов николаевской эпохи, рассказывающих о К. Булгакове и его проказах, чувствуется почти восторженное отношение к этому гвардейскому повесе, стремившемуся своими курьезными выходками расположить к себе вел. кн. Михаила Павловича. Ни Соколов, ни другие мемуаристы словно не замечают уродливости этого явления, не чувствуют, что в шутовстве Булгакова было много лакейских и подхалимских черт, обусловленных общим бытовым укладом эпохи. На всем протяжении записок Соколова сквозит его

почтительное отношение к „сильным мира сего“, к людям богатым и знатным; его не возмущают проявления социального неравенства, несправедливости. В главе XVII, рассказывая о графе Кушелеве—Безбородко, он вновь восхищается „настоящими ба-рами доброго старого времени“.

Соколов не принадлежит к числу тех избранников, которые, обладая широким кругозором и дальновидностью, овладевают пониманием своей эпохи во всей глубине происходящих событий, улавливая причинную связь явлений, иногда даже пророчески предугадывая будущее, устанавливая верную „иерархию“ своих славных современников и вынося обо всем собственное суждение, не подсказанное толками и пересудами „общества“, где барометром настроений служит „княгиня Марья Алексевна“. Соколов не столько летописец, сколько „хроникер“, послушный отголосок событий. Ему не дано было играть в художественном мире такой роли, которая сама по себе определяла бы его удельный вес, а „прирожденный“ вес у него был не слишком большой. И потому он напоминает нам порою того традиционного доброго дядюшку, который, закулив трубку и придвинув кресло поближе к камину, заводит занимательный, но не всегда умный рассказ о временах минувших, где „история“ перемежается с „историями“, где свое и чужое восприятие явлений смешиваются воедино без особой критической разбор

чивости. Именно таким вырисовывается в своих „Воспоминаниях“ П. П. Соколов: это человек наблюдательный, но не глубокий, лишенный стройного мировоззрения, нередко пользующийся чужими отзывами и слухами, взамен собственных оценок, на что, впрочем, всякий мемуарист имеет право. Соколов хорошо и во-время усвоил злободневные петербургские сплетни, вся „физиология“ Петербурга была у него, как на ладони и „дней минувших анекдоты хранил он в памяти своей“...

Его восхищают веселые сборища в знатных домах; описывая бал у Ф. П. Толстого (гл. VI), он умиленно вздыхает: „вот как жили в былое славное время“... Обратная сторона медали—крепостнический, реакционный режим николаевской эпохи—остается вне поля его зрения. Только раз приковывает к себе его внимание страшная участь петрашевцев—событие, которого нельзя было „не заметить“. Но и тут он воздерживается от каких либо выводов, не ставит дело петрашевцев в связь с пробуждением общественного самосознания,—он относится к трагическим событиям, как рядовой обыватель, может быть, так, как отнесся бы к ним гоголевский Афанасий Иванович, идиллическую жизнь которого воспроизвел Соколов в своих иллюстрациях.

При всей своей эпизодичности и „домашности“, воспоминания Соколова могут, при известных к ним коррективах и при целом ряде фактических попра-

вок (сделанных нами в комментариях), послужить полезным материалом для воссоздания литературной и художественной жизни старого Петербурга.

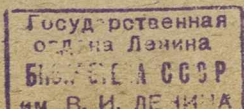
В заключение остается отметить, что „Воспоминания“ печатаются без каких либо стилистических исправлений текста, местами не совсем гладкого и, во всяком случае, не претендующего на художественность. Наши поправки коснулись кое-где только пунктуации (не всегда правильной в первоначальном тексте), распределения абзацов и явных ошибок или описок. В таких местах, как, наприм., глава VII, где Соколов пишет о картине Айвазовского: „верность тонов и теплота южной ночи так верно выражены, что производят чарующее впечатление“,—мы не считали себя вправе вычеркивать эту наивную фразу, или хотя бы устранить тавтологию. „Стиль—это человек“. И было бы жаль изымать из „лирики“ Соколова места, характерные как для него самого, так и для эпохи,—напр., эту старомодную, смешную и милую романтику его интимных переживаний, о которых он считает нужным известить читателя: „я крепко прижимал ее руку к себе и страстная дрожь пробежала по моему телу“ (гл. XIII), или—„мое сердце впервые загорелось чистой истинной любовью“ (гл. XIV), или—„я душою искал мирного, тихого пристанища в лице верной и милой мне подруги“ (там же) и т. п.

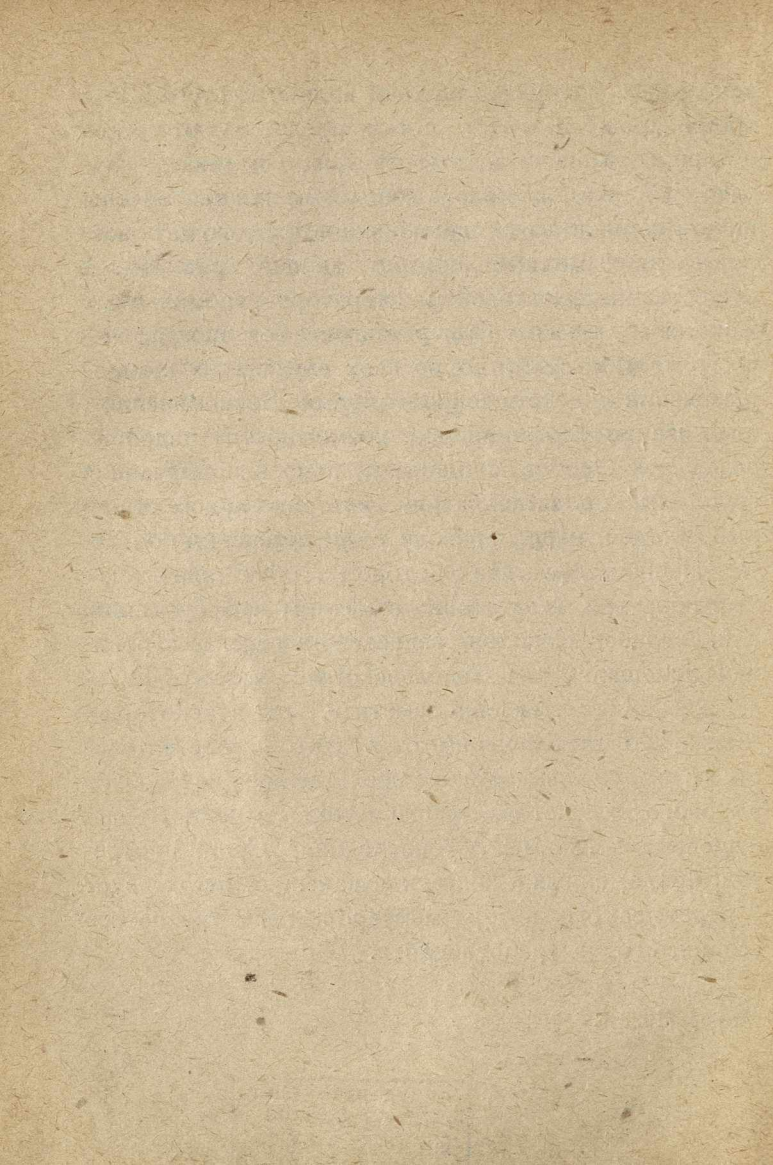
В комментариях наибольшее внимание уделено

тем лицам, которые занимают видное место в „Воспоминаниях“ и, вместе с тем, представляют собою исторически значительные фигуры. Во многих случаях сообщения Соколова дополнены или исправлены показаниями других современников, с целью дать возможно более полный „портрет“ данного лица. Имена общественных деятелей и литераторов, упоминаемых Соколовым вскользь, оставлены без биографического комментария, но во всех случаях их взаимоотношений с действующими лицами „Воспоминаний“, эти взаимоотношения по возможности подробно освещены. Особое внимание уделено в примечаниях событиям, представляющим историко-художественный интерес, напр., эпизоду с тропининским портретом Пушкина, рассказ о котором требует значительных поправок (достаточно отметить, что Тропинин, или, вернее, Соколов, записавший рассказ Тропинина, смешал С. А. Соболевского с каким-то Базилевским). Остается еще заметить, что в некоторых главах, по независящим от редактора обстоятельствам, выпущены места, не представляющие особого бытового или исторического интереса; целиком выпущены две главы (XV и последняя). Среди портретов, приложенных к книге, к сожалению, отсутствует портрет самого автора мемуаров: несмотря на все усилия, его не удалось найти. 175

Э. Голлербах.

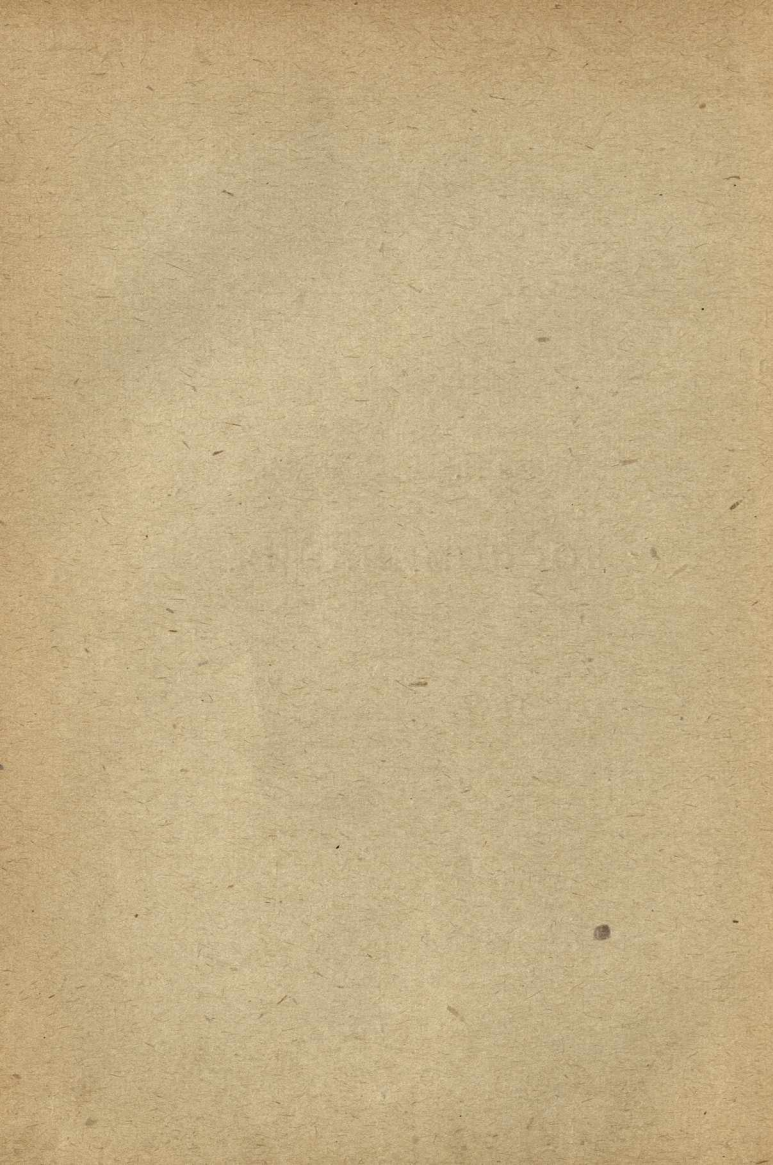
Октябрь 1928 г.





Акад. П. П. Соколов.

ВОСПОМИНАНИЯ.



I.

Мой отец. — Смерть деда. — Переезд отца в Петербург. — Поступление его в Академию Художеств. — Золотая медаль и диплом. — Из-за цыбика чая. — Семейство Брюлло. — Женильба отца.

Отец мой, Петр Федорович Соколов,¹ был лицом замечательным, снискавшим себе европейскую известность акварельными портретами в том роде, который он сам создал. Успехом своим он был всецело обязан своему дарованию и добросовестному труду, без всякой примеси шарлатанства и рекламы, что, к сожалению, нередко приходится встречать в биографиях многих художников, слава которых, раздутая услужливыми приятелями, хотя и блистала некоторое время, но очень скоро погасала бесследно. Не такова была творческая сила моего отца.

Недавно, еще в 1900 году, я видел его работу, случайно попавшую на выставку, имевшую место в академии наук, по случаю столетнего юбилея А. С. Пушкина, — это был акварельный портрет

генерала Раевского, ² прекрасно сохранившийся во всех его деталях. Этот портрет особенно резко выделялся среди прочих картин своею свежестью и силой. Жизненность и правдивость рисунка были поразительны. Вообще, портреты отца славилась сходством столько же, сколько изяществом и силой исполнения; он любил разлить какую-то приятность в изображении того лица, которое рисовал, вероятно, по врожденному и школой выработанному чувству истинного художника, ищущего в изображении того или другого типа красоты. Положим, этот прием художники новой школы называют идеализацией, но это грубая ошибка.

Слава отца, как первоклассного художника, так утвердилось, что я считаю излишним распространяться о достоинствах его рисунка и живописи, а коснусь его, как человека. Это была в высшей степени симпатичная и даже обаятельная личность, пользовавшаяся всеобщей симпатией. При своей необыкновенной скромности отец мой отличался изумительно веселым нравом и общительностью, и эти качества он сохранил до конца своей мирной и счастливой жизни.

Между тем, детство его протекало при весьма неблагоприятных условиях. Отец его, а следовательно мой дед, был весьма зажиточным человеком и жил в собственном доме в Москве, но страсть к картежной игре погубила его. В один прекрасный

день он проиграл все свое состояние вместе с домом и имуществом, не перенес такого удара судьбы и скоропостижно умер. Отец мой, еще будучи ребенком, смотрел в окно и видел, как из конюшен выводили лошадей, из сараев выдвигали экипажи, которые тоже были проиграны. Из дома выносили вещи, картины, а бабушка моя в слезах собиралась в дорогу, чтобы отвезти сына своего в Петербург и поместить его в какое-нибудь учебное заведение.

В Петербурге они остановились у своих бедных родственников, живших в Гавани, которая в то время еще более, чем теперь, страдала от наводнений. Самый бедный люд ютился в этой местности, кое-как перебиваясь изо дня в день, и тогда уже было у жителей Гавани обыкновение выезжать на утлой лодке в залив, ловя разные обломки и щепы, заменявшие собою дрова. Крепкий и ловкий мальчик, мой отец не раз выезжал для подобных экскурсий и нередко в дурную погоду возвращался измокший и чуть не вплавь с кое-какой добычей.

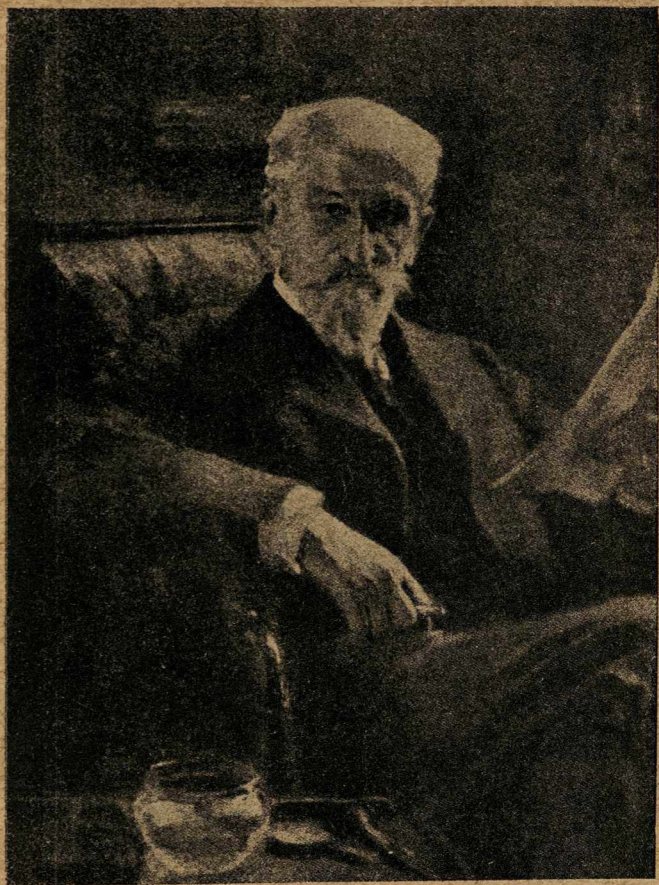
Между тем бабушка изо всех сил старалась определить его куда-нибудь в учение и, наконец, ей удалось поместить его в Академию Художеств полным пенсионером на казенный счет (тогда было еще такое положение). Этому обстоятельству много содействовал действительный статский советник Пещуров, маленький горбатый старичек, знавший

хорошо моего деда. Этот Пешуров был впоследствии псковским губернатором.

В академию маленький Соколов явился в довольно жалком виде, и вместо пальто на него был надет бабушкин старый салоп, что и подало повод его новым товарищам дать ему кличку „салопница“. Долго оставался равнодушен к насмешкам товарищей мой отец и, забившись в угол, просиживал целые часы, но, наконец, он не выдержал и, ухватив первого, который поближе стоял к нему, такую задал ему встрепку, что все остальные разбежались, а пострадавший завизжал. И вот бойкого новичка за подобное буйство на первых же порах засадили в карцер, но зато он сразу приобрел к себе уважение школяров, и к нему более уже не приставали.

В классах отец делал быстрые успехи и, под руководством опытных преподавателей, которыми в то время гордилась Академия, развивал и совершенствовал свой талант. Егоров, ³ Пищалкин ⁴ скульптор Логановский ⁵ и позднее Шебуев ⁶, Басин ⁷ и др. были достойными руководителями талантливых юношей. За программу свою на выпуск, изображавшую „Плач Андромахи над телом Гектора“, отец был награжден золотою медалью, а программа его до сего времени сохраняется в Академии.

Ему, несомненно, предстояла командировка за



А. П. Соколов.

Портрет раб. О. Э. Бразз.

границу на казенный счет, но события 1812 года помешали этому.

Выпущенный с дипломом на звание свободного художника старшей степени, отец стал жить на собственные средства, давал уроки живописи и делал карандашом портреты, имевшие большой успех. Благодаря этим портретам, круг знакомства моего отца очень скоро расширился и он попал в так называемый *beau monde*, посещал театры и собрания, а так как он был очень недурен собою и всегда изысканно одевался, то охотно приглашался на вечера и в частные дома. Особенно же он был облакан в доме старика Пешурова, которому был обязан определением в Академию.

Пешуров был холостяком и жил со своими сестрами, старыми девами, в собственном доме. Он всегда с удовольствием принимал отца и восхищался его талантом. Однажды к отцу обратился с заказом один сибиряк, купец-чаеоторговец, и когда портрет, написанный с него отцом, был закончен, купец пришел в такой восторг, что, кроме уговоренной цены, непременно пожелал сделать отцу подарок. „Завтра получишь, теперь не скажу что, уж будешь доволен, — говорил купец: — ты меня ублаготворил, да уж и я тебя распотешу“.

На другой день отцу приносят огромный цыбик чаю. Чай тогда только что начинал входить в употребление, и лишь у очень богатых людей его по-

давали гостям. Цыбик прекрасного чаю был подарком незаурядным. Зная, что старик Пещуров был охотником и знатоком в чаях, отец и поднес ему этот ценный подарок. Через несколько дней вдруг от Пещурова получает он приглашение на званый вечер. В назначенный час отец уже подъезжал к дому Пещурова, окна и подъезд которого были ярко освещены, а на улице стояло много великолепных экипажей и карет.

В зале уже было много гостей, среди которых отец увидел и Пещурова, который, заметя вошедшего отца, с распростертыми объятиями пошел к нему навстречу.

— Вот тот, кому мы сегодня обязаны приемным вечером,— говорил он, представляя смущенного отца гостям:—это он подарил мне этот замечательный чай.

Среди множества миловидных женщин, наполнявших салон Пещурова, отец заметил немало тех, с которых он писал уже портреты; все осыпали его любезностями, дамы дарили нежными улыбками, а мужчины крепко пожимали руки. „И все это за цыбик чаю“, думал отец.

Когда на другой день отец поехал благодарить Пещурова за оказанный ему лестный прием, то тот объявил ему, что записал его на службу в подведомственный ему департамент. Конечно, отец поблагодарил его, но оговорился, что затрудняется

этим, потому что совершенно не знаком с делом которое ему предстоит на новом месте служения.

— Да этого совсем и не нужно,—сказал Пешуров:—ты только ходи каждый месяц жалованье получать.

О, доброе старое время! Удивительно, до какой наивности доходили тогда влиятельные люди в своем самовластии. Итак, благодаря цыбику чая, отец сделался чиновником. По прошествии двух лет, когда отец уже зарабатывал такие деньги, что вполне был обеспечен, он не вытерпел и явился к Пешурову с заявлением, что ему наконец совестно получать чины и деньги, не принося месту служения никакой пользы.

— Ну, уж это твое дело,—отвечал Пешуров:—коли ты не нуждаешься; я же соблюдаю твою пользу, желая тебе одного добра. Делай как знаешь.

Повидимому, старик был недоволен, не понимая, как это можно добровольно отказаться от чинов и службы. Однако, отношение его к отцу не изменилось, и он попрежнему был к нему ласков и любил его.

В числе академических товарищей отца были трое Брюлловых, то-есть тогда Брюлло. Двум младшим впоследствии, по возвращении их из-за границы, было дано императором Николаем русское окончание „ов“ в награду за их отличные успехи.

Звезда младшего из них, Карла, начинала уже ярко блеснуть на горизонте художественного мира.

Семейство Брюлло возглавлял почтенный старик, тоже художник⁸; его работы до сих пор сохраняются в Академии, как изящный образец вырезки из дерева. Лучшая из них изображает охотничью сумку с веревочной сеткой, в которой видна дичь. Кроме того, старик Брюлло был известен, как отличный живописец по стеклу с серебром и золотом, подражая работам в этом роде времени средних веков. Происхождением он был немец, переселившийся в Россию, и, между прочим, состоял членом возникшей тогда масонской ложи. Не раз я держал в руках и рассматривал его шпагу с золотым эфесом, на клинке которой по синей эмали золотом были написаны слова: „Стои за правду“.

Жена его была деловой женщиной и отличалась всеми немецкими добродетелями, т.-е. домовитостью и умением вести хозяйство. За Брюлло она была уже вторым браком и принесла ему с собою от первого мужа сына Федора, а с Брюлло прижила сыновей Александра, Карла, Ивана и двух дочерей: Марию и Юлию; последняя и была моею матерью. Старший из сыновей, Федор Павлович,⁹ был очень хороший иконописец,—я, по крайней мере, другой работы у него не видал. Вторым, Александр,¹⁰ пошел по архитектуре и сделался впоследствии известен своими постройками; он, между прочим, реставрировал

Мраморный Дворец для великого князя Константина Николаевича и манеж подле Зимнего Дворца. Третий, Карл, ¹¹ знаменитый живописец, написавший картину „Последний день Помпеи“. Иван ¹² был самый младший и отличался в Академии тоже большими способностями; будущность его, без сомнения, была бы блестящею, но чахотка рано свела его в могилу.

Часто посещая дом Брюлло, отец влюбился в младшую дочь Юлию и через два года женился на ней.

В это время отец мой был очень дружен с графом Степаном Федоровичем Апраксиным ¹³ и жил в его доме на Моховой; граф любил отца, был его посаженным отцом и затем крестил меня.

Первые счастливые годы своей семейной жизни отец провел на Васильевском Острове, в 8-й линии, около Среднего проспекта и молодая чета была свидетельницею страшного наводнения, разразившегося над Петербургом в 1824 году.

II.

Строгановская дача.—Черная речка.—Новая деревня.—Успехи отца.—Художник Василевский.—Пансион Журдана.—Летний сад.—Статуя Кановы.—Знаменитая решетка.—Чудак-англичанин.—Поступление в горный корпус.—Успехи Карла Брюлло.

Где в настоящее время нет ни одного свободного клочка земли, где дача настроена на даче, сей-

час же за Строгановским парком, на берегу Черной речки, ютилась во времена моего детства небольшая деревушка, населенная довольно зажиточными мужиками. Вот обыкновенно сюда мы переселялись на дачу с наступлением первых теплых дней. За деревней были так называемые зады, состоявшие из огородов, и за ними небольшая полянка, оканчивавшаяся очень уютной и густой березовой рощицей. Теперь и помину не осталось от этого живописного уголка—все густо застроено дачами. Местом наших прогулок обыкновенно был Строгановский сад, доступный для всех, кроме простонародья, и вот, переправившись на пароме через Черную речку, мы углублялись в его тенистые аллеи, направляясь к графской даче¹⁴. Немного в стороне, под большими деревьями, окруженная высокими и густыми кустами, на двух огромных плитах, служивших ей постаментом, стояла древняя гробница-саркофаг в виде большого мраморного ящика, украшенного высеченными барельефами, обращавшими на себя мое внимание. Влево от гробницы в кустах находилась статуя, изображавшая точильщика. Эта статуя не была какая-нибудь грубая копия, а носила на себе знаки хорошего античного оригинала старинной греческой школы. Далее дорожка вела через крутой каменный мостик, перекинувшийся аркою над протоком, соединявшим речку с большим прудом, посреди которого на искусственном острове

возвышалась большая белая статуя Нептуна с трезубцем и в зубчатой короне,—копия с того самого Нептуна, что красуется в Петергофе, посреди одного из прудов верхнего сада. Дерновый плато перед самым домом графа Строганова, окаймленный дорожкой со скамейками, расставленными под большими деревьями, придавал дому особенно живописный вид. По другую сторону к набережной Малой Невы был парадный вход с цветочным партером, а около больших дверей с обеих сторон стояли статуи Геркулеса Фарнезского и Флоры, копии с весьма известных антиков.

В тенистой стороне этого фасада я нередко видел старушку графиню Строганову, сидящую в большом кресле с колесами и в больших очках, или читающую, или занятую какою-нибудь рукодельною работой.

Не переезжая Строгановского моста, по тому же берегу, дорога вела к деревушке, тогда только что отстроенной графом для крестьян и в которой летом располагались лагерем кавалергарды,—эта деревушка получила название „Новой“, как называется и в настоящее время.

По переезде в город мы жили в Гагаринском переулке, что теперь служит продолжением Шпалерной улицы, где в небольшом двухэтажном доме заняли большую квартиру.

Здесь отец устроил себе довольно изящный

кабинет для приема заказчиков, а так как последние были по большей части великосветские молодые дамы, то запах духов наполнял кабинет отца и казалось, что у него разведен целый цветник. Практика отца достигла колоссальных размеров и портреты его вошли до того в моду, что для вступающих в брак считалось обязательным заказывать ему свои портреты.

Общество того времени строго относилось к искусству и умело ценить хорошую работу, а потому и избрало себе из среды художников фаворита, который и делался модным—вот в такую-то среду и вошел мой отец.

Я подрастал под влиянием отцовского успеха и находился под призором бабушки, которая, впрочем, часто уезжала в Псков, так как была оттуда родом. Не раз старушка рассказывала мне о житье-бытье на своей родине, о страшных чудовищах, водившихся там издавна, не раз с замиранием сердца слушал я разные легенды и сказки об этой для меня чудной стране. Когда я впоследствии читал Пушкина, то нашел в его сказании о селе Горохове много того, что мне напоминало бабушку и ее рассказы, ведь сторона была та же самая, и, естественно, оставались те же типы.

Кроме дяди Ивана Павловича, студента-академика, еще у нас запросто бывал некто Василевский. Это был не особенно далекого ума человек, но с добрым

сердцем, искренне любивший наш дом. По специальности он был копировщик, жил своим трудом и преимущественно рисовал на камне для литографий. Отец всегда помогал ему и наконец достал очень хорошую работу для издания „Исторического описания одежды и вооружения российских войск“, составленного по высочайшему повелению и законченного Висковатовым в 1841 году. Я помню, как он делал большое количество рисунков, изображавших военные формы и вооружения до-петровского времени и позднейших эпох. Теперь с этого издания, составляющего библиографическую редкость, военное министерство стало производить копии. Этот человек заменял мне и брату моему Пьеру как бы гувернера, мирил нас во время наших ссор, занимал нас, когда отец был занят, и немало облегчал мать вознею с нами.

Брат мой Петр¹⁵, потом известный художник, в то время был мальчик очень красивый и, как первенец, любимец матери и отца.

Время летело незаметно, и вот, однажды, в одно утро, отец, отняв чубук от рта, вдруг объявил матери, что решил меня и брата отдать в пригготовительный пансион Журдана¹⁶. Это учебное заведение считалось перворазрядным и учителя в нем были все лица, пользовавшиеся хорошою известностью. Сам директор пансиона, г. Журдан, его жена и обе дочери, помогавшие ему в деле воспитания детей,

были люди с весьма солидным образованием и прекрасно воспитанные, а потому петербургское высшее общество охотно отдавало к нему своих детей.

На жизнь в пансионе я жаловаться не мог; кормили нас недурно, но я долго не мог привыкнуть к французской кухне с ее сладкими соусами и салатами. Гречневая каша, кислые щи и борщ были мне куда милее этих изысканностей французской гастрономии. Я уже свободно болтал по-французски и совершенствовался в русской грамматике под руководством приставленного ко мне гувернера monsieur Alexandre. В свободное от занятий время нас всем пансионом водили в Летний сад, где мы вдоволь резвились и бегали среди его густых чудных аллей. Да, Летний сад был тогда совсем не такой, каким мы его видим теперь, и я посвящу ему несколько строк, так как нигде не встречал описания этого дивного угла Петербурга в том виде, в каком он был более полу столетия назад.

Много его изменили и искусственная расчистка, когда были вырублены все его чудные кусты и высокие шпалеры из акации, как это всегда делалось в садах, распланированных на французский лад, да наконец страшная буря, пронесшаяся над Петербургом в 1862 году, повалила почти все его старые деревья. Огромные великаны-липы величественно возвышались, гордо поднимая свои зеленые головы над молодыми посадками сада. Стволы их

были совершенно черные, с огромными наростами в виде каких-то узлов и шишек и с такими большими дуплами, что садовники затягивали их кожей и оковывали железными обручами. Теперь об этих великанах нет и помину. В шпалерах из акации были расставлены те же мраморные статуи, присланные Суворовым из Варшавы, как трофеи наших побед, но они тогда были чисты, целы и белы, и то, что у них теперь побиты пальцы, носы и руки, никак не следует относить к времени или морозу. Это явно сделано дерзкою пьяною рукою, глумившеюся над чужим трудом во время вакханальных ночей. Обыкновенно, когда сад для входа публики запирался, в него забирались полупьяные компании привилегированных кутил-юношей, проводивших время в обществе разных камелий и т. п. женщин. Компании эти собирались преимущественно в ресторане Балашова, находившемся в беседке, построенной с правой стороны на берегу Фонтанки, и хотя он официально прекращал свою деятельность по выходе из сада публики, но для кутящей молодежи двери его всегда были открыты, и оргии поэтому царили в саду возмутительные.

Начальство же смотрело на все это сквозь пальцы, да и нельзя было иначе по духу времени, когда молодые шалопаи были отпрысками лучших аристократических фамилий. Да и какое дело начальству до охраны каких-то статуй в саду, оно очень пло-

хой ценитель и эксперт в деле искусства, и я это докажу фактом, бывшим значительно позднее описываемой мною эпохи, уже в период моей зрелости. Однажды, гуляя по средней аллее Летнего сада от Инженерного замка, я среди густой зелени акаций усмотрел небольшую статушку, ярким пятном блеснувшую мне на темном фоне кустов. Прежде я ее не видел, и она, по видимому, была поставлена позднее присланных Суворовым статуй из Лазенковских садов. Я подошел ближе к статуе и был поражен ее изяществом, она резко отделялась от посредственных мраморов, наполнявших аллею сада. С трудом на задней стороне статуи я нашел, наконец, надпись и цифры. Охотно держу пари, что не нашелся бы человек, который бы угадал, что я прочел! Да я и сам долгое время не мог прийти в себя от изумления и негодования. На статуе ясно виднелась надпись: „Канова“. Какими судьбами и через какие руки могла попасть подобная редкость в публичный сад на издевательства пьяных компаний, — одному богу известно. Статуя эта изображала бегущего в отчаянии Орфея, в то время, когда он вторично и уже навсегда лишился своей Евридики. Мрамор был безукоризненной чистоты, а про работу нечего и говорить — надпись говорила все. Так вот какие у нас чудеса творятся! Конечно, я немедленно довел до сведения кого следует в Эрмитаже, и статуя была немедленно убрана и поста-

влена там, а вместо нее была поставлена какая-то другая, из бесценных. То, что теперь осталось от этих статуй, имеет такой ужасный вид, что пора бы их убрать, чтобы, по крайней мере, не срамиться перед иностранцами.

Памятника Крылова, конечно, еще не было ¹⁷, и площадь была пуста. Но самым замечательным украшением сада была его изгородь, выходящая на Неву. Высокая железная решетка ¹⁸ на гранитном цоколе с большими 21 гранитными же столбами, наверху которых поставлены вместо капителей вазы, как они стоят и теперь, но тогда эта решетка почти вся была покрыта настоящим золотом, как золотили во времена Екатерины II. Эта золоченая изгородь так ослепительно горела на солнце и так прославилась своим великолепием, что многие иностранцы приезжали специально любоваться на нее, а один чуждак-англичанин, конечно, очень богатый лорд, выехал из Лондона на собственной яхте, прибыл на Неву, и остановившись против Летнего сада, налюбовавшись великолепной решеткой, не сходя на берег, повернул назад и уехал обратно в Англию, сказав только: „tis very good!“ ?

Еще достопримечательностью сада, доступного тогда для публики, был дворец ¹⁹, который мне невольно напоминал из истории ту ночь, когда преобразенцы довольно невежливо вытаскивали из него

жившего в то время в нем герцога Бирона и его супругу прямо из кровати.

Четыре года мы с братом пробыли у Журдана и, не знаю по чьему совету, отец нас взял оттуда и определил пансионерами в горный корпус. Тут уж началась для меня совершенно новая жизнь. В то время все казенные учебные заведения были совершенно на военную ногу и с довольно суровой дисциплиной, и наш корпус в этом отношении даже славился. Попал я в малолетнюю роту и, к счастью, к доброму, симпатичному командиру, капитану Левицкому, относившемуся ко мне особенно нежно, как к слабому. С первого же дня приезда в корпус меня поразил казарменный запах, царивший в дортуарах, к которому я долго потом не мог привыкнуть. Мундир и все белье были пропитаны этим запахом. Суконный воротник сильно натирал мне шею, а тяжелый тесак оттягивал пояс и бил по ногам. Я не мог безнаказанно выносить тягости корпусной жизни и большую часть времени за трехлетнее пребывание в корпусе пролежал в лазарете. Помню я, как к нам приезжал тогдашний министр, горбатый Чевкин ²⁰, наводивший ужас на корпусное начальство своим грозным видом, но обращавшийся с нами всегда ласково, так что однажды мы ему даже принесли жалобу на эконома за плохую пищу. Чевкин серьезно отнесся к заявлению кадет, разобрал дело, эконома прогнал, и нас стали лучше кормить. Ни-

чего хорошего я не вынес из этого корпуса, кроме скуки и довольно дурных привычек, потому что нравственный элемент был там в полном пренебрежении, а потому я лучше перейду прямо ко времени поступления моего в Академию Художеств.

Возвращению из Рима обоих братьев Брюлло предшествовала громкая слава картины младшего из них Карла. Об ней были сообщения из заграницы, восторгам не было конца, и Петербург с нетерпением ожидал ее появления на выставке. Наконец, появился и сам маленький творец ее (Карл Брюлло был очень маленького роста). Картина была помещена в зале Академии Художеств и заняла почти всю стену. Все бросились смотреть ее, и восторг был всеобщий ²¹. Она поражала смелостью выбора сюжета, историческим положением лиц, изображенных на ней, в то же время правильностью рисунка и силою красок и теней. На меня она подействовала опьяняюще. Звезда дяди Карла заблестела.

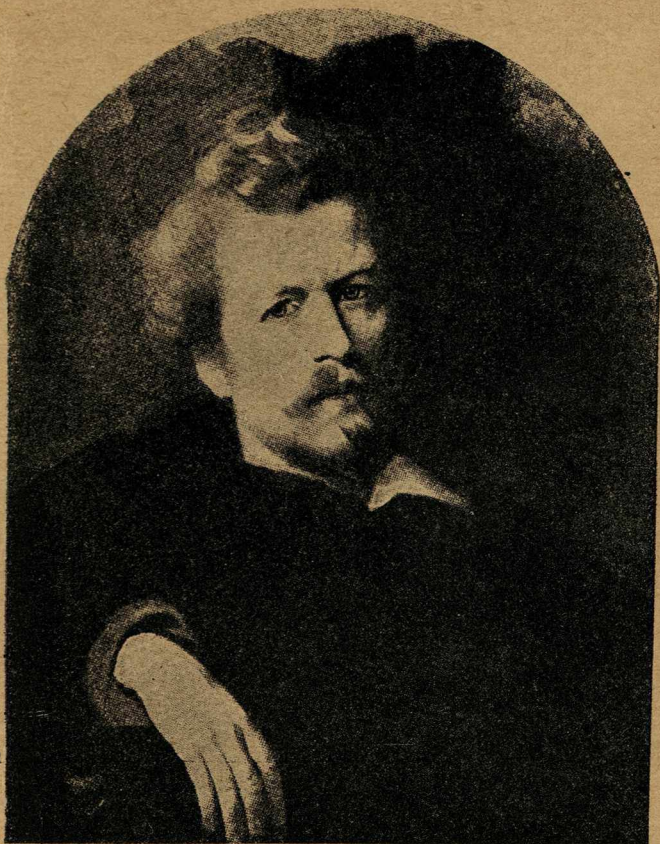
III.

Е. И. Димерт.—Семейство Панаевых.—Поступление в Академию Художеств.—Балаганы.—Театр Лемана.—Композитор Львов.—Музыкальные вечера.

Егор Иванович Димерт ²² был друг и товарищ отца по академии, по профессии архитектор и состоял помощником Стасова, построившего тогда Троицкий собор и триумфальные московские во-

рота. По окончании работ Димерт купил вместе с отцом в Ямской части два пустопорожные места и начал постройку домов. Дела моего отца были блестящи, и у нас завелись даже собственные лошади, а тут еще родился мой младший брат Александр, что теперь хранитель Музея Академии Художеств.

В дом Димерта, который был только что закончен, въехала мать Ивана Ивановича Панаева, известного писателя-беллетриста²³. Мы были уже и прежде знакомы с этим семейством, но теперь, благодаря близкому соседству, стали видаться чаще и ближе сошлись. Родом Панаева была армянка, о чем красноречиво свидетельствовал тип ее лица, но также было заметно, что в молодости она была поразительно хороша собой. Это была добрая, веселая и радушная женщина с молодою душою и жизнерадостным самочувствием. Одно, что в ней осуждали, это то, что она не умела стариться, а спрашивается, много ли таких, что научились этому искусству во-время? Благодаря многочисленной родне и связям Ивана Ивановича, а, главное—его даровитой и симпатичной личности, доброму и снисходительному характеру и уму, вокруг него сгруппировалось то особенно интересное общество, в которое я окунулся в самые мои юношеские лета и которое имело влияние на дальнейшее развитие моего характера. Так, я с удовольствием вспоминаю



К. П. Брю л л о в.

Автопортрет (Гос. Русский Музей).

многочисленные семейства Гамазовых и Лалаевых, состоявших в тесном свойстве и родстве с Панавыми. Они были все армянского происхождения, и большинство из них отличалось поразительною красотою; при этом без исключения все были симпатичны и добродушны.

Ближе всех я знал Николая Лалаева, архитектора, имевшего впоследствии много работ. Женился он на купчихе и взял за ней большие деньги. По своей наружности это был человек замечательный и прозывался „волосатик“, так как с ног до головы был покрыт волосами. Роста он был огромного и из этой массы волос выглядывали два добродушных глаза.

Минуло лето, которое я провел в Павловске, и вот, по возвращении в Петербург, отец повез меня с братом Пьером на Васильевский Остров, чтобы представить нас в Академию и открыть нам широкие двери храма, в который нам суждено было войти бесповоротно для служения искусству.

В одной из античных зал, куда нас привели, стоял большой стол, покрытый зеленым сукном, за которым восседали учителя и секретарь Академии. Тучный, с добродушным лицом, Василий Иванович Григорович ²⁴, распорядился о производстве нам испытания, которое два учителя сейчас же начали как-то поверхностно и спешно, и через двадцать минут мы уже были записаны вольноприходящими

в первый рисовальный класс. С этого момента карьера моя была решена, и я начал усердно посещать классы.

Школа же моя, как художника, началась с первого моего посещения Эрмитажа, который и впоследствии был моим лучшим руководителем. Самое разнообразие оригиналов не давало мне увлечься какой-нибудь одной манерой, от которой впоследствии освободиться было бы очень трудно, а то и невозможно... Я завел себе рисовальные книжки, в которых, кроме отдельных рисунков, заносил целые последовательные факты истории; так, например, мною была тщательно обработана история походов блудного сына.

Достав случайно „Руслана и Людмилу“ Пушкина, я так увлекся моим милым поэтом, что с этой поры только и был занят его произведениями, стараясь понять его типы и изображать их карандашом. Немало служил мне пособником и театр, для выработки экспрессии, которую я впоследствии давал лицам, изображенным мною на картинах. Было время, когда Академия Художеств выдавала особенную золотую медаль исключительно за экспрессию, и это в высшей степени справедливо.

Наступила масленица и с нею вместе всевозможные народные развлечения, которым от души тогда отдавалось все петербургское общество. Балаганы устраивались тогда на Адмиралтейской пло-

щади, на месте нынешнего сада, и вся публика устремлялась туда. Что за пестрое и оживленное зрелище представляло собою это гулянье! Константин Маковский, заставший еще балаганы на этой площади, прекрасно их изобразил на своей картине, только у него не сделано традиционного цуга экипажей, двигавшихся медленно, длинной вереницей, вокруг всей площади.

Центром целой массы построек и балаганов был пантомимный театр Лемана²⁵; но этому театру не повезло—он сгорел и в нем погибло не мало человеческих жертв, потому что двери его открывались вовнутрь, а не в наружную сторону.

Этот развеселый театр был битком набит и отборным обществом и народом—хохот в нем стоял неумолкаемый. Игралась постоянно итальянская комедия, и Леман играл Пьерро так, как после него никто не играл. Этот Леман был преоригинальная личность и при этом природный комик; по мне, он ужасно походил на Живокини²⁶, которого я позднее видел в Москве. Надо быть человеком чрезвычайно тонкого ума, чтобы уметь так рельефно изобразить совершенного дурака и выставить так сильно весь комизм его непроходимой глупости. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что этот Леман человек, получивший очень большое образование в весьма начитанный.

Насмеявшись вдоволь у Лемана, я отправлялся

домой, где у нас собиралось в высшей степени интересное общество музыкантов. Одним из первых являлся приятель отца, композитор Алексей Федорович Львов²⁷, который написал „Боже Царя храни“.

В числе постоянно бывавших у нас были, конечно, Панаевы; дирижировал танцами Николай Бендо, чрезвычайно подвижной и весельчак, впоследствии известный архитектор. В это время я очень дружил с Ипполитом Панаевым, который был впоследствии инженер-генералом.

IV.

Успехи отца при дворе.—Разрыв с дядей К. П. Брюлловым.—Переход в архитектурный класс.—Опять Карл Брюллов.—Женитьба его.—Его гениальные собутыльники М. И. Глинка, Кукольник и академик Яненко.

Слава моего отца, как создавшего акварельную живопись на бумаге, росла с каждым месяцем и о нем уже говорили при дворе, а способ его работы акварелью без примеси корпусных красок взволновал весь художественный мир. В 1821 году он был приглашен в Аничковский дворец, чему немало способствовал друг его, граф Степан Федорович Апраксин, и писал портрет с великого князя Александра Николаевича. По воцарении императора Николая, государь заказал ему портрет императрицы Александры Федоровны, а потом даже решился позировать и сам, несмотря на то, что прямо не выно-

сил этого. Однако, сеанс не удался, и лишь только отец успел набросать карандашом контур, как государь подошел к нему и кистью провел черту под носом нарисованного контура, сказав отцу: „Возьми это себе на память“. Однажды государь заказал отцу пять миниатюрных портретов царской фамилии для табакерки, которая была впоследствии подарена государем князю Волконскому. Я помню, как отец трудился над этой кропотливой работой, исполнение которой было возможно только через увеличительное стекло, благодаря чему он принужден был носить очки до конца своей жизни, так как зрение его было уже испорчено ²⁸.

Просидев два года в гипсовом классе, я шагнул сильно вперед и надеялся на полный успех принятой экзаменационной работы — я рисовал голову Лаокоона, старика. Мне удалось выполнить ее верно и при эффектном освещении, и я так дорожил этим рисунком, что даже решил покрыть его стеклом и в таком виде вывесить в зале. По неосторожности ли сторожа, или благодаря выходке школяра товарища, стекло мое было разбито и как раз в мое отсутствие. Ничего не подозревая, я на другой день в коридоре встречаю своего дядюшку, Карла Павловича Брюллова; он, увидя меня, вдруг остановился и с насмешкою сказал:

— Это ты на экзамене выставил оранжерею? — и затем прошел дальше.

Ах, как больно задел меня этим замечанием дядя, и я сразу почувствовал его недоброжелательность ко мне! Ничем не мог я дорожить более, как его мнением, и вместо одобрения, которого я так пламенно жаждал, или, по крайней мере, дельного замечания, я получил одну насмешку. И так поступил профессор — мой родной дядя! В эту минуту в первый раз из под ореолом славы обвитой головы его выглянула на меня голова Медузы. Если бы он сделал мне какой угодно строгий выговор, разругал бы мой рисунок, я бы принял все это с покорностью, но он не мог не видеть старательности, с которой был исполнен рисунок, и не оценить его достоинств,

Впоследствии только я узнал, что мой почтенный дядюшка воображал, что мы-де рассчитываем на его наследство и ищем его покровительства, а потому и относился к нам с особенной индифферентностью и даже злобою, но тогда его выходку я приписал моей бездарности и был обескуражен так, что довольно долгое время ленился и вяло работал. Да, таков был мой знаменитый дядя, да и не только по отношению ко мне; не даром Пушкин в одном из своих писем сказал: „видел Карла Брюллова, он мне показался человеком готовым на все“. Но великий поэт, произнося свой приговор над Брюлловым, ценил в нем гения и незадолго до своей смерти, посетив вместе с Жуковским мастерскую Брюллова

и увидев у него альбомы с рисунками, стал на колени и умолял дать ему один из них, но так ничего и не добился. Карл Брюллов отказал мольбам Александра Сергеевича²⁹.

Чтобы избежать дальнейших столкновений с дядей, я перешел в архитектурный класс и попал под руководство Константина Андреевича Тона³⁰, товарища отца по выпуску и впоследствии архитектора, прославившегося многими постройками в царствование Николая I и, наконец, большого храма Спасителя в Москве.

Этот человек, хотя и не получил почти никакого образования, но зато был честный и доброжелательный, он охотно принял меня к себе в мастерскую, находившуюся в нескольких саженях от главного здания, во флигеле. Помощниками у Тона были в то время Александр Росси³¹ и Каминский³². Первый был сын известного архитектора Росси, построившего Михайловский дворец, а с его обоими братьями я воспитывался у Журдана. Второй — прекрасный орнаментист и впоследствии был главным распорядителем работ по постройке храма Спаса, во время отсутствия Тона. Товарищами моими в это время были: Рязанов³³, впоследствии тоже известный архитектор, построивший на дворцовой набережной дворец великого князя Владимира Александровича, Кракау³⁴, известный своими реставрациями, Адамини³⁵, сломавший себе ногу при

падении с лесов во время постройки Александринского театра, и Бруни³⁶, племянник знаменитого художника, написавшего „Медного змея“.

Самым симпатичным из всех был Александр Росси, которого все очень любили за его мягкий и веселый характер. Чертежником он был превосходным, и у него я более всего научился перенимать необходимые приемы в производстве этих работ. Особенно он обладал большим вкусом и изобретательностью в планировке, расположении деталей и орнаментации. Всегда готовый быть полезным советом и на деле, он привлекал к себе всех своих учеников.

Да, свободно вздохнул я в этом классе, какое-то общее довольство царило над нами, и мы, дружно работая, целыми компаниями в свободное время отправлялись в „Золотой Якорь“¹⁾, где сражались на бильярде. Нередко я заходил к другому своему дядюшке, Федору Павловичу, который душил меня своими бесконечными рассказами, скучными потому, что это были плоды его пылкой фантазии: зато мои хорошенькие кузины вознаграждали меня за проведенные в скуке часы своим веселым чарующим шепетаньем. Однажды я с братом Пьером обедал у дяди Федора, как вдруг вошел в столовую Карл

¹⁾ „Золотой Якорь“—ресторан, существовавший на 6-й линии Вас. Острога.

Павлович Брюллов; я его давно не видел после нашего разговора в коридоре академии. С вечно самодовольной улыбкой начал он обходить присутствовавших, щипать за щеки моих кузин и говорить довольно сальные комплименты. Увидя Пьера, он вдруг смерил его с головы до ног и с ехидной улыбкой проговорил:

— Ишь, франт каков! — (Пьер всегда щегольски одевался).

Брату подобное замечание, повидимому, не пришлось по вкусу, он ошетинился и заметил дядюшке, что ему франтить и подобает, как молодому человеку, — „а вот в ваши годы так это может показаться странным, посмотрите-ка, на каких вы огромных каблуках“, — сказал он. И действительно, при своем малом росте Карл Павлович Брюллов носил очень высокие каблуки, чтобы казаться повыше, и был очень комичен. Дядя ужасно обиделся на это замечание брата, так как воображал себя неотразимым красавцем и всегда говорил, что в Риме его иначе не называли, как „Венерова голова“, которая, впрочем, была очень красива и выигрывала от прически, напоминавшей прическу Аполлона Бельведерского, но тип общий у него всетаки был немецкого бюргера.

Однако, мне необходимо опять остановиться на воспоминаниях об этом человеке. Этот период был одним из самых его блестящих, и его новыми произведениями все больше и больше увлекались цени-

тели искусства, и в числе этих ценителей был и я. Когда я смотрел на его работы, я поражаюсь красотою и правильностью его рисунка и его ярким колоритом, я считал его великим мастером, но все же в моей тогда молодой и честной душе не могли согласоваться эти два существа: гений и страшное исчадие разврата. И вдруг до меня долетел слух, что он женится. Я не верил этому, я знал об его ужасной болезни, я чересчур хорошо знал его привычки, чтобы допустить возможность брака его с кем бы то ни было, но факт был неоспорим. В один прекрасный день он сам является к нам своей маленькой персоной и привозит невесту. Это была девушка замечательной красоты, дочь ревельского бургомистра Тимма, брат которой вскоре сделался известностью, как очень хороший рисовальщик и издатель „Художественного Листка“ в 1854 и 1855 г.г.⁸⁷

При виде этой очаровательной девушки меня охватило чувство жалости к ней. Она, свеженькая, 18-летняя, как махровый цветок, дышащая жизнью и здоровьем, рядом с обрюзгшим и опухшим от пьянства и разврата представляла грустное зрелище. Увлечшись его славой и принуждаемая родителями на „выгодную партию“, она находилась в счастливом неведении и принимала за любовь его сладострастные порывы. У нас во время этого визита он вел себя, как старый пьяный сатир.

— Посмотри, сестра,—говорил он, представляя девушку моей матери и при этом отвратительно улыбаясь:— что это за прелесть! Совершенный идеальчик. Только этот идеальчик надо поскорее под одеяльчик.— Затем отходил на несколько шагов и громко обращался к невесте:— Ну, Лотти!—и та с разбега бросалась к нему на шею.

Эта картина ярко рисуется в моей памяти, а вместе характеризует нравственный уровень моего знаменитого дяди.

Однако, моим опасениям за несчастную жертву пришлось осуществиться. Немного больше года промучилась она с ним и уехала к отцу—не выдержала. После своего медового месяца, когда у несчастной девушки раскрылись глаза, дядюшка начал ревновать ее безусловно ко всем окружавшим, даже приревновал ее к императору Николаю Павловичу, обратившему благосклонное внимание при посещении Академии на его жену, стоявшую в окне. Конечно, такой красавец, как государь, не мог не вызвать этого чувства у человека, душа которого искала одного лишь предлога.

В одно утро, когда молодая женщина стояла у окна квартиры Брюллова, окна которой выходили на набережную, на вороном коне в санях подъезжает к академии государь. Увидя его, она невольно вскрикнула:

— Ах, государь!

Карл Павлович подскочил к ней и со словами:
— А, узнала!—вырвал у нее из уха серьгу.

Вот до чего доходил в своем безумии этот бого-
творимый публикой гений!

В отношении к своим братьям дядя Карл Павлович был не лучше; например, при встрече с братом Александром Павловичем, он всегда был приветлив, жал ему руку, обнимался с ним, меняясь самыми интимными шуточками, а за глаза всегда, всегда ругал его и разделявал его на все корки, называя его взяточником, подрядчиком и бездарным каменщиком. Раз как-то впоследствии, когда судьба опять столкнула меня с ним, мы втроем вместе с Карницким переезжали Неву, отправляясь на леса Исаакиевского собора, и когда Карницкий упомянул об Александре Павловиче Брюллове, то дядюшка сказал:

— Эта ракалия рассчитывает после моей смерти быть моим наследником; вот что он получит,—и при этом показал свой жирный кукиш.

Но Карл Павлович ошибся и когда умер в Риме 17 февраля 1857 г.,³⁸ то брат его Александр тотчас же, как получил известие о его смерти, поскакал, что называется, на курьерских и успел положить в свой карман 450 тысяч рублей прежде, нежели имущество было опечатано, скрыв эти деньги и не поделившись ни с кем из родных. Когда умер мой дедушка Павел Иванович, то повторилась та же

история захвата. Дедушка жил у нас и когда здоровье его было уже безнадежно, то вдруг нагрянули милые родственники, увезли больного и завладели всем его имуществом, ничего не уделив моей матери, а мой брат и слышать не хотел о каких-либо претензиях.

Раз я пришел к Карлу Павловичу и нашел дверь его квартиры открытою; оказалось, у него в доме шла уборка, и поломойка мыла пол. Вдруг до меня долетел возглас дяди:

— Стой и не шевелись! — Я уже приотворил дверь и окаменел от омерзения и ужаса от той картины, которую увидал... Меня не заметили, и я ушел скорее прочь. Как мне жалок и гадок был этот великий артист...

В то время, когда я писал у него свою копию с портрета Крылова, его часто навещали разные лица, все больше народ веселый, любивший попить и поесть. Самыми закадычными его собутыльниками были: Михаил Иванович Глинка³⁹, академик Яненко⁴⁰ и Нестор Васильевич Кукольник,⁴¹ не отличавшийся нравственностью, но, как и дядя, в 40-х годах достигший громкой славы. Только такой человек и мог доложить в том духе военному министру Чернышеву о сочинениях Салтыкова, в каком представил их Кукольник, и тем составил протекцию для перевода этого великого писателя в Вятку. Впрочем, звезда Кукольника погасла в начале 50-х годов, а в 1868 г. он умер в Таганроге всеми забытый.

Нестор Васильевич Кукольник, за пьянство свое названный „Клюкольник“, и приятель его Яненко, прозванный „Пьяненко“ за ту же страсть, а также мой дядя Карл Павлович были неразлучны, и нужно было иметь железное сложение, чтобы выдержать то количество алкоголя, которое они уничтожали. Михаил Иванович Глинка нередко к ним также присоединялся, но с его довольно плохим здоровьем ему далеко было до этой знаменитой троицы... Сестра Михаила Ивановича, жившая с ним, зорко следила за своим гениальным братом и охраняла его; бывало очень уж закутит компания, а заботливый друг, как ангел-хранитель, тут как тут и извлечет из погибельной клоаки моего дяди гениального музыканта. Как и Кукольник, все трое поплатились за свое беспутное житье раннею смертью. Дядюшка, благодаря своей болезни⁴² должен был отправиться на остров Мадеру, а Яненко так попросту заживо сгнил.

Продолжая заниматься у дяди, я не мог больше выносить его оскорблений и дерзостей, перестал ходить к нему и наконец расстался с ним навсегда.

V.

Мой приятель С. Ф. Дуров.—Черенцов и Поздеев.—Десярю.—Булгаков и великий князь Михаил Павлович.—Александр Иванович Пальм.—Петрашевский.—Участь петрашевцев.

Совершенно случайно в Петербурге я встретился и познакомился с Сергеем Федоровичем Дуровым,

а вскоре сблизился и даже подружился с ним. Как случилось первое мое знакомство, не помню; кажется, началом к этому послужил случайно начатый разговор, как это в Петербурге легко делается, затем обмен суждений и взглядов, а потом уже желание вместе проводить время. Хотя я был гораздо моложе Дурова и его обоих приятелей, Поздеева и Черенцова, но все же мы очень близко сошлись, и они часто стали приезжать ко мне в Павловск, где я проводил лето. Когда мы переехали в город, Дуров дал мне свой адрес, и просил посещать его. Жил он со своим сослуживцем Делярю⁴³. Этот последний был настоящий русак, добрый малый и хороший товарищ.

Сергей Федорович Дуров был родной племянник известного писателя Хмельницкого, к сочинениям которого он написал известное предисловие, и состоял в родстве с многочисленным семейством Кузовых. Дуров был чрезвычайно образованный человек, очень интересный в беседе, немного увлекающийся, но умевший завладеть общею беседой и руководивший ею; глубоко знакомый с теориями Кабе, Фурье и Прудона, он уже в период первого моего с ним знакомства развивал идеи равенства, сетовал на тягость современной цензуры, говорил о необходимости освобождения крестьян и о других полезных реформах, но в то время мне это казалось каким-то несбыточным и настолько несерьезным, что

я не придавал особой важности его проектам, считая их попросту одними разговорами. При всей серьезности и образованности Дурова, это был человек не без странностей; он, например, очень редко садился обедать, имел обыкновение наедаться на ходу; когда шел в должность или возвращался оттуда домой, заходил в 2—3 кондитерские, съедал по несколько пирожков; особенно же он с охотой посещал Излера, где в то время были замечательные растеган, а дома за столом никогда ничего не ел. Между тем, энергия этого человека была замечательна. Находясь впоследствии в числе последователей Петрашевского⁴⁴, он участвовал во многих других тайных обществах, и, благодаря только его стараниям, кружок Петрашевского поддерживал связь с ними. Бывая в собраниях Иринарха Введенского,⁴⁵ он познакомился там с Н. Г. Чернышевским⁴⁶ и чуть было не попался в руки властей, когда вследствие доноса известного Вигеля⁴⁷ пало подозрение на кружок Введенского, будто бы пропагандировавший перелом существующего государственного строя. Однако, у Липранди⁴⁸ не было достаточно улик, да к тому же Ростовцев вступился за Введенского, и все члены его кружка были спасены. Гибель же петрашевцев готовилась впереди.

По приезде в Петербург я хотел навестить моего приятеля, но не нашел его уже на прежней квартире Делярю. При входе моем в переднюю я уви-



К. П. Брюллов.

Литография Елеоноры Жуковской.



дал на прилавке сидевшего денщика, который и не пошевелился при моем появлении, а из соседней комнаты раздался голос Делярю, спрашивавшего:

— Кто там?

Я назвался, вошел и был удивлен, не видя Сергея Федоровича, но хозяин предупредил мой вопрос:

— Да вот видите, я осиротел,—сказал, подавая мне руку, Делярю:—ведь Дуров-то от меня уехал и живет теперь с Пальмом. Знаете Александра Пальма, офицера Егерского полка? Ну, вот, они друг без друга жить не могут. Я положительно нигде не бываю и отстал от шумного света. Вот когда здесь жил Сергей Федорович, другое дело, каждый день народ собирался, сходки устраивались, обсуждались наиболее волнующие вопросы, да как обсуждались, с каким увлечением и жаром,—да по-моему, ничего из этого не выйдет, ничего им тут не поделать, дотолкуются они тут до синих мундиров, и будет им освобождение и надел.

Однажды в Павловске я познакомился с Пальмом при следующих обстоятельствах: ко мне приехали погостить Дуров, Поздеев и Черенцов, я встретил их на вокзале, а затем мы совершили большую прогулку по парку и окрестным деревням. Было это в то время, когда Дуров еще не был знаком с Петрашевским и, кажется, не принадлежал еще ни к каким тайным кружкам пропагандистов,

хотя около него начинала группироваться кучка людей, сочувствовавших его идеям.

Достаточно проголодавшись, мы двинулись к вокзалу, где по правую сторону его, как и теперь, были накрыты столы. Усевшись за один из них, мы уже заказали себе закусить, как вдруг на одной из дорожек показался молодой егерский офицер, шедший под руку с юнкером.

— Смотрите, Сергей Федорович, — обращаясь к Дурову, сказал Поздеев: — ведь это идет Александр Иванович Пальм.

Дуров, как мне показалось, вздрогнул, взглянул в ту сторону, куда показывал Поздеев, и, увидав приятеля, закричал:

— Саша, сюда!

Пальм подошел.

— Ты был у Кусовых, когда ты приехал? — пожимая руку приятелю, спрашивал Дуров и, не дав ему времени ответить на заданный вопрос, стал представлять его нам. Мне почему-то казалось, что Дуров сильно волновался, между тем, как Пальм сохранял полное спокойствие и, улыбаясь, снимал перчатки. Только потом я узнал, что это свидание имело для них огромное значение, так как здесь на музыке должен был быть и Петрашевский. Юнкер, сопровождавший Пальма, оказался его двоюродным братом Юрием Кусовым.

Мы начали завтракать, музыканты появились на

эстраде, и под магический взмах палочки старичка Германа ⁴⁹⁾ оркестр заиграл марш. Публика стала собираться, ярко выделяясь пестрыми туалетами на зеленом фоне кустов. Вот и офицер Московского полка Булгаков ⁵⁰⁾ собирает свою компанию, что-то горячится и разносит прислугу за то, что она не особенно доверчиво относится к его кредиту. Всего несколько дней назад этот Булгаков мрачно ходил по саду, не имея возможности даже позавтракать; вдруг он видит, подъехал в коляске великий князь Михаил Павлович и направляется в публику. Заметив его высочество, Булгаков вдруг приободрился, блестящая мысль пронеслась в его изворотливом мозгу. Осмотревшись, все ли на нем по форме, он поправил усы и виски и, опередив боковою аллеєю великого князя, встал в стороне на одной из дорожек и скорчил свою обычную гримасу, которая так забавляла его высочество.

— А, Булгаков,—воскликнул Михаил Павлович, увидя его:—ну, что это у тебя сегодня за глупая физиономия? Это, брат, не по форме.

— Удручен, ваше высочество, — отвечает Булгаков.

— Верно, опять денег нет?

— Точно так, только это бы еще ничего.

— Как ничего?—удивился великий князь.

— А вот у меня до вашего высочества есть усерднейшая просьба.

— Ну, слушаю и обещаю исполнить, если только денег не попросишь, у меня их у самого мало.

Булгаков приближается на один шаг к Михаилу Павловичу и как бы в нерешительности останавливается.

— Ну, что же ты?—удивленно смотрит на него великий князь.

— Страшно мне,—приняв испуганно-комический вид, чуть проговорил Булгаков.

Михаил Павлович даже прыснул со смеха.

— Ах ты, шут,—сказал он Булгакову.—не знаю, каким бы ты был в настоящем деле, в бою, но в мирное время и со мною ты доказал свое бесстрашие. Ну, говори, я тебе заранее разрешаю твою просьбу. Ты, все-таки не глупый, и невозможного не попросишь. Ну, не останавливай меня долго, говори же.

— Да я могу все объяснить и на ходу,—заговорил обрадованный Булгаков:—потому что в том и состоит моя просьба, чтобы позволить мне пройти с вашим высочеством под руку.

Великий князь открыл свои большие глаза, и сложив на животе руки, сказал:

— Нет, знаешь, Булгаков, ты просто невозможен...

— Так точно, ваше высочество, но я...

Однако, великий князь оборвал его.

— Довольно, давай руку и пойдем,—и с этими словами он взял его под руку и направился даль-

ше.—Так скажи же ты мне,—спрашивал его великий князь,—шельма ты такая, на что тебе понадобилась подобная фамильярность со мною?

—А вот видите, ваше высочество, как поглядывают с завистью на меня все эти дураки,—сказал он, указывая на гуляющих и глазевшую прислугу. Действительно, вокруг них на почтительном расстоянии толпилась публика, до которой отчетливо долетало каждое слово их разговора.

—Я вашему высочеству должен признаться, что мой кредит совершенно здесь иссяк.

—Я этому нисколько не удивляюсь,—заметил великий князь.

—Так вот, ваше высочество, как увидят здесь все, что вы со мною гуляете под руку,—вкрадчиво продолжал Булгаков:—то кредит мой так здесь утвердится, что мне и денег никаких уже не надо.

—Ах ты, проказа такая,—вдруг принимая серьезный тон, сказал князь:—а хочешь, я тебя посажу на гауптвахту?

—Быть этого не может,—возражает Булгаков:—я чересчур знаю неограниченную доброту вашего высочества. Долго ли маленького человека обидеть, вы никак не захотите этого сделать.

Тут уже Михаил Павлович громко во всеуслышание обратился к нему по-французски:

—Mon cher, tu est vraiment admirable dans ton effronterie, seulement je ne conseille pas d'abuser trop

de ma faiblesse, parfait chenapan! *) Ну, что довольно,—добавил он:—можно теперь тебе дать киселя?

— Совершенно довольно, ваше высочество, по гроб не забуду ваших милостей.

Булгаков отнимает свою руку из-под руки князя и берет под козырек, а великий князь, пожав ему руку, направляется к коляске. Вот и кутит теперь Булгаков на освежившийся кредит. А публика все собиралась, густо наполняя аллеи. Вдруг Пальм наклонился к Дурову и, указывая в толпу, сказал ему с некоторой тревогой:

— Вот, вот, смотри, идет он, Петрашевский, видишь, этот высокий черный мужчина, что разговаривает с этим толстяком.

— Так это он?—сказал Сергей Федорович, видимо, сильно заинтересованный новым лицом, которое он жаждал видеть:—а я только что хотел с тобою поговорить о нем. Ты знаешь, что до меня дошли слухи и рассказы, обеспокаивающие меня на твой счет...

— Пустяки,—сказал Пальм:—я, конечно, как и ты, сочувствую его пропаганде, но пока еще у нас просто приятельское знакомство. Я бываю у него довольно часто, по пятницам мы обыкновенно собираемся, мне приятно общество незаурядных людей,

*) Мой милый, ты действительно удивителен в своем нахальстве; но только я не советую тебе слишком злоупотреблять моею слабостью, совершеннейший негодай.

мы много толкуем, но, как Репетилов в „Горе от ума“ говорит: „поспорят, пошумят и разойдутся“. Сегодня я тебя представляю этому интересному человеку и ты, вероятно, также вступишь в его кружок, а ты будешь нам со временем очень нужен и полезен.

Я слышал весь разговор моих приятелей и, зная в общем, что такое представлял собою Петрашевский, не на шутку испугался за участь моих друзей.

Теперь несколько слов о Пальме. Александр Иванович Пальм, дворянин Пензенской губернии, родился в 1823 г., воспитывался в Дворянском полку, был там унтер-офицером, затем фельдфебелем и 19-ти лет выпущен прапорщиком в 1842 г. в лейб-гвардии Егерский полк. Через семейство своих родственников Кусовых он вошел в кружок, основанный Петрашевским, сблизился с ним и с тех пор стал постоянным посетителем его пятниц. Среда таких сильных людей, как Достоевский, Плещеев, Толь, Головинский, Иринарх Введенский и др., не могла не иметь решающего влияния на направление юного Пальма, и он со всем пылом своей увлекающейся натуры отдался новому живому делу. Цензура того времени давила писателей своим тяжелым ярмом, народ изнемогал под гнетом крепостничества, чиновничество в своем произволе доходило до невероятных размеров, взяточничество царило всюду; вот небольшие кружки, образовав-

шиеся в разных слоях интеллигентного общества, решили противодействовать этому всеобщему злу. Политической пропаганды в кружках этих не было, здесь шли самые обыденные толки, обсуждались проекты, но даже не составлялось плана действий. Это просто были группы русских образованных людей, любивших свою родину и народ и душою болевших за ее неустройство.

Однако, доносы Вигеля и доклады Липранди имели свое действие, и в высших сферах эти честные люди были представлены посягающими на самодержавие и т. д. Письмо Белинского к Гоголю, распространяемое Павлом Головинским и Достоевским, было одним из веских данных для обвинения их и из этого можно вывести заключение об опасности этих обществ для государства.

В 1841 г. Петрашевский начал свою пропаганду в 1845 г. у него были уже организованы правильные собрания, и в числе ярых его сподвижников был Сергей Федорович Дуров, так опасавшийся за Пальма. 25 марта 1848 года он, уже будучи отставным коллежским ассесором, читал свое предисловие к сочинениям Хмельницкого и был из самых энергичных членов кружка, только благодаря которому кружок Петрашевского поддерживал связь с остальными. Но вот грянул гром, петрашевцы были арестованы и судом „за обличение в умысле на ниспровержение существующих отечественных законов и

государственного порядка" осуждены на смертную казнь.

Пальм находился под следствием с 23 апреля 1849 г. и судился за то, что был в собрании, „где, слыша преступные разговоры, не донес“ ⁵¹.

22 декабря 1849 г. всех осужденных ⁵² привезли из Петропавловской крепости, где они провели 8 месяцев в одиночном заключении, на Семеновский плац, прочли им смертный приговор, священник подошел к ним с крестом, облаченный в черные ризы, и на всех, кроме Пальма, надели предсмертные рубахи. Петрашевскому, Момбели ⁵³ и Григорьеву ⁵⁴ завязали глаза и привязали к столбам, над головами других переломили шпаги. Раздалась команда к пальбе, и в этот момент Григорьев сошел с ума, его натура не выдержала этой минуты, после восьмимесячного одиночного заключения. Раздался отбой. и процедура окончилась, при чем было объявлено всем высочайшее помилование от смертной казни. Тут же с места на фельдъегерской тройке Петрашевский был увезен в Сибирь. Дуров сослан в казачью службу на 4 года и затем разжалован в рядовые. Пальм же был помилован и переведен тем же чином в армию. За боевые заслуги против турок его штраф, вследствие бывшего над ним суда, был прощен и возвращены ему все преимущества, кроме права на знак беспорочной службы; 2 июня 1855 г. штабс-капитан Пальм был переведен в Замостский Егер-

ский полк и 19 января 1857 г. уволен от службы майором с мундиром.

VI.

Литературные вторники у Ив. Ив. Панаева. — Граф Сологуб. — Воскресенья у графа Толстого. — Художник Федотов. — Ловкий меценат. — Лето в Павловске. — Экспромт Панаева. — Скрипач Дмитриев-Свечин. — Бальзак в Павловске.

Как я уже говорил, по соседству с нами в доме Димерта жил Иван Иванович Панаев, который положил в своем доме начало кружка интеллигентного товарищества, членами которого являлись выдающиеся представители нашей родной литературы, из которых многие обессмертили свое имя и стали гордостью России. Белинский, Некрасов, Тургенев, Кольцов, Боткин, Краевский, позднее и Федор Михайлович Достоевский и многие другие, менее крупные звезды нашего литературного мира, стали собираться у Ивана Ивановича, а каждую неделю по вторникам у него составлялись литературные вечера, которые охотно посещались приятелями Панаева, приводившими с собою нередко новых лиц, заслуживавших чем-нибудь особенного внимания. Между этими новичками были и начинающие литераторы, и музыканты, и художники, одним словом, люди, обладающие каким-либо артистическим талантом. Вечера носили на себе скромный, но задумчивый характер, гостям разносили чай, велась ожи-

вленные беседы на разные темы, и, наконец, Иван Иванович сам читал что-нибудь новое из своих произведений, еще не поступивших в печать, а иногда давал их прочесть одному из лучших чтецов, а сам со вниманием вслушивался в каждое слово, делая время от времени вполголоса замечания самому себе и отмечая на бумажке карандашом о встречающихся ошибках. Кроме его произведений, читалось многое также и других авторов.

Сам Панаев читал хорошо, с ясной интонацией, соблюдая чуть не в голосах разговорную речь; слушать его было истинное удовольствие. Например, я слышал, как он прочел „Старосветских помещиков“ Гоголя и его же „Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича“; это было до такой степени реально прочитано, что я, даже придя домой, сделал набросок так и носившихся перед моими глазами типов, созданных гением Гоголя.

Из произведений Ивана Ивановича я слышал как он прочел свой перевод трагедии Шекспира „Отелло“, которая была поставлена впоследствии в Александринском театре. Сахаров читал свои народные песни и т. д. Театральный мир также не был чужд дома Ивана Ивановича; благодаря постановке своей пьесы на сцене, он вошел в тесное общение с первоклассными актерами русской сцены, и они охотно бывали у него. Встречал я не раз на вторниках у Панаева, Самойлова⁵⁵, Максимова⁵⁶, Брян-

ского⁵⁷ и Ивана Ивановича Сосницкого⁵⁸, а из лиц музыкального мира помню Михаила Ивановича Глинку, Варламова⁵⁹, творца всем известных романсов, и знаменитого тогда баса Петрова⁶⁰.

Можно себе представить, какие интересные группы составлялись на этих панаевских вечерах и какой поток глубоких мыслей, сентенций и остроумия переливался из одного конца этой густо набитой народом квартиры в другой. Обыкновенно самая густая толпа мужчин собиралась в кабинете у хозяина, куда им и подавалась закуска, а дамы держались около матери Ивана Ивановича, Марии Екимовны, и принимали участие в общем собрании, когда читалось что-либо общедоступное; но дамского элемента на этих вечерах было очень немного.

Большинство посетителей панаевских вторников бывали и у нас, и я с восторгом встречал этих дорогих гостей, искренне счастливый, что судьба меня толкнула в такую плеяду, от которой я хватал все, что мог, с жадностью голодного волка, как бы предвидя, что скоро-скоро это блестящее общество, под гнетом суровой судьбы будет разбито магическим veto и разметено во все стороны житейского моря.

В числе посетителей панаевских вечеров был также известный писатель, граф Владимир Александрович Соллогуб⁶¹. Это был один из симпатичнейших людей того времени, оставивших прекрасную

о себе память среди близких ему. Владимир Александрович окончил дерптский университет и свою литературную карьеру начал с повести „История двух галош“, т.-е. „въехал в нее в галошах“, как выражались остряки того времени. Отец графа был когда-то богат, но все свое состояние промотал и оставил сына при очень скудных средствах, что, однако, не помешало ему сделать себе блестящую партию. Женился Владимир Александрович на дочери графа Михаила Юрьевича Виельгорского, известного мецената и любителя музыки⁶².

София Михайловна была родною племянницею Матвея Юрьевича Виельгорского⁶³, который бывал у моего отца на его музыкальных вечерах со своей виолончелью и с которого отец написал известный портрет.

Поселились молодые Сологубы у своего тестя, гр. Михаила Юрьевича, в его доме на углу Михайловской площади и Итальянской улицы, где я стал довольно часто бывать. Владимир Александрович частенько заходил к нам и не раз высказывал свое восхищение моими рисунками, приглашая меня к себе и наконец просил меня давать уроки рисования его жене, благодаря которым я очень сошелся со всем семейством графа.

Интересные вечера составлялись по воскресеньям у вице-президента нашей академии, известного ме-

дальера графа Федора Павловича* Толстого⁶⁴. Конечно, у него собирались преимущественно художники, но было также много артистов и по другим отраслям искусства и представителей науки и литературы. Как и граф, графиня была также очень образованная, простая в обращении и ласковая хозяйка. Дочь их, красавица Мария Федоровна, вскоре вышла замуж за Павла Павловича Каменского⁶⁵, попавшего в число ста русских литераторов, изданных Смирдиным. Съезжались к графу поздно, обыкновенно из театров или концергов, и в это время, покуда было немного народа, граф приглашал всех в бильярдную, где охотно разделял партию с кем-либо из присутствовавших, оставляя дам на попечение хозяйки дома. Но вот около 12 часов ночи начинали съезжаться гости, и покои графа наполнялись веселым разговором, смехом и задушевною беседою. Быстро составлялся импровизованный концерт, а затем сами собой завязывались танцы, и скромный вечер превращался в шумный бал. Известный скульптор Рамазанов⁶⁶, — чрезвычайно подвижной и постоянно веселый человек, то садился играть на рояле, то дирижировал танцами и положительно замучивал публику своими бесконечными котильонами.

Веселились мы, что называется, во всю, и ста-

* Федора Петровича Толстого. *Прим. ред.*

рые и молодые одинаково сияли от истинного удовольствия. Прекрасный ужин, с обилием вина, затягивался до рассвета, после него опять танцы, а затем поиски шляп (тогда шляпы по обычаю не оставлялись в передних), и утомленные, но довольные гости гурьбою высыпали на улицу.

На вечерах у графа Федора Павловича* я познакомился с Федотовым⁶⁷, прославившимся, как замечательный карикатурист, или, вернее, сатирик. Это был тот самый Федотов, бывший офицер лейб-гв. Егерского полка*, который написал „Сватовство майора“, „Первый крест“ и многие другие прелестные вещи. Он занимал маленькую квартирку на Васильевском острове, в которой жил со своим бывшим денщиком, оставшимся при нем после своей службы.

Наружность Федотова была очень симпатична, карие глаза его добродушно смотрели и как будто бы все время улыбались, но эта улыбка прикрывала наболевшую душу талантливого человека. Волосы были темные, коротко остриженные, руки тонкие, женственные и на одном из пальцев какой то перстень. Федотов прекрасно играл на гитаре, пел очень приятным баритоном сочиненные им же самим куплеты, полные остроумия и сарказма, но никогда в нем не было ничего скабрёзного; кроме того, он

* Федора Петровича. *Прим. ред.*

* Лейб-гвардии Финляндского полка. *Прим. ред.*

был прекрасный рассказчик. Беседа с этим человеком была необыкновенно приятна, он был весел всегда и остроумен. Но нелегко досталась Федотову слава первоклассного художника; работать он начал совершенным дилетантом, и только его страстная настойчивость в направлении его артистической деятельности помогла ему преодолеть все трудности техники без всякой школы и руководителя. Это указывало на его прямую гениальность.

Я часто бывал у Федотова, сошелся с ним и часто за стаканом чая целыми часами вел интересную беседу. Конец бедного товарища был ужасен: он умер в больнице душевнобольных с припадками бешенства. Я был в это время уже в Москве и не мог навещать больного приятеля. Но художник Козлов, не перестававший видеть его, показывал мне его фотографическую карточку, изображавшую Федотова в сумасшедшей рубашке. Вид этой фотографии переворачивал мою душу.

Чтобы понять, как натерпелся этот гениальный человек от нужды и индифферентного отношения к нему господ, эксплуатировавших его талант ради своего удовольствия, довольно привести один пример, как известный в свое время меценат Прянишников, экс-почт-директор в Петербурге, собравший большую галерею исключительно русских художников, долго заставлял его ждать очень умеренной суммы за его картины, которые он купил для музея,



К. П. Брюллов.

а бедный художник чуть не с голоду умирал в это время.

Это обстоятельство могу еще подкрепить фактом, что и я сам не получил с него за две головки моей работы, которые этот меценат развязно присоединил к своей знаменитой коллекции, находя, вероятно, что я достаточно уже вознагражден тем, что они туда попали. И не мы одни были жертвами этого прекрасного мецената.

Наступил ужасный для России год, год утраты нашего солнца поэзии — Александра Сергеевича Пушкина. Я лежал больной воспалением легких, когда до меня донеслась эта роковая весть, и я, к великому своему горю, не мог поклониться его священной праху. Когда я стал поправляться, наступила весна, снова потекли ручьи, тронулась река, и заликовала природа, равнодушная к нашей великой утрате, продолжая следовать своему вечному закону забвения и возобновления.

Опять я провел лето в Павловске. куда к нам часто из Петербурга приезжал Иван Иванович Панаев; это был самый приятный собеседник и веселый рассказчик, оживлявший наше довольно однообразное житье. У него всегда было много юмора и умения схватить самые смешные стороны того лица, о котором шла речь, особенно же он резко выделялся среди прочих рассказчиков тем, что при удачной шутке или остроте никогда не смеялся сам, тогда

как окружающие покатывались со смеху. Мы часто всей компанией отправлялись на вокзал играть на бильярде, и мне припоминается экспромт Панаева, когда он смотрел на игру брата Пьера, сражавшегося против двух моих знакомых молодых людей, из которых один играл, не сняв своего плаща, а другой был во фраке. Пьер играл очень хорошо и обыгрывал обоих юношей: и вот, когда проигрыш того, который был во фраке, казался уже несомненным, Панаев воскликнул:

— Увы, старания во прахе, погиб сей юноша во фраке,—а когда очередь дошла и до другого, то Иван Иванович продолжал свой экспромт:

— Увы, старания вотще, погибнет также муж в плаще!

С Иваном Ивановичем приезжал к нам также Андрей Александрович Краевский ⁶⁸, тогда еще молодой, и оба они ухаживали за гостившими у нас дочерьми актера Брянского. Краевский за старшей Анной, а Панаев за младшей Авдотьей Яковлевной ⁶⁹; оба они впоследствии и поженились на них. Больше я знал младшую, да она и чаще приезжала к нам. Это была очень симпатичная, но при том и крайне наивная девушка, образование она получила весьма ограниченное, но ее природный ум пополнял этот пробел, и она была всегда интересною собеседницею. Иван Иванович Панаев понял, что из нее можно сделать умную, подходящую для себя подругу и,

женившись на ней, настолько развил ее, что эта наивная простушка превратилась в известную писательницу и печатала свои повести и романы под псевдонимом Станицкого. Время, когда она была окружена плеядою самых умных и даровитых людей, как: Некрасов, Белинский, Фет, Жемчужников, Салтыков и др., положило начало ее известным мемуарам той бесконечно интересной эпохи.

Вечера мы проводили на музыке, а тут еще предстояло одно развлечение, о котором я не могу умолчать, так как оно касается лица, имеющего право на название исторического. Это был некто Дмитриев-Свечин ⁷⁰—человек замечательный. В одно и то же время он был талантливейший артист-скрипач, и его имя должно остаться в летописях музыкального мира, а также совершеннейший дурак, просто феномен этого рода. Этот человек не имел ничего, жил уроками, но так как талант его был настолько блестящ, что не мог быть незамеченным, то он имел в этом отношении большой успех и, кроме того, часто выступал в концертах.

Крупным явлением в конце этого лета было возвращение из-заграницы графини Самойловой ⁷¹. Она появилась на вокзале с целой свитой красавцев итальянцев и французов; на вид графиня казалась довольно перерезрелой, но глаза ее отличались поразительною красотою. Ее сочные уста, вздернутый

нос и выражение лица как будто говорили: „Je me fiche de l'opinion du monde“.

Однажды вечером на музыке появился знаменитый Бальзак ⁷² в какой-то большой серой куртке и большой соломенной шляпе из итальянской соломы, с физиономией, довольно скучающей.

В этот приезд его в Россию ему как-то не оказали подобающего внимания, он не был принят во дворце, а следовательно и в более богатых и знатных домах, и бедный Бальзак утешал себя тем, и говорил даже об этом своим друзьям, что все это невнимание к нему произошло оттого, что незадолго до его приезда в Петербург был Кюстин, ⁷³, который за оказанный ему почет и гостеприимство отблагодарил русский двор тем, что напечатал по возвращении во Францию по его адресу пасквиль в самом несдержанном тоне.

Вот что сказал Бальзак по этому поводу: „j'ai reçu le soufflet, qui a été destiné à Custine“ (я получил пощечину, назначенную Кюстину).

VII.

Архитектор или художник. — Поступление в художественный класс. — Новые проделки дяди Карла Павловича. — Его ученик Михайлов. — Академическая выставка. — И. Айвазовский. — Братья Агины. — Встреча с Некрасовым и работы в его „Альманахе“. — Мои иллюстрации „Капитанской дочки“ Пушкина и „Старосветских помещиков“ Гоголя.

Определив брата моего в гимназию в 1842 году, отец уехал за границу, где и пробыл до 1844 года;

во время этого путешествия в Париже им было написано несколько превосходных портретов и в том числе герцогини де-Серра-Каприоли. Всюду его встречали с необыкновенным радушием, отдавая должное его недюжинному таланту, и таким образом в самое непродолжительное время слава отца моего за границей была упрочена. Вернулся он в Россию и в 1846 году переехал на жительство в Москву, куда неоднократно ездил в течении тридцатых годов и где также стяжал себе славу первого портретиста и любовь всех окружающих.

В Москве отец останавливался преимущественно у князя Голицына ⁷⁴, для которого исполнял очень много работ; князь любил отца и охотно проводил время в его обществе. За это время пребывания в первопрестольной столице отец сошелся и подружился с Иваном Петровичем Витали ⁷⁵, сделавшим с него очень удачный бюст в натуральную величину, который был привезен к нам при возвращении отца в Петербург, но в дороге был поврежден и требовал сильных исправлений. Форма, в которую его отливали, долгое время бесследно пропадала и недавно только была найдена моим братом Александром, хранителем музея Академии Художеств, и по его распоряжению с нее был отлит вторично бюст отца — поразительного сходства. Как оказалась, форма эта была перевезена из Москвы в Петербург во время переезда Витали для произ-

водства колоссальных работ по сооружению Исакиевского собора. Там уже в Москве приятель моего отца, известный художник Василий Андреевич Тропинин ⁷⁶ написал с него огромный масляный портрет, хотя и очень похожий, но с каким-то слащавым выражением лица; с тем же недостатком был написан портрет и художником Стрелковским. Самым же удачным из всех портретов моего отца так и остался рисунок, сделанный карандашом, гораздо раньше, дядей Иваном Павловичем Брюлловым, находящийся теперь также у брата Александра.

По отъезде отца за границу положение мое оставалось не выясненным, и я не знал, чему, наконец, окончательно посвятить себя: архитектуре или живописи. Уйдя в архитектурный класс, чтобы избежать недоброжелательства моего дядюшки Карла Павловича, я, однако, вскоре почувствовал, что во мне нет настоящих способностей быть строителем, и письменно обратился за границу к отцу, прося его совета и разрешения перейти в живописный класс. В ожидании ответа я усердно посещал натурный класс. Перспектива сделаться опять учеником дяди Карла Павловича не особенно-то мне улыбалась, но другого исхода я не находил и покорился своей участи. Но недолго мне пришлось ждать проявления новых безнравственных выходок знаменитого художника, и я не могу обойти молчанием случай, вредно отозвавшийся на карьере спо-

собнейших из моих товарищей, которые имели полное право на получение первых наград и командировки за границу и, благодаря Карлу Павловичу, остались ни при чем.

У моего дяди Карла Павловича Брюллова среди академических учеников был некто Михайлов⁷⁷, тип очень несимпатичный, совершенный неуч, за всегдатай кабаков и других злчных мест, существо безусловно бездарное. Не было фразы, в которую Михайлов не вставлял бы самое бранное площадное слово, и, в довершение всего, от него всегда разило водкой; вдруг этот самый Михайлов делается фаворитом Карла Брюллова. Мне это сначала казалось просто непостижимым, но когда я узнал причину такой перемены дядюшки к своему ученику, то мне все стало более, чем ясно и показалось в порядке вещей.

У Михайлова была молоденькая и очень мило-видная сестра, которую „Карла-Черномор“ (как мы прозвали дядю) со свойственной ему хищностью и бессердечием не замедлил обесчестить, покрыв, таким образом, позором и всю ее семью. Пьяный Михайлов забил тревогу, и дядюшке предстоял грандиозный скандал, нужно было замять дело — и вот ловкий профессор пошел на следующий компромис со своим оскорбленным учеником. Он взялся написать тайком для Михайлова на золотую медаль этюд с громким титулом „Прометей“, и картину,

изображавшую молящуюся русскую девушку в церкви, на которой с натуры была изображена его жертва. Оригиналом для „Прометея“ служил один из наших натурщиков в лежащем положении с закинутой за голову рукой, только дядя пририсовал к груди этого этюда рыжего орла. Во всей этой работе мастерская рука Карла Павловича была видна очень явственно но... Михайлов ведь был его учеником и мог достигнуть больших успехов техники своего учителя. Дело сошло как нельзя лучше, и, несмотря на разговоры о скандале, Михайлов получил золотую медаль и был командирован на казенный счет в Италию для совершенствования своего таланта, которого у него, впрочем, и не было, и, конечно, ничего не достиг и за границей. Таким образом, Академия должна была заплатить за позор, удовлетворивший прихоть неразборчивого и бесовестного своего профессора.

Между тем, в Академии нашей была объявлена выставка и самыми крупными украшениями ее должны были быть присланные из-за границы пейзажи швейцарских живописцев Кукука ⁷⁸ и Калама ⁷⁹; в особенности произведения последнего возбуждали всеобщий восторг. Слава Айвазовского также начинала возникать, и его известная картина „Волна“ должна была появиться впервые на этой выставке ⁸⁰.

Этот наш очень и очень маститый художник-

маринист тогда, в начале своего поприща, еще работал под символом не одной только мысли о наживе. Одно из его замечательнейших произведений того времени находилось в числе русских картин в галерее покойного Прянишникова; это была картина, изображающая берег Черного моря ночью, довольно больших размеров и написанная не наотмашь, а с особенною любовью к делу. Крутая, почти отвесная скала, покрытая лесом, подошвою своею упиралась прямо в море, по этой скале до самого переднего края лежала густая прозрачная тень; луна, которую не видно на картине, из-за горы лила свой свет, освещая левую сторону неба, видимого на картине, и озаряя гористый берег, опускающийся в море с правой стороны. Верность тонов и теплога южной ночи так верно выражены, что производят чарующее впечатление на зрителя. Жаль, что этой картины нет в музее императора Александра III, где выставлена его же картина „Потоп“, вовсе этого не заслуживающая.

В бытность мою в Москве я познакомился с хромоногим художником Фроловым, хорошо известным в Москве, который рассказывал мне любопытный эпизод, бывший у него с Айвазовским. Будучи в Риме между русскими художниками, Фролов встретил Айвазовского, тогда еще бедного производителя морских картин. Случилось так, что Айвазовский, сильно нуждаясь в деньгах, взял у Фролова два

золотых с тем, что напишет ему два морских вида. — „Много лет прошло с того времени, — рассказывал Фролов: — только я от Айвазовского не получил ни моих денег, ни обещанных картин. Вернулся я в Москву, а об Айвазовском только и слышно, как он деньги загребает и как ценятся его произведения. Наконец, приезжает он и к нам. Я в него и вцепился.

— „А не угодно ли, господин Айвазовский, мне должок отдать, который еще в Риме, помните, на берегу моря Вы изволили у меня учинить.

„Он было за портмонэ; вынул два золотых и подает мне.

— „Нет, — говорю, — шалишь. Условия-то у нас были другие. Не угодно ли Вам будет две картины нарисовать.

„Ну, делать нечего, тут же мне нарисовал почти в одно утро их обе. Там какой-то парус виднеется на зеленоватом фоне воды, а напереди обломок мачты плывет, а за него ухватился человек: меня же, должно быть, изобразил, как я за него ухватился. Все-таки картинки-то теперь стоили не по золотому, а подороже. Так что проценты и выросли“.

Фролов был большой шутник и говорил всегда с прибаутками.

Однажды я проходил мимо магазина Аванцо на Морской и увидел небольшую рамочку, в которую была вставлена забеленная холстинка с проведенною

поперек чертою в виде горизонта, а на нижней части плывущий боченок; с правой стороны полная подпись: И. Айвазовский,—цена объявлена 300 рублей. И много в своей жизни написал этих бочек маститый художник, так что теперь составляет редкое исключение тот, кто их не имеет.

На упомянутой выставке были также несколько портретов дяди Карла Павловича, две картины Мордвинова ⁸¹: „Венеция“. Старик Максим Никифорович Воробьев ⁸² выставял свои виды Иерусалима и реки Иордан, а также были выставлены несколько картин Ладюрнера ⁸³, писавшего тогда свои военные сюжеты, т.-е. парады и разводы, страстно любимые Николаем I. Здесь же находились картина „Прометей“ и „Молящаяся девушка“, об истории которой я уже говорил. Скульпторный отдел был наполнен талантливыми произведениями, среди которых „Бабошник“ и „Сваешник“ известного Пименова ⁸⁴ и „Рыбачек“ Ставасера ⁸⁵ обращали на себя всеобщее внимание, „Мальчик с шайкой“ Рамазанова ⁸⁶ и многие другие.

Несколько картин пейзажиста Лебедева ⁸⁷ оставлены в Академии, а некоторые находятся в Музее императора Александра III. Кроме того, выделялись произведения Шамшина ⁸⁸, Скотти ⁸⁹ и Завьялова ⁹⁰, образ работы которого, изображающий Александра Невского, находится в часовне на Николаевском мосту. Огромное впечатление производила картина Петровского ⁹¹ „Агарь в пустыне со своим умирающим

сыном" (эта картина исчезла бесследно, и никто не знает об ее участи) и „Поцелуй“ Моллера ⁹². Превосходные гравюры профессора Иордана ⁹³ и Уткина ⁹⁴ были поразительны. Все залы, выходящие окнами на круглый двор, были заняты архитектурными работами, среди которых работы моего товарища К. А. Тона ⁹⁵ занимали первые места. Программы Карла Штельба ⁹⁶ отличались своею оригинальностью, он первый начал разрабатывать стиль древне-русской архитектуры и этим обратил на себя всеобщее внимание. Эта выставка была одною из очень обильных хорошими произведениями, и публика хлынула туда волною.

Еще до открытия выставки мы, ученики, рассыпались по залам небольшими группами, смотря кто чем увлекался; я бродил вместе с двумя моими товарищами, сделавшимися впоследствии очень известными в художественном мире.

Один из них был Лагорио ⁹⁷, пейзажист, теперь маститый профессор. Тогда он уже обращал на себя внимание своими прекрасными этюдами, которые он делал, бродя по окрестностям Петербурга, и после Лебедева первый из пейзажистов уловил и передал меланхолическую прелесть его скудной природы. В то время манера его писать была совсем не та, которая проявилась в позднейших его произведениях, созданных им на Кавказе, и, вообще, роскошный колорит юга так сильно повлиял на него, что он,

как колорист, совершенно изменился, а затем, хотя и вошел в разряд первоклассных художников этого жанра, но далеко не был так оригинален и типичен, как до своего отъезда на юг. Другой мой товарищ был Бейдеман ⁹⁸, отличный скульптор, впоследствии трагически окончивший свою жизнь в самом расцвете своей деятельности, — он был убит в собственной мастерской сорвавшейся с полки гипсовой рукою, небрежно положенной туда.

Между прочими моими товарищами были также братья Агины ⁹⁹; старший, Александр Алексеевич, был тот самый Агин, который сделался впоследствии непосредственным помощником барона Петра Карловича Клодта ¹⁰⁰ при создании им памятника И. А. Крылову. Это были простые, теплые ребята, с которыми я с удовольствием проводил время. Младший, Василий, во время Крымской кампании, когда англичане стояли в виду Кронштадта, поступил добровольцем во флот. С Агиными мы устраивали небольшие литературные вечера или далеко уезжали в Финский залив на лодке, где проводили время за рисованием или охотясь.

Написав еще несколько новых рисунков к „Капитанской дочке“, я снес их к А. А. Агину, которому они очень понравились, и он посоветовал мне обратиться для издания их к граверу Бернадскому, который в то время приготавливал уже свое издание „Мертвых душ“ Гоголя с рисунками Агина.

Затея моя иллюстрировать одно из лучших произведений угасшего поэта была встречена с большим сочувствием также со стороны Панаева и Соллогуба, которым я показывал мои первые рисунки „Капитанской дочки“. Мне, между прочим, попались литографированные оттиски факсимиле с рисунков, сделанных рукою самого Пушкина, который одно время отыскивал художника способного повторить их в более правильном и изящном виде. Повидимому, сам великий поэт мечтал создать иллюстрации к своим сочинениям такими, какими он их себе воображал... Я работал с увлечением. Вот когда я понял и моего дядю Карла Павловича, получившего от императора Николая Павловича один заказ против своего желания, несмотря на то, что сюжет картины был весьма благодарный. Эта картина должна была изображать осаду Пскова. Карл Павлович с большой неохотой принял этот заказ, несмотря даже на то, что сюжет картины, собственно, шел параллельно его направлению, его способности изображать все ужасное и трескучее, но он почему-то не нравился Брюллову.

Я сам слышал, как мой дядя, говоря об этом заказе с одним из своих поклонников, с особенной злостью сказал:

— Ну, что я поделаю с этими дураками русскими, с их неуклюжими фигурками в армяках? Только на колени могу их поставить.

Вот как относился к русскому элементу этот насильственно обруселый немец.

Конечно, к моей идее заняться созданием картин из чисто русской жизни он также отнесся скептически. Но я нашел себе сочувствие среди других лиц.

Моя „Капитанская дочка“ произвела такое впечатление на Панаева, что он, вернувшись из-за границы, навестил меня и сообщил о затеянном им совместно с Некрасовым предприятии издать иллюстрированный альбом под заглавием: „Альманах“, и просил меня принять участие, как иллюстратора. На этой почве я и сблизился с Некрасовым ¹⁰¹. Жил он тогда в Поварском переулке, около Владимирской церкви, и занимал маленькую квартирку почти без мебели, или меблированную, как говорят французы, „trois chaises dans deux chambres“. По крайней мере, та комната, в которой он меня принял, была почти совершенно пустая: у стены стоял простой деревянный стол, а около него стул. Как на том, так и на другом грудой лежали книги и газеты, на одном из окон валялась неповешенная штора. Другая комната была почти с таким же убранством.

Некрасов вышел ко мне, наскоро оканчивая свой туалет, и, поздоровавшись со мною, как-то нервно начал ходить по комнате, лихорадочно потирая себе руки, и заговорил:

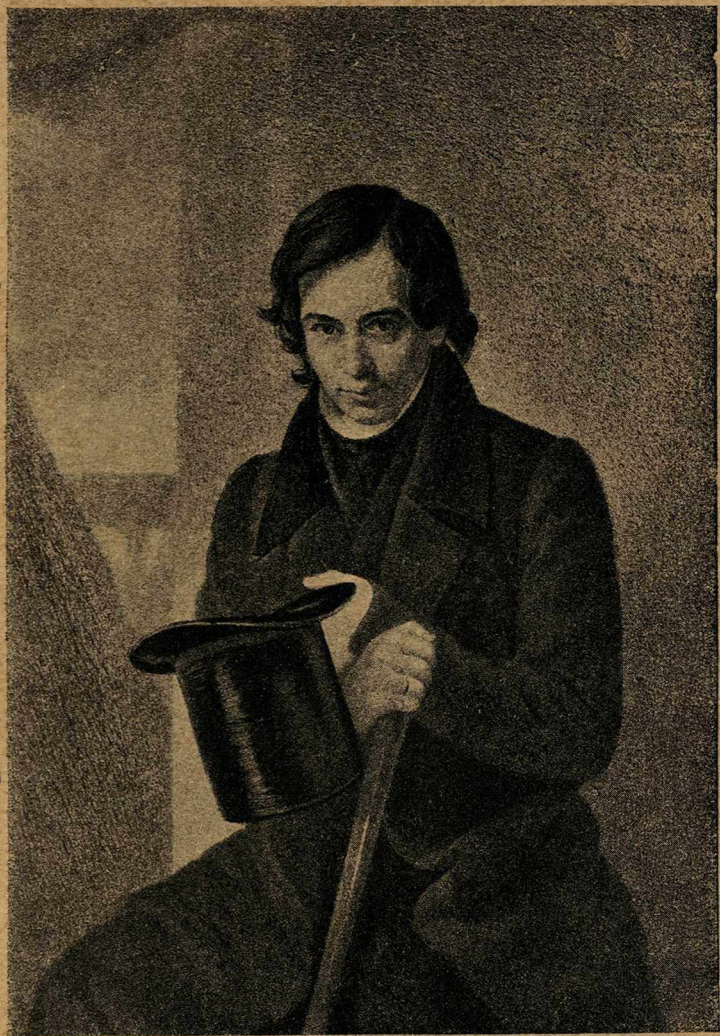
— Так вот, г. Соколов, мы это так сделаем, как Панаев вам уже говорил, а к моим стихотворениям

я вас попрошу нарисовать две или три виньетки. Но главною вещью этого „Альманаха“ и самую выдающуюся будет повесть Достоевского „Бедные люди“; уж вы, пожалуйста, постарайтесь передать эти бесподобные типы.

Некрасов был чем-то взволнован и, как я потом узнал, он хлопотал о деньгах для этого издания.

По моему совету, Некрасов решился ограничиться одним заглавным листом; это было бы и дешевле и скорее могло быть исполнено. На большом листе я собрал все цветы поэзии этого „Альманаха“ в виде большого букета с группою из повести „Бедные люди“.

Моя „Капитанская дочка“ была закончена в Москве и впоследствии была приобретена великим князем Владимиром Александровичем и среди прочих картин фигурировала на выставке по случаю столетнего юбилея Пушкина. Нужда не давала мне возможности сосредоточить все эти мои произведения в одном месте или хранить их у себя. Тогда я продавал свои труды за бесценок, а многие пропали даром. Так например, чудные мои иллюстрации к „Евгению Онегину“ я оставил в Москве у Булгакова, не желая везти их в Петербург; Булгаков умер, имущество его было описано и продано, в том числе проданы были и мои рисунки. Не могу утверждать, но предполагаю, что Булгаков продал их еще при жизни, на что меня наводит письмо, полученное



Г. В. Кукольник.

(С ориг. К. П. Брюллова).

мною от Л. Майкова 4-го января 1894 г., в котором он сообщает мне, что после долгих розысков он наконец узнал, где находятся рисунки к „Онегину“, что они „были куплены у Булгакова Дмитрием Аркадьевичем Столыпиным и подарены Марии Владимировне Катковой, рожденной княжне Щербатовой, жене Михаила Каткова, сына знаменитого Михаила Никифоровича“. Рисунки эти были чудесно изданы Готье.

„Старосветских помещиков“ издал Маркс, но в таком скверном издании, что, правда, было больно видеть свое произведение в подобном виде. Эти рисунки попали к нему от семейства Бенкендорфов, живших в своем имении под Москвою и купивших у меня эти иллюстрации за сто рублей. Но не этот скромный гонорар был мне наградою за этот вдохновенный альбом, а то, что когда моих „Старосветских помещиков“ рассматривала одна англичанка, гостившая у Бенкендорфов, которая ни слова по-русски не понимала, то она по рисункам поняла сюжет повести Гоголя, с произведениями которого она не была знакома, без всяких объяснений и под конец заплакала. Я был удовлетворен и убедился, что и в рисунках моих хорошо было передано то чувство, которым согрета эта прелестная повесть.

Когданибудь русское общество оценит эти вдохновенные работы и поймет их, как понимали и ценили их немногие из моих современников, глубоко постиг-

шие великих наших писателей, которых я иллюстрировал, но мало ли, много ли пройдет времени до этого момента — покрыто мраком неизвестности.

VIII

Осип Иванович Сенковский (барон Брамбеус). — Михаил Иванович Глинка. — Петербургский театр и его знаменитости. — Итальянская опера. — Драма. — Французский театр и балет.

Осип Иванович Сенковский ¹⁰², знаменитый барон Брамбеус, был женат на моей тетушке Александре Александровне Брюлловой, урожденной Раль, а потому я часто с ним встречался в доме моего дяди Александра Павловича. Наружность Осипа Ивановича по портретам более или менее известна, но на самом деле она была гораздо хуже. Все лицо его было ужасно изрыто оспою, что окончательно безобразило и без того его непривлекательную наружность; ни бровей, ни ресниц совершенно не было у Сенковского, а бороду и усы он брил, между тем глаза и волосы были совершенно черные. Карл Брюллов, со свойственною ему ядовитостью, сравнивал лицо Сенковского с кладбищем. Видел я лица очень неприглядные, но им зачастую этот недостаток поподняла симпатичность, но у Осипа Ивановича и этого не было. Однако, это не мешало моему талантливому родственнику быть всегда изысканно и даже франтовато одетым, с драгоценными булавками в галстуках, да и вообще заниматься своей

наружностью. В то время Осип Иванович был весьма занят только что вышедшими в свет романами Жорж Занд, и главным предметом его споров была эта писательница ¹⁰³. Я очень симпатизировал этому симпатичному по характеру человеку и любил его общество, но к сожалению не мог часто доставлять себе это удовольствие, так как был завален работами и целые дни проводил у Нестора Васильевича Кукольника, издававшего мои „Виды Павловска“.

Во время этих моих посещений я часто заставлял у него Михаила Ивановича Глинку ¹⁰⁴, который при мне садился за рояль и пел свои прелестные романсы. Ах, как он пел их! Владея очень слабым голосом, он с таким чувством, с таким выражением исполнял эти чудные вещи, что положительно не замечалось этого его недостатка. С каким увлечением слушал я великого композитора! В это время он писал партитуру „Руслана и Людмилы“, и я слышал исполненные им уже тогда кое-какие отдельные номера той или другой партии голосов и мне потом просто было непонятно, когда я, сидя у графа Михаила Юрьевича Виельгорского, услышал от него следующую фразу во время разговора о современной опере:

— Вот Глинка ко мне все пристает со своим Русланом, — сказал граф: — я, право, боюсь, что он с ним провалится... Впрочем, у него там есть и прекрасные места, например, когда поет Ратмир: „Чуд-

ный сон живой любви“... — и граф запел хотя поблеклым, но очень приятным баритоном.

Не знаю, но я о „Руслане“ тогда был совершенно другого мнения, я слышал многое из этой прелестной оперы от самого создателя и положительно был обворожен ею.

Теперь пора поговорить и о театре той далекой эпохи.

Новинкою нашего театра была итальянская опера и первая труппа итальянских артистов, вызванная дирекцией в Петербург, во главе которых были знаменитые: Рубини, Тамбурины и Виардо, производившие фурор. Рубини¹⁰⁵ был уже старик, но голос его, поистине бессмертный, продолжал поражать слух; кроме того этот артист держал себя на сцене с таким тактом и навыком, что несмотря на неподходящие к его годам амплуа первых любовников, он не подавал повода желать на его место другого. Репертуар итальянской оперы не был особенно богат: „Лючия“, „Сомнамбула“, „Пуритане“ чередовались без конца, но во всех этих операх великие артисты выделяли такие чудеса, что публика не утомлялась этим повторением. Впоследствии, когда итальянская опера была лучше обставлена вторыми голосами и хорами, стали ставить и „Семирамиду“ для классического пения Виардо¹⁰⁶, и уже с приездом Лаблаша ставили: „Дон Пасквале“, „Сороку воровку“, „Севильского цирюльника“, а из драма-

тических вещей — „Норму“ и „Вильгельма Телля“. Весь Петербург был очарован итальянцами, а по дворам стали гулять шарманки, собирая богатую дань от любителей этих чудных мотивов. Наконец, их развилось такое множество, что полиция запретила шарманщикам появляться в черте города, да и была пора, потому что они порядком уже надоели.

В русском театре процветали водевиль и комедия, в них отличались Максимов и Самойлов.

Петр Андреевич Каратыгин¹⁰⁷ был сначала в балете и в один злополучный час довольно долго провисел на проволоке между небом и землею, (изображая амура), благодаря оплошности одного из рабочих. Затем он перешел в драматический театр и играл с обтянутыми белым трико ногами, в коротенькой мантии какогонибудь Розенкранца или Гильдштерна и других принцев, а затем сделался отличным комиком и автором забавных водевилей и фарсов.

С появлением Мартынова¹⁰⁸ остроумие, веселость, смех воцарились на нашей сцене. Чем дальше, тем больше Мартынов привлекал публику и его зачастую ставили на самые ничтожные роли для приманки и хорошего сбора. Юмор его мимики был настолько гениальным, что самая слабая пьеса, только благодаря его участию в ней, не сходила со сцены. Я, например, помню, как в одной пьесе вся роль Мартынова заключалась в том, что он

изображал какого-то чудака, только время от времени подходил к авансцене и, приложив палец к носу, повторял: „Что, бишь, я хотел сказать? — да, ничего“, и затем отходил при громком хохоте и аплодисментах публики. А то в другой раз он играл подвыпившего старенького чиновника, повторявшего всего шесть слов: „Ах, беда моя, много выпил я“, и театр покатывался со смеху.

Хорош он был также в роли унтер-офицера, справлявшего свои именины и с упоением смотревшего на веселящихся гостей, когда он, подмигивая публике, повторял: „А ведь я именинник!“ — да так, что долго не мог успокоиться театр от дружного взрыва хохота.

Можно себе представить, что делал этот талантливый актер из настоящих ролей — вот уж про него можно сказать, что он их создавал. Один его выход оживлял всю сцену, которая до того была мертва и безжизненна. У меня до сих пор сохранился его портрет, нарисованный очень талантливым французским художником Польпети на камне. Этот художник приезжал в Петербург по приглашению директора императорского Эрмитажа для воспроизведения посредством литографии лучших произведений, хранящихся в нем. Портрет этот поразительно похож, и я не могу его равнодушно видеть. Впоследствии Мартынов играл (но как играл!) сильные драматические роли. Так, например, в пьесе „Не в деньгах

счастье“ он заставлял всех плакать так же, как умел заставлять смеяться в веселых комедиях. Император Николай Павлович, несмотря на свою серьезность, нередко увлекался его игрою и очень часто специально для него ездил в театр. Однажды, когда Мартынов очень распотешил государя, он приказал позвать его и вышел в аванложу. В ложе сидел министр двора князь П. М. Волконский.

— Ну, пожалуйста, Мартынов, — сказал государь: — нас никто здесь не видит, представь меня, говорят, ты это замечательно хорошо делаешь.

Мартынов не задумался ни на минуту, а отступив на шаг назад, поднял голову и, заложив руки назад, как это часто делал государь, сказал голосом, очень похожим на государев:

— Волконский, прибавь к жалованью, которое получает Мартынов, тысячу рублей.

— Угадал! — вскричал государь: — я только что хотел это сделать.

И Мартынов с этого вечера стал получать эту прибавку.

В русском театре я бывал постоянно до самой катастрофы с моим приятелем С. Ф. Дуровым и А. И. Пальмом; оба они очень любили сцену, а Александр Иванович был особенным знатоком театрального искусства, что и доказал впоследствии, написав для сцены много пьес, из которых „Старый

барин“ дается и до сих пор. В исполнении главной роли этой пьесы был хорош Самойлов.

Директором театров в ту пору был Гедеонов ¹⁰⁹.

Артист Самойлов дошел до ослепления, вообразив себя совершенством из совершенств. Он говорил, например:

— Я покажу им (кому это им?), как надо играть Шекспира! — и один раз, играя Гамлета, до того увлекся желанием произвести эффект, что во время сцены во дворце, когда мать Гамлета, не имея сил перенести сцену отравления, лишается чувств, а дядя его в смущении удаляется, он вскочил на стол с криком: „Свечей!“ и стал бить в ладоши и хохотать. Но бил в ладоши один Самойлов, а в театре не было ни хлопка.

Французская сцена начинала входить в большую моду, и на ней появились новые талантливые артисты из Парижа. Муж и жена Аллан и красавец Брессан очаровали своею игрою безусловно всех. В особенности последний сводил с ума не только дам, но даже и молодежь старалась подражать его манерам, костюму и даже прическе; например, у него на висках были большие взлызины, и многие юноши, не имевшие их, принуждены были прибегать к бритве. Прическа эта так и была названа „а-ля-Брессан“.

Оба супруга Аллан были превосходны и в комедии, и я не стану перечислять ролей, в которых они наиболее блистали, так как им уже давно сде-

лана верная оценка. Еще из выдающихся артистов этой труппы назову m-eur и m-me Alexandre, последняя была во многих ролях прелестна и по сцене носила двойную фамилию: Alexandre-Mayère.

Муж m-me Alexandre был посредственным актером, но была, однако, одна значительная роль, в которой он был превосходен, а именно—Ришелье; он ее исполнял, как никто. Наружность и гримировка его были настолько близки к оставшимся портретам этого французского министра, что приводили всех в изумление. Когда я впоследствии увидел в этой роли Самойлова, то хотя он играл хорошо по-своему и производил, как известно, большой эффект, но, да не прогневается его тень на меня, если я скажу, что преимущество в исполнении этой роли было на стороне Alexandre.

И наружностью своею, и относительно малым ростом, коротким и круглым носом, Самойлов походил скорее на другого кардинала из другой эпохи, а именно на Мазарини, тогда как Alexandre с первого же выхода поражал величием своею рослой фигуры и чисто французским профилем лица. Наконец, в самой игре было более выдержки, менее подчеркивания некоторых фраз, а во взглядах более исторической правды.

Балет в то время блистал в полном смысле этого слова. Стоит только перечислить такие имена: Муравьева, Мария Васильевна Петипа, Прихунова,

ученица Тамани, Мадаева, Радина и многие другие из наших корифеек, чтобы себе представить, что это был за балет. Для балета того времени музыку писал даровитый Пуни, талант которого был так мало оценен, что когда он умер, потребовалось устроить спектакль для того, чтобы собрать известную сумму на похороны. Обстановка балета была поразительно хороша, и в особенности ею отличались: „Сильфида“, „Жизель“, „Эсмеральда“, „Дочь Фараона“ и др. Публика положительно сходила с ума и засыпала розами прелестных корифеек. Однажды, когда Муравьева привела в особенный восторг своих обожателей, вся сцена была сплошь завалена розами, так что для того, чтобы очистить ее, потребовалось шесть человек с большими садовыми метлами. Счастливая фаворитка публики, неоднократно вызываемая, путалась своими очаровательными ножками в гряде цветов и, наконец, споткнувшись, упала под гром рукоплесканий неистовавшей толпы. Да, весело было тогда в балетах! Но это увлечение балетом продолжалось не особенно долго: публика как-то вскоре остыла к нему, и через десятка два лет после этих оваций театр начал пустовать до такой степени, что из кассы выдавались даровые места, чтобы хоть этим наполнить сколько-нибудь зал.

Русская опера начала выдвигаться с басом Петровым и контральто Леоновой во главе, да и репер-

туар ее был пополнен музыкой Глинки и Даргомыжского. Не хватало у нас только теноров равной силы для первых ролей.

IX.

Поступление учителем рисования в Николаевский женский институт. — Граф А. К. Толстой. — Князь Щербатов. — Граф Ф. С. Апраксин.

Однажды, придя к графу Владимиру Александровичу Соллогубу, я застал графиню Софью Михайловну в большом волнении; оказалось, что великая княгиня Елена Павловна обратилась к ней с просьбой наскоро нарисовать и прислать акварельную копию с женского портрета, писанного знаменитым портретистом Винтергальтером и находившегося в комнате ее отца, графа М. Ю. Виельгорского. Великой княгине собственно нужен был вид рукава на платье этой фигуры, как бы модная картина, необходимая для ее туалета. Графиня не могла сама исполнить этого, так как рукав был украшен кружевами самых затейливых узоров, созданных искусною рукою талантливого художника и требующих при копировке особенно тщательной работы. Я, конечно, поспешил на помощь к графине, насколько не подозревая, что эта пустяжная услуга послужит началом для моей новой карьеры. Картина была готова и немедленно отправлена во дворец.

Вскоре после этого я получил от графа М. Ю. Виельгорского извещение, что меня приглашают занять место учителя рисования старших классов в Николаевском женском институте и что я должен отправиться к начальнице института г-же Оом.

В семействе директрисы я был принят очень ласково и с удовольствием проводил время в этом простом и интеллигентном обществе. Сын моей начальницы, Федор Адольфович, мой ровесник, довольно близко находился при особе наследника цесаревича Николая Александровича, а впоследствии был секретарем у императрицы Марии Федоровны.

Хорошие отношения с семейством графа Владимира Александровича Соллогуба упрочились и я почти ежедневно бывал в его доме, продолжая давать уроки графине Софье Михайловне, и бывал у них на вечерах; но эти вечера были уже не те, что несколько лет тому назад. Петербург как будто бы устал, утомился сплошным своим весельем и теперь отдыхал в салонах и гостинных, внимая музыке и произведениям гениальных писателей, звезды которых одна за другою появлялись на горизонте нашего литературного мира. Однажды я застал у графини Софьи Михайловны графа Алексея Константиновича Толстого, впоследствии знаменитого поэта-писателя, гулявшего по гостиной в ожидании выхода хозяйки; я тогда не был знаком с Алексеем Константиновичем и не знал его в лицо. Став

у рояля, я невольно загляделся на этого пышащего здоровьем человека с лицом, выражающим кроткую и глубокую мысль на открытом, белом, с прекрасными очертаниями лбе. Мы смотрели друг на друга, наши глаза встретились, и граф улыбнулся. В этой улыбке было столько чарующего и ласкающего, что я невольно подошел к нему с искренним желанием познакомиться с таким, повидимому, хорошим человеком. Граф продолжал улыбаться и, подвинувшись на диване, сказал:

— Чем нам врозь поглядывать друг на друга, как каким-нибудь часовым, присядьте-ка сюда, ведь вы художник Соколов? Как же, как же, любовался вашей „Капитанской дочкой“. А позвольте вас спросить, почему вы так пристально на меня смотрели?—спросил он.

— Да потому, — отвечал я: — что вы обладаете таким здоровым цветом лица, что мне, художнику, крайне в диковинку встретить что-нибудь подобное в Петербурге.

— Да, этому я обязан всецело только деревенской жизни. Ведь я постоянно живу в деревне, — прибавил он: — охочусь, вожусь со своими собаками и беру все, что только может дать мне наша общая мать природа. Но мы с вами еще не знакомы, — сказал он мне вдруг, подавая руку: — Алексей Толстой, и очень буду рад встретиться с вами. Ведь вы знаете Жемчужникова, — не литератора, тот мой

друг ¹¹⁰, — а художника ¹¹¹, Так вот я у него бываю и мы можем у него встретиться.

В это время вошла графиня и прервала наш разговор.

Успехи моих иллюстраций и картин придавали мне энергию, и я с большим рвением принялся за работу. Мастерскую мою стали посещать бывшие товарищи по Академии, а между ними часто заезжал князь Щербатов, глухонемой, сидевший со мной в рисовальном классе на одной скамейке. Этот талантливый человек служил в Кирасирском полку, имел большую страсть к рисованию и разговаривал всегда письменно,нося для этого особую книжку с отрывными листами. Наше знакомство не могло быть прочно, и я скоро потерял его из виду.

Другой граф Апраксин, Степана Федоровича Апраксина сын, также удостаивал меня своим вниманием, но он мне, по правде говоря, был антипатичен. Это был черствый, скупой человек. Один только какой-то аэронавт, которому он помогал производить его шарлатанские опыты изобретенного им аппарата, пользовался его вниманием, но затея эта, в конце концов, не увенчалась ни малейшим успехом. Одно время на Охте, в доке, оставшемся еще со времени Петра I, благодаря хлопотам графа, была устроена мастерская, где в течении трех лет строго сохранялась тайна этого летательного снаряда; но так оттуда никакого шара и не

вылетало, все дело кончилось мыльным пузырем. Наверное, подобное предприятие порастрясло-таки карман этого скупого вельможи. Наружность графа Федора Степановича была очень невзрачная, да к тому же он всегда ходил какой-то угрюмый и молчаливый, как бы недовольный всем окружающим, и только флигель-адъютанский мундир несколько его скрашивал. Сознавая свое убожество, он думал замаскировать его проявлением в себе какого-нибудь таланта, и вот благодаря чему его стали встречать в рисовальных классах Академии; но, пробившись там без толку года три, он принужден был сознаться, что и тут ему не удастся отличиться, и он бросил рисование, как ненужную вещь. Так и скончался граф Федор Степанович Апраксин, не оставив по себе никакой памяти. Мир праху твоему, бесполезный человек.

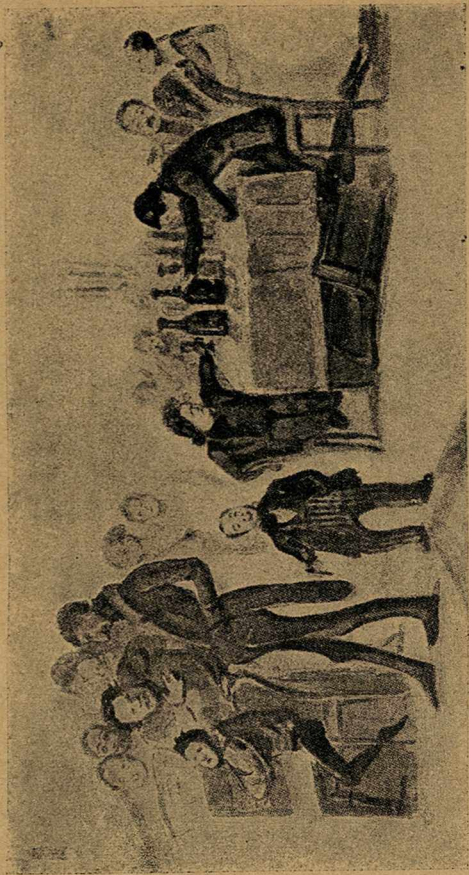
Х.

Поездка в Москву.—Каретка *malposte*.—Приезд к родителям.—Егор Иванович Маковский.—Константин Маковский.—В гостях у Маковского.—Рамазанов.—В гостях у чудака Булгакова.—Эпизод с Н. В. Гоголем.

Наступила весна 1846 г., и я решил отправиться навестить своих в Москву. В одно ясное утро я уложил свои вещи в каретку *malposte* (железной дороги тогда еще не было). Может быть, и даже очень вероятно, что мало осталось людей старого

времени, которые помнят эти каретки. Собственно, каретка составляла центральный корпус экипажа и в ней было четыре места, затем находилось еще пять мест, расположенных следующим образом: два рядом с ямщиком, с верхом и фартуком из кожи, и три такие же позади. Не дай бог, если такая карета в дороге сваливалась, как это зачастую бывало, или застревала в грязи. Тогда несчастным пассажирам приходилось собственными силами извлекать ее оттуда и устанавливать в первобытное положение. Наружные места, конечно, были дешевле, а так как передние еще менее были подвержены пыли, то я и занял одно из последних.

Уже рассвело, когда мы подъезжали к Новгороду. Церковный звон к заутрени привел меня в какое-то благотворное состояние, и я даже перекрестился. Навстречу нам прокатил крупный дорез в четверку, с военным лакеем на козлах. Затем потянулись деревенские возы со спящими на них мужиками. Маленькие разношерстные лошадки шли мерным шагом, изредка похрапывая. Проскакал верховой с эстафетой, нахлестывая своего пегого мерина. Время от времени попадались пешие с котомками и узелками, с любопытством поглядывая на нашу карету. Вот и группа мужиков с закинутыми за спину желтыми сапогами, весело болтающих, осталась позади, и вот начали попадаться солдаты в шинелях с закинутыми назад полами, за-



К. П. Брюллов, Н. В. Кукольник, М. И. Глинка и др.

Каррикатура Н. Степанова.

вернутыми низами штанов, с тяжелыми ранцами за спиною и ружьями на плечах. Бабы, ребятишки, опять возы, и опять мужики, — и так всю дорогу. Теперь опустело это шоссе, а тогда эта артерия между столицами переливалась кровью русской народной жизни.

Новгород я видел только издали. Тверь мне понравилась своею чистотою. В Валдайке нас осадили бабы и мальчишки, навязывая свои баранки, бублики и колокольчики. К Торжку я подъехал уже совершенно разбитый дорогой, и только прекрасно приготовленные пожарские котлеты немного подкрепили мои силы. Я остановился в „Пожарской гостинице“ ¹¹² (ныне номера Федюхина) и отдохнул на славу. На третьи сутки мы стали уже подъезжать к Москве. Вот проехали уже и Клин, и я увидел в правой стороне Петровское-Разумовское, окутанное сплошь зеленью, налево виднелось Останкино, а вот по дороге с правой стороны потянулся ряд довольно крупных дач. Налево выступил своими красными стенами с белой обшивкой Петровский дворец, а налево огромное Ходынское поле, и, наконец, показались Триумфальные ворота с заставою, находившеюся тут же возле них. Но вот по Тверской въехали в Москву: „мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, сани, фонари“... На Мясницкой против главного почтамта жили мои родители, а потому мне было недалеко перебираться с вещами от места

отправки нашей каретки, и я поспешил туда, оставив вещи на почте.

Нечего и говорить, как рада была матушка моему приезду, как взволновалось ее любящее сердце. Отца я застал в рабочем кабинете в черном шелковом халате и с ермолкой на голове. Я крепко обнял его так, что он не успел положить своей кисти и она упала на пол, я бросился поднимать ее и поцеловал его руку.

На другой день вечером по случаю моего приезда у нас собрались гости, и между ними был и друг моего отца, Егор Иванович Маковский, отец знаменитого нашего живописца Константина Маковского и его брата Владимира—жанриста, а также Николая, даровитого акварелиста, очень сильного по перспективному и тому, что называют французы „pitoresque“. Он умер в чахотке в юношеском возрасте. Егор Иванович Маковский ¹¹³ был очень почтенный и чрезвычайно симпатичный старик, служивший много лет при дворцовой конторе и известный всей Москве, как собиратель старинных гравюр. Коллекция его славилась большою редкостью многих экземпляров лучших немецких, французских, английских и итальянских образцов, а в особенности фламандской школы. Вся Мосоловская галерея, продававшаяся с аукционного торга, попала к нему. Как он умудрился, живя на свое небольшое жалованье, делать такие приобретения, объясняется только

одною страстью, но страсть, по-моему, также вещь необъяснимая. С Егором Ивановичем так легко было сойтись, что я, просидев с ним часа два или три, так привык к нему, как будто знал его уже много лет. Таких людей нынче не встретишь, он был, как говорится, весь на тарелке и никогда у него никакой задней мысли не водилось. Самым большим удовольствием для Егора Ивановича было показывать свои коллекции понимающему в них толк человеку, и он пригласил меня непременно заехать к нему.

Я, конечно, выразил полную готовность воспользоваться любезным приглашением и на другой же день был у Маковского, тем более, что намеревался осмотреть работы храма Спасителя, находившегося недалеко от их дома.

Когда я вошел во двор дворцового дома, то положительно не знал, где мне искать квартиру Егора Ивановича. Кругом никого не было, и только около одной из стен какого-то флигеля два мальчика играли в бабки. Я подошел к ним и обратился к тому, который был постарше. Лицо этого мальчика сейчас же напомнило мне черты Егора Ивановича своим с ним сходством. Оказалось, что это был его старший сын Константин. Лицо его было пресимпатичное, и сходство с отцом еще более себя обнаружило, когда он улыбнулся и, узнав от меня, что мне нужно видеть его отца, бросил игру

и повел меня к подъезду их квартиры. Меня встретила Любовь Корниловна.

Скоро пришел и Егор Иванович; лицо его приветливо улыбалось.

— Ну, что батюшка, — начал он, обращаясь ко мне: — насмотрелись на нашу Белокаменную? — и старик был доволен высказанным мною чувством восторга от того, что только в Москве я почувствовал себя настоящим русским. Любовь Корниловна тем временем собрала нам обед и действительно угостила на славу по-московскому, так что я еле встал из-за стола и поплелся за хозяином дома рассматривать его редкости. Для того, чтобы не утомляться, мы решили осмотреть всю коллекцию по частям и в несколько раз. Я начал с папки, в которой хранились исторические портреты довольно большого формата. Тут были и короли, и министры, кардиналы и разные знаменитости прошлого столетия и более старого времени и несколько пап, герцогов и монахов. Все гравюры были превосходные. Перед моим уходом Егор Иванович сказал мне, что я видел только часть его сокровищ, наименее им ценимую, но что именно с нее он начал потому, чтобы более интересное оставить.

Вернувшись домой, я застал Рамазанова ¹¹⁴, который сидел за роялем и импровизировал; он звал меня осмотреть постройки храма Спасителя, для которого он делал несколько барельефов. Рамаза-

нов, как и отец, жил в доме Юшковой школы, а потому я часто виделся с ним, он проводил у нас почти каждый вечер, и иногда даже составлялись домашние концерты, когда к нам приезжала Любовь Корниловна Маковская, которая прекрасно владела своим густым контральто, и симпатичный творец многих русских романсов Гурилев.

Рамазанов, скульптор, по возвращении из Италии принял место в Юшковой школе преподавателя по скульптуре, и для него была построена нарочно мастерская, где он и лепил свои знаменитые работы для храма Спасителя. Через него я познакомился с его отцом, директором почты, и Константином Булгаковым ¹¹⁵, интересовавшим меня своею оригинальностью и остроумием. Граф Владимир Александрович Соллогуб был в это время наездом в Москве и, как знавший хорошо Рамазанова, бывал нередко и у нас, и у него.

Однажды мы с графом зашли к Булгакову и застали его дома. С первого же шага в его помещение проявила себя оригинальность хозяина. Булгаков был известный спортсмен и даже сам скакал за жокея на собственной лошади, бравшей не один приз в своей жизни. Вот скелет этой-то лошади и стоял у одной из стен его комнаты. Скелет был облечен во всю свою сбрую с седлом, а над ним на кронштейне красовался кубок — приз, ею полученный. Вся квартира была заставлена разными

редкостями и самой затейливою мебелью, а сам хозяин заседал в широком кресле за огромным письменным столом, походившим на какой-то престол со светильниками и множеством свечей. Когда он встал нам навстречу, то походил скорее на ксендза, с полубритой головой и в белом халате с капюшоном, кончающимся длинною кистью. Стены его кабинета были до такой степени покрыты картинами и портретами разных знаменитостей, что решительно нельзя было видеть, какого цвета были обои. Тут находились также всякого рода сувениры, посвящения и воспоминания с надписями, целыми фразами и иногда стихами. В то время, когда граф Соллогуб и я входили, мы сразу не заметили двух приятелей Булгакова, лежавших на огромном диване, скрывавшемся во мраке комнаты; если бы они не подали голоса, то мы их так бы и не заметили.

Однажды Булгакова посетил Н. В. Гоголь и пресерьезно осматривал его коллекцию портретов и рисунков. Не заметив, что на диване сидел какой-то важный генерал, и к тому же очень щепетильный, Гоголь долго стоял над диваном, рассматривая висевшую над ним картину, не замечая сидевшего генерала, бесившегося от злобы на не деликатность какого-то обыкновенного смертного.

— Я заметил,— рассказывал Булгаков:— что Гоголь, не видя этого петуха, осеняет его своим длинным носом, и стал их представлять.— „*Mon cher*“—

сказал я генералу, моему старому приятелю, — „je te presente la personne du célèbre Gogol—l'écrivain“. Тогда надо было видеть, как флегматически Гоголь опустил свой длинный нос на моего бедного генерала, побагровевшего от неслыханного *sans façon* обращения, и как они оба в унисон промычали что-то вместо приветствия.

Увидя нас, Булгаков как будто начал обедню.

— А! петербургские артисты, — сказал он протяжно, — милости просим, — и он простер обе руки, облеченные в белые длинные рукава своего костюма, точно встречал нас благословением.

Вместо ответа В. А. Соллогуб посмотрел на него своим сонным взглядом и флегматически сказал:

— Давай водки и закусь!

— Ну, вот без исповеди и за причастие, — возразил хозяин: — а, впрочем, замечание твое мудро и всегда уместно.

— Особенно у тебя, — заметил Соллогуб.

Булгаков захлопал в ладоши, и будто из-под земли вырос мальчик, одетый Наполеоном Первым.

— Дары! — крикнул Булгаков, и мальчик исчез.

— Ну, господа, — продолжал он, обращаясь к сидевшим на диване: — надо ли вас представлять? А, впрочем, вот молодой сей художник, носящий доблестное имя своего отца Петра Федоровича Соколова и собирающийся затмить его еще доблестнейшими подвигами.

Двое утопавших на диване слегка приподнялись, и он назвал их:

— Столыпин и Трубецкой — столпы русского дворянства, — добавил Булгаков.

— Шут! — послышалось ему в ответ с оттоманки.

Распростившись с Булгаковым, я обещался бывать у него и бывал довольно часто, так как у него всегда можно было встретить ту или другую знаменитость по всем отраслям искусства, заезжавшую посмотреть на его действительно интересные коллекции; ему же я был обязан потерей моих иллюстраций к „Евгению Онегину“.

XI.

Большой театр в Москве до пожара. — Две соперницы. — Мертвая кошка на сцене. — Малый театр. — Пожар. — Портрет Пушкина, писанный Тропининым, и его история. — У Василия Андреевича Тропинина. — Назад в Петербург.

Как до пожара, так и после него, Большой театр сохранил свой прежний облик, но зато внутри он совершенно преобразился. Скажу о том состоянии, в котором я нашел этот театр до его знаменитого пожара. В это время московский балет конкурировал с петербургским, а потому я решил посмотреть его. Когда я вошел в театр, то первое, что поразило меня, это почти полное отсутствие помещения; все проходы были в совершенном мраке и наполнены каким-то вонючим чадом, так что в первые моменты

мне казалось, будто я очутился где-то в подземельи, а публика и капельдинеры походили на каких-то фантастических обитателей этого подземного царства. Я положительно не мог понять, отчего такой тяжелый воздух царил в этих довольно широких коридорах, но когда дошел до конца одного из них, то вопрос разрешился сам собою, так как там помещалась так называемая уборная, к тому же весьма грязно содержимая. Огромный зрительный зал также был тускло освещен, а обивка бортов, лож и стульев была до отвращения обтерта и грязна, так что к Большому театру вполне можно бы было применить с небольшим изменением слова Скалозуба в „Горе от ума“: „Пожар способствовал ему много к украшению...“ Однако, балет действительно оказался на высоте своей репутации, и славившаяся тогда Санковская была прелестная балерина. Она не могла называться красавицей, но зато неоспоримо обладала как мимическими, так и хореографическими талантами. У нее было много поклонников, и когда приехала из Петербурга фаворитка тамошнего директора Гедеонова, Андрианова, то в Москве образовались две враждебные партии, завязавшие ожесточенную борьбу в продолжении всего времени ее дебютов, окончившуюся крупным скандалом. Павел Булгаков, брат того офицера Московского полка, который так ловко эксплуатировал доброту великого князя Михаила Павловича, был до безумия

влюблен в Санковскую. Со дня появления Андриановой он неумоимо собирал оппозиционную партию и во главе ее громко свистал и шикал несчастной балерине. Наконец, когда партия, сочувствовавшая этой артистке, начала брать перевес, он решил сделать небывалый скандал.

Шла „Сатанилла“, очень хороший балет, отличавшийся своим мимическим отделением, прекрасно выполненным. Декорации и костюмы немного уступали в роскоши петербургской сцене, но художественное исполнение было безукоризненно. Кордебалет был настолько хорош, что легко мог поспорить с петербургским своею молодостью, свежестю и стройным выполнением. Петербургская гастролерша была очаровательна и в первом акте вызывала всеобщий восторг, только из партера и из некоторых лож были слышны свистки и раздавались крики:

— Андрианова — долой!

Булгаков, как рак красный, с каким-то пакетом бегал по коридорам и собирал свою компанию. В темных углах проходов произошли уже две схватки, и это было заметно по рассыпанным по полу цветам и конфетам.

Во время второго действия, при выходе Андриановой на сцену полетело несколько букетов и вдруг из литерной боковой ложи высунулась вся фигура Булгакова, рука которого держала за хвост дохлую

кошку. Вот кошка качнулась в воздухе, сделала несколько сальтомортале и упала к ногам оторопевшей балерины. Несчастная схватилась за голову и упала без чувств, занавес опустился, Андрианова уже больше не выходила и уехала в Петербург.

Когда последовало распоряжение о высылке Булгакова из столицы, он уже был по дороге на Кавказ, и история эта была оставлена без последствий.

Малый театр в то время славился драматическими талантами, как Самарин, Шумский, Живокини. Садовского еще не было, но по Москве о нем ходили уже слухи, как об интересном рассказчике и импровизаторе целых сцен, полных комизма и остроумия. Наконец, на него было обращено внимание, и он был приглашен дирекцией войти в состав императорской труппы. Впервые этот талантливый артист читал свои импровизации в доме живописца Рибуса, жившего на Садовой у Сухаревой башни, там я его и слышал. Щепкин ¹¹⁶ приезжал лишь наездом; с этим маститым артистом я познакомился гораздо позднее и бывал в его семействе. Я даже нарисовал с него три портрета, изобразив его в тех ролях, в которых он явился перед парижской публикой. Эти портреты были предназначены для альбома, поднесенного знаменитой актрисе Рашель ¹¹⁷ при приезде ее в Москву.

В Малом театре я смотрел „Материнское благо-

словение“ („La nouvelle Fanchon“), которую уже видел в Петербурге, на французской сцене. Первую роль тогда играла молодая артистка из театральной школы Лебедева и сыграла ее очень хорошо. Был также очень хорош известный актер Ленский, игравший умно и с большим и верным выражением. Другой раз я смотрел „Дон Цезарь де Базана“, в которой мне очень понравился Самарин. Но это все были пьесы переводные, которые не сходили с репертуара Малого театра, и я дождался случая посмотреть оригинальную русскую пьесу. Наконец, я дождался: давали „Ревизора“; городничего играл М. С. Щепкин, и нечего говорить, что он был хорош и типичен, но я уже видел в этой роли И. И. Сосницкого, и если позволю себе сравнить этих двух первоклассных артистов, то второй имел, на мой взгляд, преимущества чисто физические.

Щепкин показался мне слишком мал ростом, что также вредило ему при исполнении роли Фамусова, но несравненно меньше, чем в „Ревизоре“. Вообще драматический персонал в Москве был безукоризнен. Самый театр отличался своею уютностью. Люстра со стороны зрителей была заслонена небольшими щитами из зеленой тафты, что хотя и было приятно для глаз, но делало эту половину зала чересчур темной. Театр содержался чисто и был достаточно освещен в проходах и напоминал собою Михайловский в Петербурге, каким он был до перестройки.

Маскарады в Москве устраивались в Большом театре и славилась безобразием и распушенностью, с которой держала себя публика. Танцы происходили не только в большом зале, но и в комнатах, расположенных вокруг театра, и представляли собой сплошной канкан самого безобразного свойства, а собравшаяся кругом толпа, именно толпа, а не публика, криком и смехом подзадоривала пьяных плясунов. Я видел, как несколько мужчин в каких-то невозможных костюмах, присоединившись с боку припеку в кадрили, выделявали такие колена, что положительно хотелось плюнуть и уйти, что я и исполнил.

В зале Дворянского собрания было немного лучше, но все же ни один маскарад не обходился без более или менее крупного инцидента—уж такое тогда было время.

Я спокойно пил свой утренний чай, как вдруг вбегают наша служанка с криком:

— Большой театр горит!

Было одиннадцать часов, когда я вышел из дому и скорыми шагами спешил по Кузнецкому мосту, к месту пожара. Огромная туча дыма покрывала почти все видимое над головами небо и покрывала улицы каким-то зловещим мраком. Целые массы народа бежали и двигались с нами по направлению к месту, на котором пылал огромный костер, откуда точно ракеты, вылетали целые снопы горящих об-

ломков, пронизывая клубы черного дыма и окрашивая их контуры ярко-огненным блеском. Зрелище было поистине величественное, и казалось, что божественная кара послана этому месту в наказание за те бесчинства, которые там совершались. В ту самую минуту, когда я огибал последний угол улицы и уже ясно видел весь театр, произошло нечто настолько необычайное, что я, хотя и бежал, но вдруг остановился. как вкопанный, и замер от ужаса и восхищения. Весь купол крыши со всем потолком и стропилами вдруг обрушился в глубину арены и сверкающие массы огня и дыма вместе с обломками горящего дерева ринулись изо всех окон и отверстий, и казалось, что несколько рядов пушек, расставленных на каком-то колоссальном корабле, вдруг дали дружный всепокрушающий залп. Треск и шум, произошедшие от этого обвала, слились в общий гул, еще более реализируя упомянутую картину. Огонь на мгновение потух, придавленный свалившеюся крышей, но вдруг, как бы почуя свободный выход к небу, с зловещим блеском охватил все здание, и его яркие языки как бы обвивали весь театр, упиваясь своей разрушительной работой. В первый и единственный раз в жизни я видел такую величественную картину разрушения и невольно сравнивал ее с „Последним днем Помпеи“—нет, зрелище, бывшее передо мною, было настолько внушительно, что для дополнения его величия не тре-

бовалось никаких эпизодов, долженствующих олицетворять страх и отчаяние. К тому же весь ужас этой катастрофы был не столько в пожаре, а в том, что под провалившимся потолком были помещения, в которых ютились служащие при театре с их семьями, не успевшие во-время выйти из своих квартир и погибшие, как говорили, в огне.

Протискиваясь через густую толпу, я вышел на площадь театра, и здесь мне представилась картина уже другого характера, очень интересная по своей оживленности: пожарные, со свойственным им самоотвержением, употребляли все усилия чтобы приблизиться к адскому костру, со своими брандспойтами и лестницами, но это было почти невозможно, жар был настолько силен, что у многих смельчаков, близко подходивших к горящему зданию, были опалены волосы и дымилась одежда.

Вдруг кто-то схватил меня за руку, я обернулся и увидел графа Алексея Павловича Бобринского.

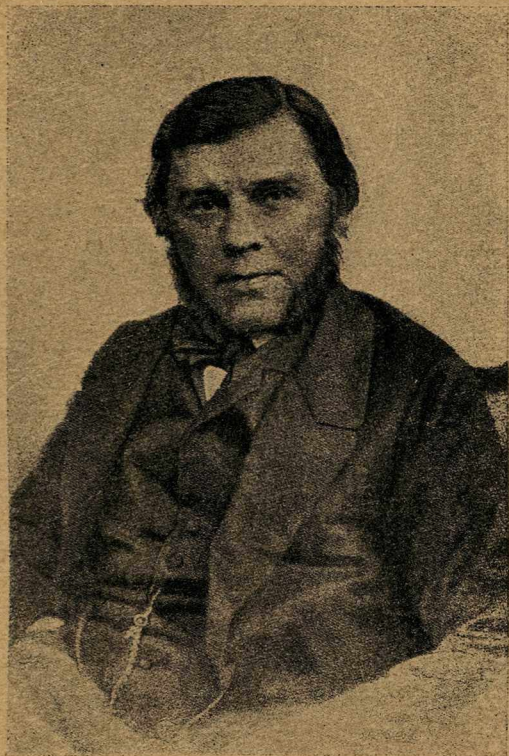
— Пойдемте скорее туда,—указывал он мне на левую сторону площади:—вы увидите нечто необычайное.

Мы поспешили туда. Около деревянного сарая, в котором хранились разные машины и механические приспособления для полетов и т. п., собралась большая толпа. Сарай уже начинал загораться, и пожарные спешили выдвинуть и выкатить хранившиеся в нем бутафорские вещи. Вдруг я увидел

движущуюся на нас странную группу: олени, собаки, вепри, охотники с медными трубами мчались довольно быстро на площадь, и перед ними расступалась озадаченная толпа народа. Это была приведенная в движение посредством своего механического способа фантастическая охота из „Фрейшюца“ 3-го акта. Зрелище было до крайности комично, но общее бедствие было настолько сильно, что никто даже не улыбался, тем более, что внимание всех было отвлечено совсем в другую сторону.

Мой отпуск и каникулы оканчивались, и предстояло подумать об обратном путешествии в северную столицу; но вскоре я успокоился и благодарил бога, что случай мне дал возможность избежать вторичного путешествия в мальпостной карете. Граф Владимир Александрович Соллогуб уезжал через несколько дней и предложил мне отправиться с ним в удобном и покойном его экипаже, и вот я спешил теперь потолкаться еще в Москве и досмотреть все ее достопримечательности. Однажды, проходя мимо Сухаревой башни во время торга и толкаясь между рядами, я увидел стол с разными безделушками из мрамора. Около него стояла женщина и усиленно предлагала публике свой товар, Я подошел и остановился на пресс-папье, изображавшем собою небольшую змейку.

— А у меня, барин, и картины продаются, — заметила женщина, завертывая покупку, как бы уга-



В. А. Соллогуб.

дывая во мне художника (у этого типа купцов ужасно верный нюх на то, кому и что предложить).— Заходи ко мне, может, что и выберешь,—и она дала мне свой адрес.

Конечно, я не замедлил побывать в складе этой торговли. Когда я вошел в ее квартиру, то, действительно, увидел две комнаты, стены которых были сплошь завешены разными картинами в старых поломанных рамках или вовсе без них, гравюры и другие художественные произведения. Большая часть их была попросту мазня и представляла собою грубые копии, годившиеся разве лишь для трактиров. Пересматривая эти произведения, мой взор вдруг остановился на темном квадрате, в котором я все же различал и не без волнения, дорогие моему сердцу черты моего сокровенного божества, поэта Александра Сергеевича Пушкина, но не того, что я уже видел, писанного Кипренским и гравированного Уткиным, — этот был в другом роде. Портрет этот висел так высоко и был покрыт таким густым слоем пыли и копоти, что еле можно было различить облик лица, и только ясно виднелась в левом его углу правая рука с большим перстнем на большом пальце, которая держала раскрытую книгу. Я овладел собою, стараясь не выдать своего волнения, и довольно равнодушно спросил продавщицу о висевшей рядом с ним какой-то старушке и только затем сказал, указывая на интересовавший меня портрет:

— Ну, а это что за пластырь?

— Да это, батюшка, портрет какого-то сочинителя, это мне так говорили, а бог его знает, кто он такой,—сказала она.

— А что ты за него хочешь?

— Да красненькую пожалуйста,—спросила торговка.

— За что это?—сказал я: — да ведь портрет-то без рамы.

— Да я вам и рамочку могу к нему дать, ведь он у меня-то в рамке был.

— Ну, да и без рамки сойдет, два рубля желаешь?—торговался я.

— Ах, что вы!—возмутилась старуха:—ведь он только запачкался, а на нем ни дырочки нет, целехонек, вот я вам его с левой стороны покажу, сами увидите, что новехонький. Пять рублей за него без греха можно взять, да и сочинитель-то, что на нем, вишь, известный какой-то, сказывали мне—значительно добавила торговка.

У меня всего было с собою 4 рубля, и я ей предложил три. Торговка согласилась, сняла со стены мою покупку, обмахнула пыль, завернула в два листа газетной бумаги, и я, схватив свое сокровище, пустился во всю прыть домой, не слыша, как говорится, под собою ног.

Тщательно вымыв картину в нескольких водах, я увидел прекрасно сохранившиеся краски очень хорошей живописи, приемы которой мне были зна-

комы, но я все еще не мог вспомнить, чьи они именно были. Вдруг я припомнил, что здесь в Москве делал портрет Пушкина Василий Андреевич Тропинин¹¹⁸, и я вдруг узнал в этой работе его манеру писать. Но почему же не было на этом портрете ни монограммы, ни подписи? Теряясь в догадках, я лег спать с намерением рано утром отправиться к самому Тропинину.

Было еще половина восьмого, когда я уже выходил из дому и направлялся с своей покупкой к Тропинину, жившему недалеко от дворцового дома. Мальчик—слуга, отворивший мне дверь, сказал, что господа в третьей комнате, и беспрепятственно пропустил меня в квартиру. Подобный патриархальный прием мне очень понравился, и я прямо пошел по указанию слуги. Пройдя два довольно больших покоя, я вошел в третий в одно окно и остановился от изумления от открывшейся предо мною картины. На корточках двое старичков супругов Тропининых сидели перед большим медным тазом, в котором кишмя кишели тараканы, огромные русские кацапы. Это происходило их кормление. Старик и старуха сыпали туда какую-то кашу и с необыкновенным сосредоточием следили за движением этой груды насекомых. Василий Андреевич, услышав мой приход, обернул только ко мне свою голову,— вот в таком повороте хотелось бы изобразить его, так он был мил и типичен.

— Что, батюшка, вам угодно?—спросил он, продолжая свое занятие, совершенно спокойным голосом, как будто дело было совсем обыкновенное—и возня его с тараканами, и мое появление сюда без доклада.

Я назвал себя и прибавил, что имею ему показать что-то. Кряхтя, приподнялся старик и, позвав мальчугана, встретившего меня в передней, приказал подать ему полотенце.

— Так вы, значит, Петра Федоровича сын?—сказал он, вытирая руки:—рад познакомиться, прошу покорно в светлицу,—и он указал мне обратный путь, которым я вошел в эту комнату. Усевшись в большое, глубокое кресло и предложив мне стул, старик улыбнулся и обратился ко мне:

— Вы, чай, несколько удивлены, найдя меня за таким занятием. Мы знаете, со старухой давно соблюдаем этот старинный обычай. Насекомое безобидное, а имеет все же влияние на судьбу человека: где оно водится, там деньги и счастье то же не переводятся. А умное насекомое таракан! Как 8 часов, так и собираются к нам в эту самую комнату, как по сигналу; наедятся, напьются, и на покой, и не видать их больше до следующего утра, не беспокоят... Что это такое вы ко мне принесли?—спросил Тропинин, увидя портрет, который я освободил от бумаги.

— А вот видите ли, Василий Андреевич,—ска-

зал я:—вот, по-моему, этот портрет вашей работы, а так как на нем ни надписи, ни монограммы я не нашел, то и решил побеспокоить вас раз'яснить мое предположение.

— Давайте, давайте, любопытно, — оживился старик:—я, кажется, из всех своих работах всегда ставил подпись или монограммы, -- в вдруг, пристально всмотревшись в картину, он воскликнул:

— Опять он ко мне пожаловал!

Я был крайне удивлен этим восклицанием и переспросил Василия Андреевича, его ли это работа.

— Нет, не моя,—сказал он:—но не знай я, как вы мне уже сказали, что на ней нет моей монограммы, я бы и сам этот портрет принял бы за свою работу, так отлично он здесь подкопирован.

— Так кто же писал эту копию?—спросил я.

— А это целая история.

И Тропинин, приняв удобную позу, начал посвящать меня в таинственное происхождение этого портрета, интересное потому, что и потом он был не раз принимаем за настоящий тропининский и даже кажется, и теперь сходит за него.

— В то время,—начал старик,—когда покойный наш поэт Александр Сергеевич приезжал к нам в Москву, он часто останавливался у Базилевского и подолгу у него гащивал; вот последний и обратился ко мне с просьбой написать портрет великого поэта. Долго не соглашался Александр Сергеевич

просидеть на натуре, не по его живому характеру было это испытание, но, наконец, он согласился, и я приступил к работе. Портрет писался в доме Базилевского, на Зубовском бульваре. В это же время у Базилевского жил его приятель, бывший сосед его по имению, в конце разорившийся и принятый им, как родной брат. Фамилии его я Вам не назову, он уже умер, да и человек то он был очень хороший, только безалаберный такой и если делал вред, так только самому себе. Человек он был образованный, начитанный и с большим дарованием копировать картины, чего достиг самоучкой. Вот эту копию он и начал делать с самого моего первого сеанса. Как только, бывало, я уйду, он и засядет повторить то, что я сделал, и так это он продолжал до самого конца моего оригинала. Поэтому то его копия и вышла так поразительно верна. Моя работа была доведена до половины, как вдруг Базилевский задумал поехать за границу, оставив Пушкина хозяйничать в своем доме. Базилевский очень любил этого копировщика, т.-е. своего-то приятеля, и часто, подтрунивая над ним, говорил:

— Какой ты художник, мазилка ты, никогда ты ничего хорошего не напишешь и вся цена то тебе грош.

Хотя все это говорилось и по дружески, но все же не могло не оставить следов на самолюбии талантливого рисовальщика, и вот он ожидал удоб-

ного случая выместить ему за нанесенные обиды его артистическому самолюбию. Случай этот скоро представился. Портрет мой был почти готов, и оставалась лишь отделка в платье и других аксессуарах, но Александру Сергеевичу понадобилось ехать в Петербург, и он уехал. Вдруг копировщик наш получает письмо из Парижа от Базилевского, что раз портрет уже окончен, то немедленно его переслать к нему. Закончив свою работу, я поставил в грунте, как обыкновенно делал, штильком по сырому две свои буквы „В. Т.“ и сдал портрет копировщику, но тот не отправил его в Париж, а послал туда свою копию, конечно, думая потом об'яснить свою шутку, да не судил ему, видно, господь исполнить это: холера, господствовавшая в тот год, скосила и его, так и унес он с собой эту тайну. Получает в Париже копию с моего портрета Базилевский, заказал для нее дорогую раму и выставил на парадном месте. Вся парижская знать перебывала у него и заговорили газеты о знаменитом портрете великого поэта, находя его бесподобным, и превозносили мое имя, как создавшего его.

Только много времени прошло с тех пор, и Базилевский все жил в Париже и не думал о возвращении на родину; но вот, наконец, он написал своему управляющему письмо, в котором требовал капитального ремонта дома, так как собирался на зиму домой. Во время этих работ вещи все выно-

сились из дому, и в комнате покойного копировщика был найден портрет Пушкина, писанный мною. По невежеству своему, дворецкий свалил все в одну кучу, а затем имущество покойного, за неимением на него претендентов, было расхищено и распродано домовою прислугой, а вместе с ним исчез и портрет. Наконец, возвратился из-за границы и Базилевский и поселился во вновь отделанном доме, и в его кабинете, на самом видном месте, в роскошной золоченой раме появился портрет, т.-е. копия моего портрета А. С. Пушкина, писанная тем самым копировщиком.

Стали собираться у Базилевского его приятели, а в числе их приехал раз и известный Фролов. Увидел он портрет поэта и воскликнул:

— А! И у тебя есть этот портрет?

— Как и у меня?—остолбенел Базилевский: мне нравится это „и“! Только он у меня и может быть, потому что Василий Андреевич Тропинин по моему заказу мне его и писал.

— Ну уж извини, мой друг,—заметил Фролов:—я на днях видел оригинал у Волкова в галерее, я сам видел и подпись „В. Т.“.

Стали они оба осматривать портрет, а подписи то и не разыскали. Базилевский побагровел от бешенства.

— Человек, лошадь!—закричал он и поехал сейчас же в магазин к Волкову, у которого и увидел

портрет Пушкина — ну, две капли воды с тем, что висел у него в кабинете. Волков знал Базилевского и доверил ему на некоторое время картину, а тот и явился ко мне с обоими портретами, да и говорит:

— Потрудитесь объяснить, Василий Андреевич, каким образом после того, что я вам заказал написать один портрет с Пушкина, их оказалось два и при том совершенно одинаковые.

Тут я, конечно, и объяснил ему, в чем дело, но не сразу все же отличил мой портрет от копии и, к счастью, что копировщик упустил только буквы поставить мои, а то вместо одного явилось бы два мои портрета, и я был бы в глупом положении так как безусловно не мог бы разобрать, который из них мой. Базилевский, конечно, купил эту картину у Волкова, а копию с него кому-то продал или подарил, не знаю, а затем она, вероятно и попала к вашей торговке. Этот портрет великолепен, — заметил старик, — и ничуть не хуже моего, — вы сделали прекрасное приобретение ¹¹⁹.

Поблагодарив Василия Андреевича, я отправился домой и, никому не говоря об этой истории, уложил картину вместе со своими дорожными вещами.

На следующий день заехал ко мне граф Владимир Александрович Соллогуб, и мы, в его прекрасном экипаже, увлекаемые четверкой сытых лошадей, покатали обратно в северную столицу.

Мы ехали с бóльшим комфортом, чем в маль-

постной каретке, и я положительно отдыхал во время этого пути. Проезжая через уездные города, я напомнил Владимиру Александровичу удачную характеристику, данную им русскому городу в своей повести „Тарантас“:

—Застава—забор—забор—кабак—забор—забор—управа—забор—забор—собор—забор—забор—кабак—забор—застава.

Разсуждая на разные темы, мы подъехали к старому Новгороду, а вскоре уже наш дормез въезжал в знакомые мне улицы родного Петербурга.

Мы распрощались с графом, и он взял с меня слово непременно по прежнему посещать его. Дорога сближает даже иногда совершенно чужих людей, неволью как-то познаешь друг друга, обмениваешься мыслями, откровенничаешь и очень скоро начинаешь понимать своего спутника. Вот и со мною по отношению к графу случилось то же самое. После этой поездки мы как-то особенно сблизились, сдружились, и я почувствовал потребность все чаще и чаще быть в его милом обществе.

ХII.

Художники Петровский и Стрелковский.—Портрет Подклюшников и сам оригинал.

Во время пребывания своего в Москве я близко сошелся с художником Петровским, не тем, что

нарисовал „Агарь в пустыне“, а давшим себя заметить хорошо написанным портретом с одного из своих товарищей, за который и получил звание свободного художника. Это был мой старый товарищ по Академии, а потому я был очень рад возобновить с ним прежнее знакомство. По происхождению своему он был малоросс, но собственно хохлацкого в нем ничего не было; он был большой неряха, но добрый весельчак и очень симпатичный. Первый раз встретился я с ним на самых верхах итальянской оперы, где он приходил, как говорится, в телячий восторг и до такой степени усердно вызывал ту или другую знаменитость, что отбил себе ладоши и надорвал голос, да так, что с тех пор начал хрипеть. Москву он знал превосходно и сопровождал меня во всех экскурсиях по ее окрестностям.

Кстати, скажу еще об одном художнике, с которым я познакомился и который написал с моего отца известный портрет. По происхождению он был поляк, родился в Москве и так обрусел, что польского в нем ничего не осталось. Он жил на Мясницкой, недалеко от Красных ворот, занимая небольшую квартирку в 2 комнаты с кухнею, в которых царили чистота и порядок, благодаря еще довольно молодой и красивой женщине, находившейся при нем в такой должности, которая у французов называется „pour tout faire“.

В Москве Стрелковский слыл за прекрасного

миниатюриста и славился своею скупостью; так, например, когда он садился играть в карты и когда ему приходилось расплачиваться, он каждый раз вынимал одну и ту же сторублевую ассигнацию, а так как ее большею частью трудно было разменять, то он так и уходил не расплатившись. Как мой отец, часто игравший с ним, так и другие всегда ему в этих случаях говорили: „Ну, уж оставим это до другого раза, какнибудь отыграетесь“. И он, действительно, отыгривался.

Через этих двух художников я познакомился с художником и одним из первых реставраторов, Николаем Ивановичем Подключниковым ¹²⁰, который представлял собою такой интересный тип бедного художника той эпохи, что я не могу обойти его молчанием, тем более, что его оригинальная фигура вызвала у меня желание написать с него портрет, за который Академия присудила мне звание свободного художника, без поданного мною прошения. Отец его был крепостной человек графа Шереметева, но да не будет это поставлено в осуждение, стоит только вспомнить, что знаменитый и даже маститый художник Василий Андреевич Тропинин был сам сначала крепостным, и это не мешало ему сделаться первоклассным художником.

Подключников был женат и жил со своим семейством в одном из домиков селения, окружающего Шереметевский дворец в Останкине, под Москвою,

и мы с Петровским попали туда в самый расцвет летней поры. В верхнем этаже небольшой избенки находились две маленькие комнатки для спальни и детской и в то же время мастерской художника, тут-то и жило семейство Подключникова, который радостно встретил нас. Наружность его можно было назвать вполне будничною; в полинялом, зеленоватом камлотовом сюртуке, без галстука, с откинутым от потной рубашки воротничком, с коротко остриженными темными волосами, с плохо выбритым подбородком с синим отливом и маленькими баками на щеках, какие носили при императоре Александре I, он, в довершение всего, ежеминутно указательным пальцем звучно вытирал свой большой нос и притом его маленькие глаза суетливо бегали и моргали под густыми нависшими бровями.

В руке своей Подключников держал палитру, а корявые его ноги были широко расставлены в стороны. Вся фигура его до колен ярко выделялась на белом фоне полотна, и вот в таком именно виде я его и изобразил в то же лето на моем рисунке, на котором он вышел у меня, „как живой“, по отзыву моего отца, заключению которого я не мог не верить. Это был, кроме того, необыкновенно подвижный человек. Он очень, повидимому, был рад нашему приходу и начал сейчас же суетиться, желая чем-нибудь нас угостить.

— Жена! — закричал он, и на этот крик в дверях

из боковой комнаты появилась еще не старая женщина небольшого роста, с лицом, усеянным веснушками.

— Чего тебе? — спросила она, поправляя свою жиденькую косу, но вдруг, увидав нас, моментально скрылась.

— Ну, куда ты провалилась? — продолжал Подключников. — Людей не видала, или боишься их прельстить своими прелестями в неглиже?

— Очень глупо! — слышался тот же голос из соседней комнаты. — Дай хоть прибраться-то немножко.

— Ну, и прибирайся, да только скорее, а я вот в лавочку сбегаю. Садитесь, господа, — обратился он к нам, а сам бросился вниз с лестницы. Я начал осматриваться и не вдруг мог разобраться в этой массе различных предметов, наполнявших убогую комнату. Более всего места занимали картины в рамах и без рам, и большая их часть была размещена по стенам и даже по потолку, другие были сдвинуты около стен. Тут были и пейзажи, и портреты, и сюжеты из Ветхого Завета, и в особенности выделялась известная картина, изображающая купающуюся Сусанну и двух нечестивых старцев, оригинальную тем, что на лице Сусанны совершенно не было заметно испуга, а, напротив того, она, как будто кокетничая, манила своими прелестными формами и роскошными волосами этих сладострастных, плешивых стариков.

Небольшой столик, покрытый ярославской скатертью с синими узорами, черный узенький шкаф, в котором хранилась кое-какая посуда, несколько полок с гипсами, темной бронзы подсвечник, стоявший на груде каких-то ящичков, две невычищенные палитры, стеклянные и жестяные банки различной величины с разного цвета вертикальными потоками краски, свернувшаяся в комок тряпка, повидимому, брошенная на них с размаху, искусственные цветы, до нельзя запыленные и загаженные мухами, составляли убранство комнаты.

В углу стояла табуретка с медным на ней тазом и остатком грязной воды, тут же виднелись в углу и удочки с перепутанной лесой. На полу валялись разные игрушки и стоял безобразный картонный конек с выдернутым из него хвостом и стертыми ушами.

Наконец, вошла и сама Подключникова, улыбаясь нам извиняющейся улыбкой.

Мы уселись, и у нас завязался самый обыденный разговор, который вскоре перешел на весьма тяжелую тему. Мы со вниманием слушали хозяйку, которая с наболевшей душой жаловалась нам на горькую судьбу свою, но жаловалась как-то безропотно, не обвиняя никого в своем несчастье,

Еще за молодого ученика Академии вышла она замуж по любви, по необъяснимому самой себе уважению к его профессии, и вот с первого же дня

их семейной жизни она стала лицом к лицу с нуждою, серою, обыденною обстановкой самого будничного прозябания. Беременность, рождение детей, постоянные болезни, возня с ребятишками, вечный недостаток и заботы о пропитании 4 желудка сливались в один какой-то ужасный кошмар, а индифферентное отношение ко всему этому Подключникова, занимавшегося только одним своим делом, довершало тяжесть ее положения. А тут еще нравственно страдала она, убедившись в неверности своего мужа.

— Какое мне гулянье, — отвечала бедная женщина на мой вопрос: — целый день вожусь с детьми да с хозяйством, вечером ног под собой не слышу. Вы ведь знаете Николая Ивановича, знаете, что он только и признает свои картины, да вот еще какую то натурщицу завел, — грустно сказала она, голосом уже примирившейся с этим событием. — Просто с улицы какую-то взял, — и она отвернулась, и я уловил две слезинки, блеснувшие на ее ресницах. — Уж хоть бы скрывал, — продолжала она, — а то ведь вот здесь, на самых глазах-то... Вот тоже с дьяконом дружбу завел, да что из этой дружбы путного выйдет — пьянство одно, да и только.

Мне от души жалко было бедную женщину, и я хотел ее утешить, но в этот момент возвратился Подключников. На столе появилась сороковка, кусок колбасы и краюха хлеба. И Подключников на-



П. А. Федотов.

чал нас потчевать, весело приговаривая и подмигивая перед каждой рюмкой этого „бесовского зелья“, как он выражался.

Я не пил и ходил взад и вперед по комнате. Подойдя близко к двери, ведущей в кухню, я заглянул туда. Около плиты стоял самовар, над которым, бросая в него щепочки от разобранной корзинки, стояла Подключникова. Слезы катились по ее бледным щекам, и она время от времени вытирала их концом своего пожелтевшего и выцветшего платка. У меня защемило сердце, и я невольно перевел взгляд на полотно, на котором рельефно выделялась роскошная фигура натурщицы... Будучи не в силах больше оставаться в этой тяжелой атмосфере, я, под предлогом желания пройтись, направился вон из дому Подключникова, обещаясь зайти за Петровским. Тяжелая дума овладела мною, и я долго гулял среди липовых аллей роскошной роши, а когда вернулся обратно, то Петровского уже не было—он уехал, не дождавшись меня.

XIII.

Я превращаюсь в чиновника.—Реставрация Мраморного дворца.—Дядя А. П. Брюллов.—Рассказ Делярю.—Окончание реставрации дворца.—Успехи моих картин.—Катастрофа А. П. Брюллова.—У барона П. К. Клодта.—Его звериная прислуга.—Визит к Ф. П. Брюллову.

После академической выставки, на которой мой портрет Подключникова удостоился премии, я по-

лучил звание свободного художника по портретной живописи. Этим, увы! я окончил курс Академии, так как после этого уже не мог представить программы для получения золотой медали. Видя в этом недоброжелательство, преследовавшее меня со стороны моего почтенного дядюшки, я все же был доволен, так как от совета института был сделан запрос о том, какой я имею чин, и я вскоре был произведен в губернские секретари. Явился в сенат, где священник торжественно привел меня к присяге, и вот в России стало одним секретарем больше. Да, теперь гр. Соллогуб не мог уже меня называть „одним из немногих свободных людей в России“, как он любил представлять меня с этим званием своим знакомым, я потерял это звание и сделался секретарем.

Но вместе с секретарским званием на меня посыпалась благодать, как бы в награду за мои успехи в государственной службе.

Как раз в это время возобновлялся долго пустовавший Мраморный дворец, отделывавшийся для великого князя Константина Николаевича, и реставрация его была поручена моему дядюшке, Александру Павловичу Брюллову. Каким-то чудом вспомнил обо мне этот знаменитый архитектор, призвал меня к себе и с некоторыми оговорками, не совсем лестными для моего самолюбия, передал мне заказ нескольких картин-панно для гостиной великой кня-

гини Александры Иосифовны. Гостиная эта должна была носить название „золотой комнаты“, потому что вся она с портретами, мебелью, бронзою и даже обоями, которые были украшены золотыми разводами по светло-палевому фону, должна была производить впечатление золотой. Мне пришлось написать две картины в стенах и пять небольших в плафоне в стиле Людовика XV, т.-е. группы фигур с веселыми пейзажами—то, что у французов называется „pastorale“. Для мастерской и моего жительства мне было отведено помещение в самом дворце, находившееся в нижнем этаже его, где я и занял две комнаты, в которых расположился, как полный хозяин. Скомпановав все семь сюжетов, я их представил дядюшке, и тот вскоре объявил мне, что они вполне одобрены комиссией.

Работаю я себе во втором этаже, как вдруг мне докладывают что внизу меня спрашивает какой-то господин. Спускаюсь вниз, гляжу—Делярю. Лицо бледное, взволнован чем-то.

— Что такое?—спрашиваю.

— Ах, и не говорите, это просто ужас что такое! Ведь вас все время не было в Петербурге, а в это время здесь произошла прискорбная для нас обоих катастрофа, которой я вчера был свидетелем.

— Что такое? говорите скорее,—с волнением перебил его я.

— Да вот—вчера рано утром я был на Семенов-

ском плацу свидетелем такой сцены, которая потрясла глубоко мою душу. В числе прочих, нашего милого Сергея Федоровича Дурова и Пальма привезли туда связанными и приговоренными к расстрелу. Я видел, как какие-то люди развязывали им руки и поставили на приготовленные для них места, затем был прочитан и приговор, который я очень плохо расслышал. Солдаты Семеновского полка находились в полной готовности и ждали только команды, чтобы выпустить свои пули в эти буйные головы. Я следил за нашими друзьями, они были мертвенно-бледны, но не выражали и признака малодушия, в особенности Сергей Федорович Дуров—он мрачно смотрел на толпу, как бы отыскивая кого-то в ней, и вот мне показалось, что наши глаза встретились. Я мысленно прощался с ним, слезы давили мне горло, а самого трясло, как в лихорадке. На других я и внимания не обращал, вперив свой взор в Дурова и Пальма. Кончилось чтение—все стихло, каждый шелест был слышен на площади, несмотря на огромное стечение народа. Петрашевского с завязанными глазами подвели к столбу, а до этого над головами почти всех приговоренных к казни ломали шпаги в знак лишения дворянского достоинства. Потрясающая это была картина! Вдруг, когда я ждал, что грянут выстрелы, после команды, произнесенной офицером, объявляется высочайший манифест о помиловании. Знаете, Павел Петрович,

я не поверил своим ушам, я думал, что лишился рассудка, вот до какой степени это было неожиданно. Но в чем это помилование заключалось? В замене смертной казни каторжными работами. Одно другого не легче. Петрашевского так прямо оттуда и увезли в Сибирь. А каков он молодец-то! Бодрее всех держал себя, гордо так, бесстрашно и непринужденно. Силища-то какая нравственная! Не дай бог никому пережить такие минуты испытания, каждая из них стоит лютой казни,—закончил Делярю, и я вспомнил его слова, сказанные при моем первом визите к нему: „договорятся до синих мундиров“.

Я был в отчаянии.

— Да что вы говорите, не может этого быть,— как неверующий Фома, говорил я: — ведь это же ужасно! Надеюсь, что мы хоть повидаемся с ними.

— Нет,—отвечал Делярю,—этого Вам не удастся, я уже пробовал, но мои хлопоты не увенчались успехом, да и, наконец, зачем же вам подвергать себя опасности и, главное дело, без всякой в том нужды. наших друзей нет—они погибли. Одно осталось утешение, что они могут попасть под манифест какой-нибудь.

Это известие меня страшно поразило, от волнения мне стало душно под сводами дворца, и я просил Делярю пройти со мной в Летний сад, находившийся в двух шагах от нас. Войдя под тень

огромных деревьев Летнего сада, мы уселись на скамейке, и я задумался.

— Знаете что, Павел Петрович, — вывел меня из задумчивости Делярю: — дело, за которое они взялись, такое хорошее, чистое, можно сказать святое, что так наказывать за него слишком жестоко. Пожурить их, образумить, внушить, конечно, следовало бы, не за свое, мол, взялись, но не казнить же. То-то и есть, что у нас сейчас найдутся горячие распорядители, желающие доказать свою ретивость и благонадежность и заслужить за это ордена и другие награды, а сами ни на что более не способные, как „схватить“, „держать“ и „не пущать“. наших безумцев я не хвалю, напротив, ругаю, ругал и буду ругать, но не сочувствовать им — не могу.

Но Делярю не ограничился только этим печальным известием, он сообщил мне также, что наш добрый и любимый приятель Алексей Федорович Чернецов довольно продолжительное время хворает. Немедленно же я отправился навестить нашего общего друга и к тому же любимца бедного Дурова, и застал милого Алексея Федоровича очень плохим. Лежал он почти без движения и едва мог говорить. Он был очень рад меня видеть, но мне было тяжело и бесполезно у него оставаться, и я, совершенно расстроенный, вернулся домой.

Работа моя во дворце двигалась шибко и, казалось, шла с большим успехом. Для расписания

потолка в столовой был приглашен из-за границы один старый немец, работавший в двойных очках и писавший необыкновенно тщательно, выводя все детали; но, повидимому, он не умел рассчитывать на расстояние, потому что, когда стояли еще леса и когда его медальоны, изображавшие четыре ветра, можно было видеть вблизи, то нельзя было не любоваться их красотью, но когда леса были сняты и на них можно было смотреть только с пола, то весь эффект, на который рассчитывал художник, пропадал, все сливалось в какие-то неопределенного цвета блины.

Я принял к сведению это обстоятельство и старался уже в подкладке дать всю силу красок, скрадывая контуры мягкими полутонами. В двух же больших картинах над дверями, на которых преобладал пейзаж, для того, чтобы не было однообразного зеленого цвета в тех местах, где был закат солнца, я пустил доминирующий розовато-красный тон, а в другой, изображавшей летнее утро, пустил больше белил и то, что называется французами „gris de perle“. Когда их увидел дядя Александр Павлович, то усомнился при виде смелого, решительного мазка и сказал:

— Смотри, брат, ты, кажется, написал какие-то декорации.—Но я потребовал, чтобы картины мои были поставлены на свои места и вышло то, что сам Александр Павлович Брюллов пришел в восторг

от эффекта, произведенного ими с расстояния, на которое я верно рассчитал. Они имели вид как бы писанных на фарфоре: свет силен, а тона мягкие. Дядя был так доволен, что не велел их больше трогать: „а то еще запишешь“, сказал он, обнял меня одной рукой за талию и повел показывать только что отделанную турецкую комнату, сплошь обшитую турецкими шаями, орнаментами из воска и с фонтаном посредине.

Но что более всего мне понравилось в этом дворце, так это большой мраморный зал; он остался почти нетронутым реставрацией, в особенности те куски, которые украшали стены в амбразурах окон, очень глубоких. Таких пород мрамора я никогда и нигде не видел, нежность красок и рисунок разводов на них были прелестные ¹²¹.

Из этих окон как раз видна боковая постройка со службами, в фасаде которой на эту сторону по всей линии его, в виде аттики, тянется сплошной лентой прелестный барельеф с лошадьми барона П. К. Клодта.

После моей вторичной поездки в Москву, о которой я буду говорить позднее, я снова приступил к работам в Мраморном дворце, которые уже близились к концу. Новое здание придворных служб только задержало окончание работ, так как, собственно, дворец мог быть окончен к началу навигации. Я поставил уже свои более мелкие фрагменты

в потолке и ожидал окончания некоторых работ для того, чтобы поставить большие. В это время дядюшка Александр Павлович ко мне не заходил. Он находился в большом волнении, так как у него было не все в порядке относительно отчетностей по расходованию отпущенных сумм на эти работы. Собственно, об этом я узнал гораздо позднее, но все же не мог не заметить некоторого волнения его при посещении им работ. Он как-то даже переменялся, стал задумчивее, короче сказать, так и сквозило, что тут творится что-то неладное. Из товарищей ко мне никто не заходил, кроме Алексея Агина, который с любопытством и удовольствием осматривал дворец. Прочим же, конечно, не были интересны мои пастухи и пастушки. Между тем, и мне эта скучная работа до крайности надоела, и я с нетерпением ожидал ее конца; работы усиленно продолжались, тем более что императрица пожелала видеть дворец поскорее оконченным. Наконец, работы были закончены, и дядя Александр Павлович готовился представить дворец государыне императрице.

Государь, при посещении своем дворца, в общем, был очень доволен работами и благодарил дядюшку за прекрасное их выполнение. Однако, в очень скором времени мне окончательно сделались понятны причины волнения моего дяди. Ревизионная комиссия по реставрации Мраморного дворца обнаружила возмутительные растраты и злоупотребления, и, как

я слышал, государь был очень недоволен этим обстоятельством, и порученная уже дяде моему работа по реставрации эрмитажного отделения Зимнего дворца была у него немедленно отобрана, что произвело довольно сильный скандал, а я должен был лишиться имевшейся уже у меня в виду работы. Дядюшка же, плут, заперся в своем кабинете и безвыходно просиживал там, делая вид, что страстно погрузился в изучение высшей математики. Так из этой темной истории сумел выйти этот ловкий и гениальный человек.

Работы в Мраморном дворце и целый ряд других событий не давали возможности поддерживать постоянную связь с моею роднею и я давно не был в доме моего дяди Федора Павловича Брюлова и не видал кузин. Одна из них, Адель, уже вышла замуж за архитектора Федора Семеновича Завьялова, моего большого приятеля, который получил назначение преподавателем в Юшковскую школу в Москве и вскоре должен был туда отправиться. И вот в одно из воскресений я отправился в дом Брюлловых, кроме того, мне было необходимо заехать к моему генералу, как я называл дядю Александра Павловича, а также навестить милого барона Петра Карловича Клодта ¹²², которого я давно не видел; меня к тому же очень интересовала его литейная мастерская, о которой я столько слышал, да и к России хотелось забежать, вспомнить

старину моей академической жизни. К моему великому огорчению, я Росси не застал и направился к барону Клодту. Со двора был вход прямо в литейное отделение, но по случаю праздника там никаких работ не было, зато широкая деревянная дверь, обитая рогожею и дранью, когда я до нее дотронулся, сейчас же отворилась и я вошел в огромный отдел с двумя ярусами окон, выходивших на улицу и во двор, имевший довольно внушительный вид. Он напоминал мне первую картину балета „Сильфиды“, т.-е. огромный шотландский шалие, вмещавший в себе массу кордебалета и так же, как на сцене, здесь была видна с правой стороны легкая деревянная лестница, устроенная около стены, со входом в верхний этаж. Но кругом не было ни души, и на мой громкий призыв кого-либо из служащих я не получал никакого отклика. Вдруг около огромной будки что-то зашевелилось и мне показалось, что это, вероятно, проснулся заспавшийся дворник, хвативший ради воскресного дня изрядную порцию хмельного. Я сделал по направлению к будке несколько шагов и остановился, как вкопанный; если бы кто-нибудь случайно увидел меня в этот момент, то, наверно, принял бы за рядового, вытянувшегося перед внезапно появившимся начальником.

Так я стоял в неопisanном ужасе перед появившемся вдруг огромным мохнатым медведем. Да, да, Михаил Иванович Топтыгин, живой, настоящий,

собственной своей персоной флегматически уставил на меня свои маленькие желтые глазки. Впрочем, испуг мой был не очень продолжителен, так как во взгляде Михаила Ивановича, как и в его позе, не было заметно ничего враждебного, да, кроме того, когда я его рассмотрел уже с большим спокойствием, то увидел, что он находится на довольно толстой цепи. Я так обрадовался этому открытию, что страх мой моментально куда-то исчез, и на меня нашло необъяснимое желание непременно подурачиться. Приподняв свой котелок и расшаркиваясь, как это делают обыкновенно молодые чиновники перед его превосходительством, все же в почтительном расстоянии, обогнул Михаила Ивановича и добрался до лестницы, по которой должен был подняться в квартиру барона Клодта, находившуюся во втором этаже. Лестница кончалась площадкой, плотно прилегавшей к стене. Продолжая раскланиваться с Топтыгиным, который недоумевающе смотрел на меня, попрежнему, флегматическими глазами, я поднялся на пятую ступеньку и занес уже ногу на шестую, да так и застыл в этой позе. Передо мной не лежал, а сидел без всякой привязи, раздвинув широко передние лапы, большой серый волк, совершенно такой, что в известной сказке носил на себе по лесам и дебрям Ивана-царевича. С Иваном-царевичем во мне не было положительно никакого сходства и я не имел при себе не только

волшебного, но и никакого перстня. Душа моя с невероятной быстротой спустилась в пятки, но сам я мог только позавидовать ее быстрому бегу,—ноги мои как бы приросли к деревянной лестнице и пустили в нее корни, и я не мог шевельнуться ни одним суставом моих членов. Между тем, волк смотрел, приподняв свои остроконечные уши. Глаза его как-то дико горели и недвижно были устремлены на меня. Время от времени он разевал свою пасть и высывал язык, как это делают собаки, когда их хозяин приготовляет для них лакомое кушанье. Мне казалось, что это он предвкушал довольно сытный завтрак, состоящий из молодого художника. Философы не скептики утверждают, что в мире все делается к лучшему. Так должен подумать и я, вспоминая эту критическую минуту: что, если бы я обрел свободу движений и под влиянием страха ринулся бы от волка вниз. Нет ни малейшего сомнения, что он очутился бы у меня на плечах. Но крайний страх, как я это испытал в ту минуту, превращается в отчаянную храбрость, и я, вместо того, чтобы бежать, вдруг, не отдавая себе отчета, стал подыматься по ступенькам, лестницы навстречу моему противнику. Сердце мое билось с невероятною силою и мне казалось, что вот-вот оно должно разорваться. Крикнуть я уже не решался, а как на зло кругом не было ни одной живой души, кроме Михаила Ивановича, изредка побрякивавшего цепью, как бы

напоминая мне, что, мол, „и я ведь здесь“. Но тут вдруг совершилось чудо, которому на этот раз я уже не мог не поверить: волк, с ловкостью и вежливостью отлично выдрессированного лакея, отодвинул свои ноги и убрал морду, чтобы дать мне пройти. Мне оставалось еще, пройдя площадку, сделать несколько ступенек до двери в квартиру барона, и я этих ступеней никогда не забуду. Все время я чувствовал за собою ужасного лакея и ждал, что вот-вот он вцепится в меня своими огромными зубищами, но взглянуть назад я боялся и впопыхах чуть не упал на дверь, схватился за медную ручку ее и нервно дернул ее к себе.

Дверь отворилась, я бросился в комнату и быстро захлопнул ее за собой. Холодный пот выступил у меня на лице—но я был спасен. Однако, испытаниям моим, очевидно, еще не пришел конец. Не успел я прийти в себя, как услышал страшное шипение и какие-то дикие звуки, раздавшиеся с противоположного конца комнаты; я с ужасом огляделся и увидел злобную бледную рожу, с довольно большими баками и тесно сдвинутыми, маленькими, совершенно круглыми глазами; рот этого чудовища был полуоткрыт и обнаружил ряд ярких зубов. Это была обезьяна, державшаяся за протянутую выше нее проволоку и выделявавшая задними ногами какие то изумительные антраша. Но вот дверь из соседней комнаты отворилась, и я, к своей великой радости, увидел

входящего Петра Карловича барона Клодта, обладателя этих ужасных чертогов.

— Бога вы не боитесь, Петр Карлович! — воскликнул я, — от души рад, что, наконец, нашел избавителя!

— А что такое с вами случилось? — спросил он меня, улыбаясь; и мне было досадно, что этот добрый, чуткий человек улыбался в такую для меня тяжелую минуту.

— Да, как же, — сказал я: — что это вы за прислугу развели тут внизу? Вместо швейцара — медведь, а лакея на лестнице заменяет огромный волк.

— Ах, это Мишка-то, ведь он на цепи.

— Ну, хорошо, тот на цепи, а этот лакей-то ваш серый, ведь он совсем без привязи.

— А этот только видом страшен, он у меня очень благовоспитанный, — отвечал барон, — и напрасно вы пренебрегаете познакомиться с ним, — он презабавный, — прибавил он, пожимая мне руку.

— Очень вам благодарен за такое лестное знакомство с подобными джентльменами, — сказал я раскланиваясь.

— Ведь он вас не тронул, — заметил барон.

— Не тронул! — вскричал я: — он, если хотите, даже меня растрогал; я теперь не знаю, где у меня душа: знаю, что очень недавно она была у меня в пятках.

Петр Карлович громко расхохотался и, обхватив

меня за спину одной рукой, ввел в свой кабинет и стал расспрашивать.

— Разве вы там внизу никого не нашли?—спросил он.

— По крайней мере, с человеческим образом — никого, — ответил я. — А эта ваша прислуга нельзя сказать, чтобы располагала особенно обращаться к ней с вопросами. Уж одни зубки вашего лакея чего стоят.

— Ах да!—сказал барон:—ведь сегодня праздник, у меня не работают, а сторож по обыкновению пьян. Ведь вы, вероятно, знаете, что я делаю памятник И. А. Крылову, так в пьедестале будут находиться звери из басен его. Вот я и набрал себе этих натурщиков. А обезьяну видели?—спросил он.

— Как же, она на меня успела зашипеть.

— Да, она у меня презлая. Пойдемте-ка лучше к моим, у нас сегодня пирог. Хотите пирога?—спросил он.

— Хочу, — сказал я, — только дайте, Петр Карлович, сначала стакан холодной воды.

Барон Клодт бросился к стоящему на окне графину, налил стакан и подал его мне.

— Эх, ведь как зверье мое вас взбудоражило, — говорил он, наблюдая за тем, как я жадно глотал холодную воду и как стучали мои зубы о стекло стакана.

— Знаете, когда я вас увидел, вы показались



В. В. Самойлов.

мне похожим на Бертрама, когда он только что выскочил из пещеры, при громе цепей и адском хохоте. Лицо у вас было что-то уж чересчур бело. А куда вы девали свою бороду и усы? Зачем вы сбрили их? Знаете, я вас еле узнал, — вдруг сказал он.

— Эх, не говорите, Петр Карлович, это мое больное место. Ведь я уж больше не свободный художник, а губернский секретарь, служу в Николаевском институте и мне по штату ни бороды, ни усов не положено.

— Да, да, — сказал он: — вольнодумство внушает. А кстати вы слышали, как великая княгиня, президент-то наш, отдала Иванова за бороду, когда он приехал из Италии, где тридцать лет писал свою картину, и она в поощрение не нашла более ничего для приветствий, как кисло посмотреть на его бороду, расчесанную лопатой, пожала плечами и сказала: „Что это вы бороду-то не сбрили, разве так являются?“

— Ну, пойдем пирог есть, — сказал он и мы пошли в столовую, где находилась часть его семейства, сидевшая вокруг стола. Надо заметить, что у барона Клодта было такое громадное количество тетушек, бабушек, племянников и племянниц, что все эти родственники не могли бы поместиться в двух таких столовых, а потому они разделились на группы и по очереди пользовались гостеприим-

ством доброго Петра Карловича. Жена его, баронесса, была очень простая и весьма гостеприимная женщина, она ласково пригласила меня к столу и я, взяв стул, сел подле маленького Миши, сына барона, тогда еще мальчика, а впоследствии очень известного живописца и творца многих весьма художественных произведений¹²³. Надо заметить, что мне никогда не приходилось встречать более дружественного семейства, каким было семейство барона Клодта; его нежные отношения к жене и к детям были поразительны, и, вообще, мягкий по натуре человек, в семейном кругу своем он был настоящим ангелом. Когда Петр Карлович был принужден поехать за границу по делам своей специальности, где, в особенности в Германии, встретил необыкновенный почет и внимание со стороны двора, он поистине страдал, чувствуя себя оторванным от родной атмосферы собственной семьи и жаловался на это в своих письмах дяде моему Александру Павловичу Брюллову, с которым был в приятельских отношениях. Он, между прочим, писал ему, что „ни ласка, ни уважение талантливых лучших художников, ни обеды у короля и принцев не могли заменить ему ласки жены и детей“. Он с удовольствием смотрел на чужой стороне на каждого ребенка и отыскивал в нем сходство со своими. „Лучшие яства и вина я променял бы на черный хлеб и квас, лишь бы очутиться опять скорее в России“. Да,

Петр Карлович Клодт представлял собою пример нравственности идеального семьянина, а о таланте его нечего и говорить—это был гений, оставивший по себе бессмертную память своими произведениями. В. А. Жуковский его иначе не называл, как „Клодт Фидиасович“. Петр Карлович был в дружеских отношениях с моим отцом, меня знал с малолетства и относился ко мне, как к сыну. Он подробно меня расспрашивал о Москве, о работах постройки храма Спасителя, которые его в особенности интересовали, так как он собирался на довольно продолжительное время туда для исполнения заказов по постройке этого храма. Весело болтая, мы после вкусного пирога всей семьей пили кофе. Вышел я от Петра Карловича уже другим ходом, он меня провел прямо на 5-ю линию, так что я больше не встречался с его зверьем.

Выйдя из дома, я направился пешком к Среднему проспекту, где жил дядя Федор Павлович.

Его я застал хандрящего в кабинете, он лежал на диване, закрытый серым пледом, и жаловался на простуду; он с любопытством расспрашивал меня про Москву и настоял, чтобы я остался обедать. Дядя рассказывал мне также и местные новости о работах по постройке ныне Николаевской железной дороги и моста через Неву, которые вот-вот должны были начаться¹²⁴. У Исаакия работы подвигались живее—видно было, что комиссию подгоняли.

Государь был в Москве и остался также очень недоволен бездеятельностью тамошней комиссии и тоже подтянул ее. Словом, всюду дело закипело.

Между тем, готовилась Крымская кампания, ходили тревожные слухи о каких-то неприязненных отношениях между Наполеоном III и нашим государем. Положительного из обыкновенных смертных никто не знал, потому что никогда еще в газетах не было столько вранья, как в то время, особенно же в области политики. Одним словом, на горизонте уже показалась черная туча, зловеще висевшая над Россией, а внутренняя жизнь государства текла своим обычным, ровным потоком.

Директор театров Сабуров, узнав об успехе моих работ в Мраморном дворце, обратился ко мне с заказом; он тогда отстраивал себе дом и ему были необходимы два исторические сюжета. Принимал он меня очень любезно, и я часто завтракал в его обществе и не могу сказать, чтобы оно было не интересным. Из работ по душе и собственному выбору я начал компановать из Пушкина сцену „Мозарт и Сальери“.

В это время Анненков¹²⁵ приступал к коллекционированию своего издания¹²⁶ и, встретившись со мною, выразил желание поместить в него некоторые из моих рисунков. Я побывал у него и мы долго толковали насчет самого издания, для которого предстояли огромные издержки, Публика того

Времени ещё не привыкла к дорогим изданиям, и издатели всегда становились в весьма тяжелые рамки издать изящную вещь, но дешево. Гравюры стоили дорого, а вкус среди большей части интеллигентного общества был очень развит на хорошие художественные произведения. Мы решили разделить рисунки на два издания. Тем же временем я работал в „Иллюстрации“ на злобы дня, а также делал виньетки и жанры. Работал я много в виду того, что приближались праздники и мне по некоторым обстоятельствам необходимо было ехать в Москву, и вот для этой поездки я и наколачивал деньгу. Однажды, во время моего урока у графини Софии Михайловны вошел граф Владимир Александрович Соллогуб и, поздоровавшись со мной, сказал — А ведь я опять скоро в Москву еду, на праздниках вы не заняты и я вас охотно туда повезу—едем, не так ли?

Я очень обрадовался такому предложению графа: во-первых, мне необходимо было ехать все равно, а во-вторых, ехать с ним было для меня истинным удовольствием. Я от души поблагодарил его и вот, через неделю, снабженные целым ворохом съестных припасов, заготовленных нам заботливою графинею, мы уселись в удобный закрытый возок и убаюкиваемые мерным его покачиванием из стороны в сторону, быстро покатались по ровному укатанному санному пути. Колокольчик мерно выбивал свою

однообразную песню, а снаружи доносилось время от времени покрякивание ямщика на своих довольно ретивых лошадей.

XIV.

Опять в Москве.—Встреча с И. И. Панаевым и В. П. Боткиным.—Московские спириты.

Итак, я опять в Москве, в кругу своей родной семьи, опять отдыхаю душой и телом. На другой же день моего приезда меня, как говорится, угостили русской оперой, которая была здесь украшена свежими голосами, но состояла не из одних русских, положим, тут были и чехи, и малороссы, но все славянского племени. Тенор был Владиславлев, который славился своей игрой и сильным голосом; но в Москве все только и говорили об итальянской опере и ждали итальянцев к Великому посту. На следующее утро я зашел в Варваринскую гостиницу, где остановился граф В. А. Соллогуб, мне ужасно хотелось повидать его. У Владимира Александровича я застал Ивана Ивановича Панаева и Василия Петровича Боткина ¹²⁷, того самого, что в скором времени написал и напечатал свои „Письма об Испании“. Боткин высматривал сонливо и говорил мало, зато Панаев находился в каком-то возбужденном состоянии, был мил и остроумен. Он рассказывал про какой-то московский вечер, на ко-

тором он недавно был, и презабавно обрисовывал тогдашние типы среднего светского круга, в котором уже появилась мания столоверчения и вообще увлечение спиритизмом.

— Пожалуйте,—говорил он:—куда ни придешь—езде столы, столики и столищи стучат, двигаются и даже пишут. Я давно привык слышать выражение, когда хотят определить степень глупости кого-нибудь, то обыкновенно говорят: „Он глуп, как этот стол“. И вдруг этот стол пишет и даже говорит этим же самым умным людям, которые делают подобные сравнения. В особенности дамы этого круга,—продолжал он,—старались убедить меня во всевозможных чудесах, выделяемых столами, и положительно я опасался им противоречить, так как энтузиазм, с которым они защищали силу духов, доходил до своего апогея.

Юм,¹²⁸ впрочем, уже и в Петербурге разводил свои кружки, а оттуда они очень быстро перешли в московское интеллигентное общество. Все это происходило от праздности, говорил Панаев, а вовсе не от увлечения, интересными и непонятными явлениями.

И, действительно, праздность эта принимала колоссальные размеры. Так, например, она доходила до того, что даже в более или менее интеллигентных кругах тогдашнего общества не только молодежь, но и зрелые люди занимались пусканием мыльных

пузырей, находя в этом занятии себе достаточное развлечение. Входя в какую-нибудь гостиную, вы непременно замечали на самом виду приготовленную с мыльной водой чашку, над которой и молодые дамы, и старики, и юноши, вооруженные небольшими соломенными трубочками, захватывали немного мыла и пускали вверх довольно красивые мыльные пузыри, которые взлетали вверх, лопались при общем веселом смехе этой забавляющейся компании, напоминавшей собой толпу резвящихся детей. И эта глупая мода процарствовала в продолжении целого года, но потом от нее как-то отстали.

В зимнем своем уборе Москва мне еще больше понравилась, день был морозный и солнечный, дорога, оконные стекла домов, все сверкало и искрилось как-то особенно радостно и приветливо. Встречные сани и другие экипажи быстро мелькали мимо, обдавая меня снежною пылью. Пешеходы шли торопливо и весело поглядывали из-за своих приподнятых меховых воротников. Словом, вся Москва выглядела в ту пору совсем русским городом.

XV.

Храм Спасителя. — Рязанцев. — Княжна Мария Волконская. — Встреча и знакомство с Ивановыми. — Мое сватовство. — Оригинальные балаганы — А. В. Киреева.

Одно, что томило меня во время моего пребывания в Москве, это то, что я не осмотрел еще, как

следует, работы по постройке храма Спасителя, этого колоссального сооружения той эпохи. Я отправился к этой замкнутой крепости квартала, где шли работы, и едва добился, чтобы меня впустили в калитку. Только имена Каминского ¹²⁹ и Рязанцева ¹³⁰ послужили мне лозунгом и дали возможность осмотреть этот строящийся храм. Сторож провел меня по мосткам в один из домиков, нарочно построенный для жилья служащих при строительной комиссии, и я наконец вошел в квартиру, занимаемую Рязанцевым; убранство его помещения мне напоминало те же мастерские, в которых мы с ним в первый раз сошлись во флигеле Академии; те же доски, те же плиты, детальные чертежи, гипсы, и антаблементы, табуреты, столы и скамейки наполняли эту мастерскую архитектора. Рязанцев разговаривал с десятником, когда я к нему вошел; он был очень, повидимому, рад моему приходу, но просил меня подождать, пока он не кончит с мужиком.

— Ну, теперь, Павел Петрович, отправимтесь на работы, — сказал он: — но, предупреждаю вас, многого вы не увидите, так как леса еще нигде не сняты, но за то кое-что из мозаики уже готово; вам будет интересно ее посмотреть.

Мы пошли опять по мосткам и, подойдя к собору, спустились в какие-то подвалы под огромные сооруженные леса. Передо мною тянулись вверх толстейшие мачтовые колонны, к которым помощью

толстого железа прикреплялись также солидных размеров поперечники, поддерживавшие площадки и лестницы.

Пройдя несколько отделений сводов, мы наконец попали во внутренность храма и стали подниматься до цоколя; тут Рязанцев обратил мое внимание на стены, по которым как бы были натянуты роскошные ковры из разноцветных камней весьма изящного рисунка и такого разнообразия пятен и контуров, что я, хотя и рисовальщик, не вдруг мог разобраться в их деталях. Это было, действительно, верх совершенства мозаичной кладки, которая и могла лишь возникнуть только благодаря таким силам, какими были строители собора. Когда мы вошли на середину постройки, то я почувствовал себя, как бы в самой чаще девственных лесов. Пробираясь среди этих огромных деревянных колонн, мы наконец вышли наверх и я увидел замечательные барельефы, недавно поставленные Пименовым и Рязанцевым, последний я уже видел оканчивавшимся в его мастерской Юшковской школы.

После подробного осмотра всего храма, я вынес о нем впечатление довольно своеобразное. Нечего говорить про те богатства творчества и драгоценностей, которыми он изобиловал, но этот великолепный собор как-то не гармонировал с своим назначением; он был чересчур испещрен гениальной рукою человека, не было в нем той смиренной про-

стоты, которая встречается почти во всех, даже самых великолепных храмах, что-то черезчур крикливое, музейное было в нем, но не русское, не подходящее под стиль нашей русской церкви, зато над каждым уголком, над каждым портиком этого роскошного строения можно было часами стоять и любоваться им.

Теперь мне пора перейти к тому периоду моей жизни, который положил начало новому ее фазису и вскоре должен был дать ей общее почти всем людям направление. Я хочу сказать про тот счастливый период, когда мое сердце впервые загорелось чистой искренней любовью к девушке и наметило ее в постоянные спутницы в жизни.

Еще в прошлую зиму я бывал довольно часто на балах в Дворянском собрании и умением своим танцевать снискал внимание дам; часто я танцевал с прелестною брюнеткой княжною Мариєю Волконской, которая меня постоянно выбирала в котильонах.

Я по уши влюбился в эту очаровательную девушку. Я не мог составлять для нее партии, это прекрасно сознавал и сам. Она была аристократка, знатного рода, очень богата и избалована, а я всего начинающий свою карьеру молодой художник, только еще подающий надежды... Я видел, и не мог этого не видеть, что княжна была влюблена в меня и энергично решил наконец порвать

все сразу — вот тогда-то в первый раз и уехал в Москву в знаменитой мальпостной каретке. Не скажу, чтобы это дешево обошлось мне нравственно; я долго не мог забыть милую княжну, но молодость и увлечение взяли свое. Постепенно ее чудный образ бледнел в моем воображении, а в моем сердце ее заменила другая девушка, которую я с таким же увлечением полюбил всею силою своего молодого существа. Уже будучи женихом, я, счастливый и радостный, по возвращении в Петербург однажды был в опере, давали „Севильского цирюльника“. Обстановка была великолепная и одно то уже, что пел Лаблаш, ¹³¹ должно было обеспечить успех. Когда я вошел в партер, театр был уже почти полон и вскоре началась увертюра; я, в ожидании поднятия занавеса, начал осматривать ложи. Вдруг мои глаза встретились с другою парой глаз и я даже вздрогнул, сердце мое сжалось, в глазах на мгновение померкло, и я схватился за спинку стула: то были глаза очаровательной княжны Волконской. Я поспешил оправиться и отвесил ей самый почтительный поклон. Тут-то я почувствовал всю свою вину перед этой чистой и невинной душой и мне стало жутко, как это бывает с ребенком, стащившим со стола какую-нибудь сладость и уличенным в своем преступлении, которое кажется и ему самому и окружающим самым серьезным и непростительным. Первого акта я почти не слышал и все время

смотрел на это милое для меня существо, совершенно забыв о том, что я уже был совсем не „свободный художник“, и даже уже не секретарь, а жених на цепочке. Но страсти прошлого еще не улеглись, воспоминания недавних блаженных дней были чересчур еще живы и я им отдался совершенно.

Тамбурины мне показался грузен и стар для своей роли и только Лаблаш немного расшевелил меня, заставив обратиться в слух и отвлечься от созерцания прелестного женского профиля, с любопытством и вниманием устремленного на сцену.

Ах, как хорош был Лаблаш; прямо нельзя было не восторгаться простотою каждого движения, каждой позы, при поэтическом сочетании грации с милым неподдельным юмором, без всякого шаржа и натяжки. Его бархатный голос так и проникал в глубину души. Виардо также сводила с ума весь театр, прямо забывалась ее некрасивая наружность; голос, манеры, живость, грациозность, кокетливость, женственность—все совершенно затмили этот недостаток; да, она была поразительная артистка; я видел в ней совершенство экспрессии, которая также давала возможность Михаилу Ивановичу Глинке петь свои чудные романсы почти совсем без голоса, но так, как никому из самых голосистых исполнителей не удавалось. Вот эта-то божественная искра и делает все из ничего. Когда окончился первый акт, я отправился в ложу, где сидела княжна, как на

заклание. В ложе бенуара было почти темно и я не сразу мог рассмотреть всех, находившихся в ней, и только, когда мой глаз уже привык к этому полумраку, я увидел одного мужчину, сидевшего в глубине ложи.

— А вот, Павел Петрович, позвольте вам представить, жених Marie, — сказала старшая княжна, представляя мне этого господина, — помолвка уже была и даже день свадьбы назначен.

При слове жених в ложе как будто сделалось светлее. Я оживился и вдруг почувствовал себя, как израненный Руслан, вспрыснутый живою водою. Между тем, начался второй акт, который прошел еще с большим блеском, чем первый. Во время урока, Виардо по собственному выбору спела несколько номеров и между прочим вальс Боккачио, наконец русский романс, который привел в неописуемый восторг всю публику и гром рукоплесканий долго царил в театре. Когда я взглянул в ложу, где сидел образ милой княжны, — она уже была пуста, также пусто вдруг почему-то сделалось на мгновение и в моем сердце, но на мгновение только, и вот перед моими глазами возник другой чудный близкий моему сердцу образ моей дорогой, чистой и любящей невесты.

Это было во второй мой приезд в Москву, когда я с Петровским отправился к Подклюшникову в Останкино. Была чудная летняя пора, солнце яр-

ко светило, наполняя какою-то радостью мою душу, и я с необыкновенною легкостью шагал по большой дороге, тянущейся к Останкинскому дворцу.

Шел я с Петровским, углубляясь в тень роскошного парка вверх по берегу небольшой речки Каменки, проложившей себе путь среди тенистого леса.

— Побудьте здесь, Павел Петрович, — сказал мне Петровский, — а я на минутку сбегаю провести одного своего знакомого, он недалеко отсюда живет, мы давно с ним не видались, — и с этими словами Петровский ускорил шаг и скрылся за кустами сирени. Я остался один и задумался. Вдруг до меня долетели женские голоса и вслед затем две грациозные девушки мелькнули между стволами деревьев и торопливо направились мне навстречу. Я остановился и стал разглядывать этих двух миловидных девочек. Одна из них была блондинка с золотистыми волосами, светло-серыми лучистыми глазами, которые она испуганно устремила на меня, затем, вдруг нагнувшись к подруге, что-то шепнула ей и обе девушки, повернувшись, снова скрылись в чаще деревьев.

— А, Соколов! — раздалось сзади меня, — куда вы запропастились, я вас ищу и высматриваю уже добрый час. — Оглянувшись, я увидел Петровского, запыхавшегося и красного.

— А видали вы, какие милашки только что про-

шли здесь? Это, вероятно, здешние обитательницы на даче. Особенно блондинка, настоящая грезовская головка.

Мне почему-то было досадно это его замечание и я прервал его:

— Ну, что-же, — сказал я, — нашли вы вашего приятеля?

Но оказалось, он его не застал и мы отправились к Подключникову, визит к которому я уже описывал в одной из предыдущих глав. Под тяжелым впечатлением рассказа Подключниковой и разигравшейся домашней сцены, я подошел к окну и стал смотреть на густую зелень раскинувшегося передо мною леса, как вдруг, с маленькой террасы дома, в верхнем этаже которого я находился, выбежала девочка лет 14, а вслед за нею, о, восторг! я узнал светленькое платьице моей очаровательной незнакомки. Я сейчас поспешил узнать у Подключникова, кто жил под ними, и он объяснил мне, что это у него заняло приехавшее на дачу семейство университетского эконома Степанова, состоящее из жены и молоденькой дочери.

— Кто же эта барышня, которую я вижу в саду? — спросил я.

— А это барышня Иванова, которая часто бывает у них; она живет поблизости в соседней даче.

Нижние жильцы собирались на прогулку и до меня доносились их радостный смех и щебетанье



И. С. Тургенев, В. А. Соллогуб, Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов,
Д. В. Григорович, И. И. Панаев (1857 г.).

барышень, которые делали мое пребывание в квартире Подключникова еще невыносимее.

Наконец, я не выдержал, схватил мою шляпу и, обещаясь вернуться за Петровским, бросился вниз по лестнице. Мои незнакомки уже входили в парк, когда я почти вбежал в ворота, и умерив ход, стал осматриваться. Тут меня со всех сторон окружили женщины в платках, настойчиво предлагавшие мне свои самоварчики, расставленные по правую сторону, где под деревьями были накрыты столы со скамейками, за которыми чинно восседали семейства москвичей, по тогдашнему обычаю приехавших сюда отдохнуть на лоне природы. Я кое-как отделался от насевших на меня баб и вскоре увидел семейство Степанова, собравшееся под липой.

Около них я увидел еще одну молоденькую девушку и двух мужчин. Один из них оказался мне знакомым — Шаповаловым, который сразу узнал меня, подошел ко мне и мы разговорились. Шаповалов поспешил меня представить всем находящимся здесь, в том числе и моей белокурой героине; после этого, мы уже вместе продолжали веселую прогулку.

Как-то случайно мне пришлось идти в паре с моей блондинкой и мы разговорились.

— Так вы знаете Николая Ивановича Подключникова? не правда ли, он совсем не похож на ху-

дожника? — сказала она, — какой-то странный он. А вот в вас я сейчас признала его.

— Это почему? — удивился я. — Ведь я не ношу длинных волос, нет у меня шляпы с большими полями и дубины в руках. — Мы оба рассмеялись.

— Я не знаю сама, как это вам объяснить, но мне почему-то показалось, что вы непременно должны быть литератором.

— Много чести. Очень благодарен, что вы с первого взгляда остались обо мне такого прекрасного мнения. В особенности то, что признали во мне писателя, сильно льстит моему самолюбию, так как, прочтя Пушкина, я считаю это звание выше всего на свете.

— Вот видите, какой вы восторженный; это окончательно утверждает меня в мыслях, что вы истинный художник. Когда я вас увидела, вы смотрели наверх, ваше лицо было такое восторженное, какое не видишь у наших, даже очень молодых чиновников.

— О, да какая вы наблюдательная. Но вы так еще молоды, что по моему, по вашей наружности вы больше мечта, чем женщина, — сказал я. Она рассмеялась.

— Итак выходит по вашему, что я мечта художника?

— Да, именно, — подхватил я, — как хорошо вы это сказали, и если позволите быть этим художником, — то мне,

— Я не могу вам этого позволить, но я до сих пор не знала, что я... и она опять пресимпатично засмеялась. Ее остроумие, живость речи меня положительно очаровали. Я все больше и больше увлекался этой прелестной девушкой.

Обедал я у Степановых, и опять, по воле судеб, сидел рядом с Софьей Львовной, как звали мою очаровательную знакомку. Солнце уже садилось, а с поля возвращалось стадо, подымая густую пыль, как-то прозрачно освещаемую умирающими лучами склоняющегося светила, и из этого светящегося облака пыли раздавалось мычание коров и пощелкивание пастушьей плети. Пора было оканчивать свой продолжительный визит и я с грустью распростился с своими новыми знакомыми.

На следующий день мы целой компанией отправились в трех экипажах в Останкино: мысль об этой поездке, конечно, подал я. Экипажи были удобные и покойные, и мы веселыми группами разместились в них. Утро стояло великолепное. Какая-то освежающая прохлада царила в воздухе, и мы весело покатали к Троицкой заставе (тогда она еще была) и, наконец, выехали в поле, где на левой стороне показалась Марьиная роща, а еще подальше направо, село Алексеевское с его старинною церковью времен царя Алексея Михайловича. Эта церковь отличалась от других тем, что вокруг нее сделан на каменных сводах крытый железом навес, по которому во время

торжественных праздников движется крестный ход, защищаемый, таким образом от снега и дождя. От этого села мы повернули в Останкино, и вся наша компания через парк направилась осматривать дворец.

Еще проезжая мимо дач, я тревожно поглядывая на дом, где жили Степановы, но там никого не было видно; тогда я поднялся к Подклюшникову и застал Елизавету Ивановну, прифранченную по воскресному. Самого Подклюшникова не было; он обыкновенно по воскресным дням отправлялся на рынок к Сухаревой башне где высматривал подходящие для себя картины. Так и здесь меня постигла неудача. Поговорив несколько минут с Подклюшниковой, я отправился бродить по деревне, с жадностью поглядывая на каждое окно, в котором только виделось женское платье, и вдруг остановился, как очарованный: в раме небольшого окошка стояла моя героиня и читала какую-то записку; очевидно, не замечая моего приближения; но вот она подняла глаза и, тихо ахнув, уронила записку. Я сейчас же бросился поднимать ее; девушка приветствовала меня счастливою улыбкой и пригласила зайти в комнату.

— Я вас познакомлю с мамой, она как раз дома,—и с этими словами она исчезла из окна. Когда я вошел в комнату, то почти одновременно со мной вошла туда и сестра Софьи Львовны,

которую я видел уже один раз по дороге в Останкино при нечаянной нашей встрече. Пока я был представлен этой девушке, пока мы обменивались обычными фразами и приветствиями, дверь в соседнюю комнату отворилась и в ней появилась маленькая старушка, с усталыми глазами, в чепчике, какие тогда носили, и стала извиняться, что заставила меня долго ждать. Долго я беседовал с этой симпатичной компанией и только вопрос Софьи Львовны, с кем я приехал, заставил меня очнуться. Я вскочил, как ужаленный.

— Господи,—проговорил я,—ведь меня ожидает целая компания,—начал торопливо прощаться и с грустью расстался с моими новыми знакомыми, но уже близкими моей душе людьми.

Для того, чтобы иметь предлог чаще бывать в Останкине, я придумал писать виды окрестности Москвы.

И вот в первый же ближайший день, когда Петровский был свободен, мы, забрав все необходимые принадлежности, отправились в Останкино пешком.

Несколько дней подряд рисовали мы в Останкине, и эти дни послужили началом новой эры моей жизни. В один чудный теплый вечер, при обстановке, совершенно гармонизировавшей с состоянием моей души, мы сидели с Сонечкой в густой тени липовой аллеи. Луна светила, нежно переливаясь в ее золо-

тистых волосах, и здесь, в этой волшебной обстановке, я получил так страстно желаемое „да“ и в виде задатка первый жгучий поцелуй. Мне было не до шуток в эту серьезную минуту; невеста моя была девушка бесприданница, и с этого момента у меня явилась новая забота—создать для нее в будущем уютную и спокойную жизнь.

Между тем время отъезда моего в Петербург приближалось и я собирался уезжать, не посвящая своих родных в свои намерения относительно женитьбы. Единственная кому и я, и моя невеста открыли все—это была старушка, мать Софьи Львовны, которая очень радостно встретила эту весть, поплакала немного и дала нам свое благословение. До отъезда оставалось несколько дней и я вместе с Сонечкой посвятили их прогулке по Москве и ее окрестностям.

В это время в Москву были присланы картины известного берлинского пейзажиста Гропиуса¹³² и они были помещены в хорошо выстроенном для того балагане, поместившемся на Страстном бульваре. Это были вовсе не обыкновенные картины, писанные масляными красками на полотне, а совершенно прозрачные и освещающиеся изнутри. Вот мы и порешили отправиться посмотреть их.

Когда я вошел в зало балагана, в котором показывались картины, оно мне напомнило обыкновенный театральный зал, но совершенно темный, и

только сама картина была прекрасно освещена изнутри; таким образом, передо мною являлась та или другая местность совершенно в таком виде, как бы она представилась моим глазам через открытое окно. Одно из преимуществ подобной живописи было то, что на картинах этого рода изображалось не только одно какое-нибудь время дня, а постепенно перед зрителями развивалась жизнь этой местности в течении целых суток. Сначала замечательно эффектно и натурально загоралась утренняя заря, затем наступал полдень, затем сумерки летнего или зимнего вечера и, наконец, спускалась ночь, зажигались звезды и луна всплывала над пейзажем, озаряя своим серебристым светом всю местность.

Но да не подумают читатели, что это было какое-нибудь балаганное представление; совсем нет; тогда я и не стал бы говорить о нем, но эти изменения совершались благодаря обману зрения, что французы называют в живописи „trompe d'oeil“—и все это было исполнено с такою художественною верностью и близостью к природным явлениям, что можно было только восхищаться подобным производством и удивляться этим постепенным изменениям теней, смотря по времени дня и ночи. Тучи и отдаленная гроза, с подражанием ее грома и шума дождя, до того были искусно выполнены, что так и хотелось подойти к рамке и посмотреть, на са-

мом ли деле разразился на сцене ужасный ливень. Одна картина, изображавшая собою какойто швейцарский вид в ущельях между гор, была изумительна. На довольно близком расстоянии была видна закругленная холмом площадка, на которой паслось стадо коров. Как бы случайно порывом ветра оттуда доносилось до зрителей побрякивание колокольчиков: иллюзия была полнейшая, от изменения освещения стадо как бы приходило в движение и коровы казались медленно бродящими по полю.

Еще очаровал меня вид внутренности готического храма, в котором сначала господствовал густой мрак, и все предметы казались как бы закутанными в непроглядный туман; только огромное стрельчатое окно с расписными стеклами обрисовывалось ярким силуэтом с правой стороны. По середине церкви алтарь тускло высматривал, оживляясь лишь некоторыми блестками своих золотых украшений и покрывавшей его белой пеленой. Вдруг блеснул луч солнца, и когда он снаружи ударил в эти стекла, то вся рама окна с рисунком своего переплета легла на те части внутренности храма, куда ложились лучи, и весь храм осветился с его сводами, колоннами, статуями и образами.

Или еще монастырский двор, с полуразрушенной галлереей обгложенных веками столбов и выбитыми над ними плитами, уходящей с одной стороны в глубину картины, где виднеется церковь, мерца-

ющая огнями от лампад, распространяющих какой-то мутный красноватый цвет, между тем как на первом плане часть старой стены ярко освещена луною с черною поперечною тенью от крыши галереи. На правой стене в коридоре видны двери заброшенных келий отошедших в другой мир монахов.

Но вот еще одна картина, о которой я не могу умолчать, она чересчур резко запечатлелась в моей памяти. Передо мною открылась внутренность огромной пещеры со сводами, образовавшимися от самой природы, с отверстием выходящим к морю, покрытому мраком ночи, и вдруг в этой пещере вспыхнул костер, осветивший и нависшие неровные своды, и землю, а также нескольких человек контрабандистов, собравшихся вокруг него. Лодка, привязанная на веревке недалеко от берега и также освещенная ярким огнем костра, медленно покачивалась на прибегających к берегу волнах.

Если это не „*trompe d'oeil*“, то я уже и не знаю, как может приблизиться искусство к природе и чудесному проявлению в ней жизни.

Я вышел из этого балаганчика, который справедливее было бы назвать храмом искусства, как очарованный, и долго мне казались и город, и день какими-то холодными, скучными и вялыми в сравнении с тем, что я только что видел. Все это привело меня к мысли, что искусство, как принято его на-

зывать, „изящное“, имеет множество отделов, из которых самый высокий и должен занимать первое место тот, который выражает какое нибудь движение мысли или сердечного чувства, а не просто, хотя и очень верное изображение жизни в природе, что дает нам весьма удовлетворительно теперь усовершенствованная фотография.

Возвращаясь после этого чудного зрелища я проходил мимо какой-то стариинной церкви, около которой, подмостившись возле образа святого, в честь которого был построен храм, на невысокой лестнице сидел старичок-живописец в очках. Святой, изображаемый им, был старик, идущий по водам, совершенно нагой, но с такой длинной бородой, что она достигала до самых его колен. В ту минуту, когда я остановился, старичок был занят отделкою волн и пренаивно мазал своею кистью, выводя струйки и кладя блики на этих волнах. Я не утерпел и сказал: — „Как это вы искусно воду-то пишете“.

Надо было видеть, как старичок посмотрел на меня из-под своих огромных очков и, поднявши высоко нос, сказал:

— А гениус-то на что? — и лицо его выразило столько достоинства и сознания своей силы, что мне даже стало неловко, что я, собственно, сделал ему ироническое замечание.

Однажды в Москву приехал какой-то фокусник и афишировался в маленьком театре на Трубе. Этот

артист на огромной цветной афише доводил до сведения публики, что в конце его представления будет показан такой замечательный фокус, которого еще никогда не бывало на сценах столичных театров, да и вряд-ли второй раз подобный фокус и повторится. Конечно, мы все бросились смотреть этого удивительного фокусника. Театр был полон, мест нельзя было добиться, а передние ряды были заняты богатыми купеческими семействами, охотниками до подобных зрелищ. Довольно равнодушно смотрела публика на ряд заурядных фокусов самого грубого свойства и с нетерпением ожидала обещанного конца. Но вот наступил столь ожидаемый момент. Фокусник выходит на авансцену и с самым развязным видом обращается к сидящим в первых рядах с просьбою положить в его шляпу разные вещи, и добродушные, доверчивые зрители, пропитанные чувством любопытства, бросают ему туда кто кольца, кто серьги, кто часы, кто табакерку и т. д. Набрав таким образом целый ворох драгоценных вещей, фокусник ушел за занавес и долго не появлялся перед смущенной публикой, которая начала уже обнаруживать тревогу и нетерпение стуком ног и аплодисментами. Наконец, волнение пожертвовавших для представления своими вещами дошло до того, что была потребована полиция и когда проникли за таинственную занавес театра, то там увидели только открытый выход на улицу, а от

фокусника и след простыл. Бросились искать, но все поиски оказались тщетными, и несчастные зрители, отдавшие свои драгоценные вещи для удовлетворения своего любопытства, должны были быть удовлетворены, так как вряд ли им пришлось еще раз посмотреть на подобный фокус—плод изумительной изобретательности нахального, но, вместе с тем, и ловкого мошенника.

Незадолго до моего отъезда из Москвы я познакомился у моего отца с Александрой Васильевной Киреевой, которую в большом свете называли „la belle“, и действительно, она была красавица даже и в то время, хотя возраст ее был уже бальзаковский.

Она часто приезжала к отцу, и однажды он написал с нее удачный портрет. Между нашим и ее семейством установились самые лучшие отношения, и мы бывали нередко друг у друга. Александра Васильевна была женщина, располагавшая к себе своим милым характером и любезностью, и оставила эти качества всему своему потомству. Младшая дочь Александры Васильевны вышла замуж за Новикова и теперь живет в Лондоне, где эта умная и образованная женщина снискала себе известность своими политическими статьями.

XVI.

В Петербурге. — Князь Кочубей и его портрет. — В Александринском театре; Мартынов. — Публичная библиотека. — Межов. — Николаевский мост. — На Неве. — Росси. — Профессора Уткин и Воробьев. — Картина „Татьяна“. — Михаил Николаевич Лонгинов меня выручает. — Гулянье на островах. — Деккер-Шенк. —
Отъезд в Москву.

Еще незадолго до моего отъезда из Петербурга, когда я работал в Мраморном дворце, мне доложили, что ливрейный лакей принес мне пакет. Распечатываю его и читаю приглашение явиться к князю Виктору Александровичу Кочубею, который просит меня написать с него портрет. Князь жил близко от Мраморного дворца, на ныне Суворовской площади, в угловом доме, рядом с дворцом принца Ольденбургского. Князя я застал дома в его кабинете, но он чувствовал себя не совсем здоровым и объявил мне, что очень затрудняется назначить определенные часы для сеансов. Портрет предполагался масляный и во весь рост, так что князю пришлось бы довольно продолжительное время стоять на натуре.

— Я уж лучше буду за вами присылать по тем утрам, когда буду чувствовать себя лучше, — говорил князь: — ведь мы теперь такие близкие соседи.

Я, конечно, выразил свое полное согласие, тем более, что кроме материальной выгоды, имел еще перед собою человека с очень интересною наруж-

ностью и крайне симпатичного. Князь Виктор Александрович Кочубей был человек в полном смысле слова представительный. Его высокий рост и гордая осанка придавали всей его фигуре что-то величественное. Немного сухощавый брюнет-красавец с бледным лицом и густыми волосами, он имел правильные аристократические черты лица, которые так и просились быть нанесенными на холст опытной рукою художника.

Он рассказывал мне один эпизод, прочитанный им в мелких рассказах Диккенса, как один художник, писавший портрет с англичанина, никак не мог уловить полное сходство, только благодаря тому, что тот не мог забыть, что сидит на натуре и держал себя так, как англичане называют „raide“. Вдруг, увидя какой-то фотографический вид, англичанин вспомнил целый эпизод из своей жизни, бывший в местности, изображенной на фотографии, и так воодушевился, что забыл свое назначение натурщика, а художнику только этого и надо было и он уловил в нем то, чего не доставало ему для полного сходства портрета. Рассказывая мне эпизод, переданный англичанином, князь так оживился, что и мне в свою очередь удалось воспользоваться этим моментом и передать его на портрете. Главное в портрете было сделано, оставалось теперь уже немного; но так мне и не удалось дописать тогда этот интересный портрет. Князь некоторое время

болел, а затем я уехал в Москву. Теперь возвратившись в Петербург, меня ожидал очень неприятный сюрприз. Во время моего отсутствия князь Виктор Александрович Кочубей умер и работа моя должна была остаться неоконченною и я терял крупный и интересный заказ. Я мысленно поставил крест над этой работой, но судьба, повидимому, решила иначе. Случилось это гораздо позднее, когда я был уже женатым, но так как я начал уже говорить о неоконченном портрете князя, то уж кончу о нем. После смерти князя, княгиня вскоре вышла замуж за князя Белосельского и жила тогда в доме-дворце на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки у Аничковского моста (теперь дворец великого князя Сергея Александровича). В один прекрасный день служанка доложила мне, что меня спрашивает какой-то иностранец с мальчиком. Я вышел и узнал в последнем сына покойного князя Кочубея с его гувернером. Мальчик передал мне просьбу матери явиться к ней для переговоров относительно продолжения начатого и незаконченного портрета с покойного князя.

— Все говорят, и тамап, и другие, кто только не видел портрета, писанного вами с рара, что он поразительно похож и все ранее писанные гораздо хуже, — говорил мальчик, — но тамап, — продолжал мальчик, — просит вас дописать его, не трогая гол-
ловы.

Я, конечно, согласился, и был от души рад, что работа, над которою я поставил уже крест, вдруг опять возобновилась и совершенно кстати.

Мне была предоставлена одна из комнат в нижнем этаже дворца княгини, куда не раз заходила и сама она посмотреть на мою работу. Когда я проложил фон и аксессуары всей картины, потребовалось усилить фигуру и даже лицо князя, хотя княгиня просила меня его не трогать. Не знаю, что я мог в нем сделать не в добрый час, но сходство несколько утратилось, за что княгиня сильно рассердилась на меня. Огорченный своею неудачею и сознавая, что исправление теперь всецело зависит от силы и помощи моей памяти, я не насиловал себя и ждал счастливой минуты, глубоко убежденный в неизбежности самого блестящего успеха. В комнату, в которой я работал, нередко заходил и старый слуга, бывший камердинер князя, очень привязанный к покойному и неотходивший от него в течение последних лет. Обыкновенно, он останавливался в некотором расстоянии позади меня и молча, покрывая, простаивал по несколько минут и затем тихо уходил. Но вот, наконец, настала для меня столь желанная минута, когда в моей памяти вдруг воскресли те трудно уловимые черты лица, которые были мне так нужны для сходства портрета, и в одно такое благодетельное утро мне удалось воспроизвести их в полной, прежней силе,



А. К. Толстой

как бы я схватил их с натуры. В это самое утро вошел в комнату старик камердинер и уже не остался по обыкновению безмолвным.

— Вот теперь это князь Виктор Александрович как живой! — воскликнул он, — позвольте, господин Соколов, мне доложить ее сиятельству, чтобы они пришли посмотреть.

Немного погодя, пришла княгиня, в сопровождении генерала Сухозанета ¹³³, вошедшего на своей деревяшке, который прекрасно знал князя, и оба они нашли сходство поразительным. Тем и кончилась моя работа, а через два дня я при очень любезной записке получил от княгини 700 руб., которые оставалось дополучить за этот портрет.

Однажды, проходя мимо Доминика, я прочел театральную афишу, и увидел, что играет Мартынов; мною овладело такое желание быть в театре, что я решил во что бы то ни стало быть на спектакле — шел „Жених из долгового отделения“, „Что имеем не храним — потерявши плачем“ и какой-то водевиль — не помню. Блаженное тогда было время, когда можно было еще иметь билеты перед самым началом спектакля. И вовсе это не потому, что пустовал театр; напротив того, в то время русский театр, преимущественно Александринский, давал полные сборы и своими доходами покрывал дефицит дирекции, получаемый от остальных, а потому, что не было этой спекуляции билетами и этих

ни для чего ненужных абонементов. Так и в этот вечер, театр постепенно наполнился весь. Почему и как это удавалось, должно было озадачивать тех мудрецов, что привыкли задумываться надо всем тем, что в сущности очень просто. Так, например, останавливая плотиною течение воды, вы усиливаете напор ее, а дайте ей идти самой, и течение ее будет правильно и спокойно. Или публика была другая?— уж не знаю.

Оркестр, под управлением Кажинского, исполнил увертюру из „Фра-Диаволо“, и занавес поднялся. В первых же явлениях пьесы „Жених из долгового отделения“ явился Мартынов и встречен был, по обыкновению, громом рукоплесканий. Гримом своим он изобразил полнейший тип Акакия Акакиевича; по крайней мере, когда я читал эту повесть Гоголя, то иначе не представлял его себе. Мартынов загримировался разве только немного помоложе. Та же жалкая, запуганная физиономия, тот же потертый виц-мундир, те же неторопливые и робкие движения и, в то же время, во всей его особе было разлито нечто столь симпатичное, что, несмотря на его жалкую фигурку, чувствовалась к нему симпатия и участие к его горькой доле игрока, случайно двинутого на этот путь сложившимися обстоятельствами и волею более сильной природы третьего лица, подчинившего его своему влиянию. Мартынов заставил зрителей переживать вместе с этим несчастным,

запутавшимся человеком все перипетии двусмысленного положения, в которые поставил его случай. Юмор Мартынова в исполнении этой роли был так изящен, правдив и выразителен, что автор этого, в сущности ничтожного, фарса, должен был бы поцеловать у него руку за тот успех, который имела эта пьеса, только благодаря неподражаемой игре этого гениального артиста. Получив в задаток это чисто эстетическое наслаждение, я готовился к другому удовольствию от следовавшей одноактной пьесы, написанной с дарованием и знанием сцены. Кажинский сыграл какой-то вальс и занавес поднялся. Тут мы увидели домашний быт двух застарелых и бездетных супругов-старичков, которые от нечего делать беспрестанно ссорятся, и эти несогласия доходят до того, что почтенный супруг забирает все свое имущество, состоящее из небольшого чемоданчика, клетки с дроздом и зонтика, надевает свою старую шляпу, галоши и шинелишку и решается с миром удалиться, т.-е. любовно разойтись со своей старой подругой, с которой, так или иначе, прожил несколько десятков лет. Тут происходит трогательная сцена, когда за возмущившимся супругом его строптивая старушка, уже струсившая, плетется с виноватым видом и робко спрашивает своего старого друга, что неужели он так-таки и решился ее бросить и куда он теперь пойдет? Тот сначала еще сердито отвечает, что пойдет, куда

глаза глядят, только бы уйти из этого домашнего ада. Но когда старушка, окончательно уже встревоженная такой его решимостью, прерывающимся от слез и волнения голосом начинает напоминать ему прошедшее из их совместной долгой жизни и „что будет теперь с ним?“, „кто ему подаст утром кофе, халатик, и будет исполнять все его привычки, кто ему все это будет делать?“—он начинает как будто смягчаться и вот, чтобы окончательно доканать старикашку, она вдруг признает себя виноватой и просит у него прощения. Растроганный старик роняет клетку с дроздом, зонтик и чемодан, и старики мирятся, плача друг у друга в объятиях. Впечатление от этой сцены было настолько сильное, что весь театр некоторое время находился в безмолвии, лихорадочно внимая этим всхлипывающим старикам, и вдруг разразился громом аплодисментов... Но надо было видеть лицо этого старика, эту мимику, как происходили переходы от раздраженного гневом сердечного волнения к таким же сердечным порывам.

— „Вот ведь я говорил... ведь я говорил...“—повторял он слезливым голосом. Так вот и бросился бы обнимать и утешать этого милого старичка. Сожалею о тех, кому не удалось видеть игру этого гениального комика-трагика, и как мне жалки казались актеры, которые впоследствии выступали в этой

роли; ничего у них даже похожего не выходило на то, что создавал Мартынов.

Я было хотел уехать, недосмотрев водевиля, но прочитавши в афише, что в нем главную роль будет играть Максимов, остался и не раскаялся, потому что его умная, ловкая и красивая игра доставила мне истинное удовольствие, несмотря на сильное впечатление, оставленное двумя предыдущими пьесами, и на то, что амплуа первых любовников, на котором был тогда Максимов, самое неблагоприятное.

Слухи о постановке на сцене Большого театра оперы М. И. Глинки „Руслан и Людмила“ все усиливались, и вместе с ними увеличивалось нетерпение возбужденной публики, которой уже порядком надоела заигранная „Аскольдова могила“. Но прежде чем совсем похоронить эту оперу, я хочу сказать о ней свое доброе слово. Во-первых, она имела то достоинство, что явилась первым оригиналом русской драматической оперы с весьма свежими мелодиями и никак нельзя ее упрекнуть в вялости действий и бесцветности. Не даром она приобрела в то время, как в Москве, так и в Петербурге, почти народность, и шарманки повсюду играли ее мотивы; мало того, я сам слышал, как и среди народа раздавались напеваемые и наигрываемые мотивы из этой оперы. Леонов прославил себя в ней, играя весьма живо и типично удалого Торопку, ба-

совую партию Неизвестного исполнял драматический бас Петров. Однако, мне рассказывали, будто музыка этой оперы принадлежит не Верстовскому¹³⁴, а Варламову¹³⁵, который в минуту жизни трудную продал ее ему. При сравнении ее с другими произведениями того же Верстовского, я расположен этому верить.

На другой день я посетил Публичную библиотеку. Как-то внушительно действовал всегда на меня этот огромный читальный зал, с потолка до полу уставленный рядами книг. За длинными рядами столов сидело много занимающихся в библиотеке посетителей, и, несмотря на большое их число, тишина там царила полная. Полы были устланы веревочными коврами, которые совершенно заглушали и без того осторожные шаги проходящих по ним новых посетителей в другую комнату, где в то время находились преимущественно журналы и газеты.

В журнальном отделении я встретил Владимира Измайловича Межова¹³⁶, с которым уже был знаком. Мы разговорились полупшепотом и он дал мне свой адрес, приглашая посещать его и обещавшись со своей стороны побывать и у меня в Мраморном дворце. Это был тот самый Межов, который впоследствии сделался известным библиографом. В то же время он занимался рисованием и брал у меня уроки. Терпения у этого человека было в обилии, но художественного таланта положительно никакого,

и он только благодаря своему необыкновенному терпению добился-таки того, что в конце концов мог очень посредственно копировать, и начал бывать по моему указанию в Эрмитаже. Так как у Межова были свои средства, совершенно его обеспечивающие, он почти каждый год ездил за границу и преимущественно жил в Париже, откуда возвращался всегда с горами разной мелочи, новинок, все больше различных, никому ненужных пустячков; даже игрушки и детские фокусы встречались в числе этих коллекций. Человек он был, без сомнения, умный и начитанный, но в нем были свои странности, которым даже трудно было поверить. Так, например, он не любил не то что древнюю или ветхую историю, а старый римский мир вообще, находя в нем одну только дикость и распушенность, и эта антипатия у него достигла такой степени, что когда он, путешествуя по Европе, посетил Италию в компании русских туристов и когда вся компания находилась вблизи от раскопок Геркуланума и Помпеи, то Межов не пошел вместе со всеми туда, а остался в известной кофейне, стоящей при въезде на большую дорогу, ведущую к засыпанным городам, и все время, пока спутники его не возвратились, преспокойно пил кофе и угощался, не спросив даже, что они видели на этом месте, о котором с жгучим интересом спросил бы каждый. Вообще, в Межове было очень много странностей, которыми он вовсе не

рисовался, а действительно это уж был на самом деле такой оригинальный человек, глубоко убежденный в своих взглядах, правда, в высшей степени самостоятельных и раз навсегда им усвоенных. Главную отличительной чертою характера этого человека было страшное упрямство и настойчивость—с этими атрибутами он и достиг славы на поприще библиографии.

У графа Соллогуба я давно не был и зашел навестить моих старых и искренних друзей, где меня, по обыкновению, с радостью встретили и обласкали.

За завтраком затеялся оживленный разговор; я рассказывал про Москву, о последних событиях там, а мне передавали интересующие меня петербургские новости музыкального и театрального, да и вообще артистического мира, — так, например, о близившейся постановке оперы М. И. Глинки и еще о том, что, благодаря содействию графа Михаила Юрьевича Виельгорского, Рубинштейн собирается ставить написанную им также русскую оперу „Князь Дмитрий Донской“. В то же утро к графине приходила ее старшая сестра, бывшая замужем за Веневитиновым, и сообщила прискорбную новость о смерти младшего брата ее мужа, известного поэта ¹³⁸, умершего в расцвете юношеских лет в чахотке. Вслед за этим получилось еще горестное известие о смерти их брата Виельгорского, бывшего в тесной

дружбе с покойным Веневитиновым. Графиня Софья Михайловна подарила мне полное собрание сочинений покойного поэта, и я, приехав домой, занялся чтением этих произведений, отличающихся чистотою слога пушкинской школы, благородством и простотою выражений.

Возвращаясь от Соллогуба, я заехал на Васильевский остров в Академию; против нее, на Неве, воздвигалась целая гора, почти сплошной стеной лежавшая поперек реки, и я не мог не удивляться силе человеческого ума и успеху науки, давшей ему возможность бороться с чудовищным напором реки и именно в том месте, где она имеет особенно быстрое течение.

Наступил великий пост, и семь недель его положительно кишели всякого рода концертами, даваемыми приезжими знаменитостями. Я слышал пианиста Дрейшока, Гензельта и скрипача Контского и восхищался его прелестным „Венецианским карнавалом“.

Наступила Страстная неделя, а за нею и пасха. Я отправился делать визиты и заехал на Васильевский остров к Росси, которого застал дома, и мы вместе позавтракали. Я рассказал ему про Москву, а он про академические новости, и от него же я узнал, что ему присудили две медали: одна большая серебряная и другая малая золотая, за представленные программы; кроме того, он собирался в Италию, с чем я его от души поздравил. Мне

оставалось только вздохнуть и я при этом помянул крепким словом своего дядюшку, виновника того, что я не мог представить программы на золотую медаль. В это время он уже сильно болел и собирался на остров Мадеру. Узнал я также от Росси, что за это время скончался профессор наш; гравер старик Николай Иванович Уткин, оставивший по себе добрую память, как об отличном художнике и прекрасном человеке. К сожалению, не могу сказать того же о другом, тоже умершем за это время, профессоре нашей академии, пейзажисте Максиме Никифоровиче Воробьеве, которого ученики не любили за его лицемерие и двоедушие. В особенности Солнцев жаловался на него за то, что он, желая выдвинуть по академии одного из своих сыновей, отстранил Солнцева от получения медали в пользу своего сына, бывшего ему конкурентом. Да ведь и на моих глазах подобные вещи проделывались не раз и не одним из наших маститых профессоров, так что в этом ничего удивительного не было и только ужасно мне было досадно за этого талантливого Солнцева; воображаю, каково было ему самому перенести подобную несправедливость.

Весенний театральный сезон ознаменовался освежением репертуара, пробамии новых пьес или иггранных уже, но в новой обстановке, с участием выпущенных из дирекции молодых артистов с выдающимися талантами, а также дебютами провинциальных

артистов средней величины. В то время заядлым театралом, зорко следившим за нашей сценой, был хороший мой знакомый Михаил Николаевич Лонгинов ¹³⁸, впоследствии начальник Главного Управления по делам печати. Я знал его еще совсем молодым, и мы нередко встречались с ним в театрах, чаще же всего он бывал в Большом, так как был завзятым балетоманом. Михаил Николаевич был сын статс-секретаря императрицы Александры Федоровны, имел огромные связи и дружил с финансовыми тузами; это обстоятельство и заставило меня обратиться к нему с просьбой выручить меня, когда я нуждался в деньгах. Вдруг как-то, после праздников, карман мой сразу опустел, смерть князя Кочубея расстроила все мои планы, и я еще не предполагал, да и не мог думать, что княгиня пришлет за мною для окончания портрета. Деньги нужны были до зареза, а где их взять? И вот я, порывшись в своем портфеле, выбрал начатый еще в прошлом году акварельный рисунок, изображавший Татьяну из „Онегина“, сидящую у открытого окна при свете трепетной луны и мечтающую о Евгении.

В одно утро я засел за эту картину и, в два дня окончив ее, повез к Лонгинову. В эстампный магазин Беггрова отдавать ее мне не хотелось, так как он брал за комиссию 20%, а деньги мне были очень нужны. Был уже со мной случай, когда я, сильно нуждаясь в деньгах, продал одну свою такую

картину комиссионеру Негри за 80 рублей, и тот в тот же день, спустил ее за 300. Не желая подвергать себя такой же, слишком большой эксплуатации, я и решил предложить свою картину Лонгинову. Жил он тогда на Моховой, близ Пантелеймоновской, но на мое несчастье он был совсем здоров и никого не принимал; однако, отчаяние делает человека решительным, и я настоял, чтобы лакей доложил обо мне. Я был принят. Когда я вошел, он сидел в своем кресле в утреннем неглиже и привстал, протягивая мне руку. После обмена приветствий и извинений, я наконец изложил ему причину, побудившую меня обратиться к нему.

В тот же вечер я получил записку от Лонгинова следующего содержания: „Вашу прелестную Татьяну у меня похитили, посылаю деньги, преданный и готовый к услугам М. Лонгинов“.

Такого скорого результата я никак не мог ожидать и мне приятно было, что не пришлось занимать денег у этого в высшей степени любезного, но постоянно нуждающегося человека.

Наступили живительные весенние дни, лед на Неве тронулся и природа заликовала. Быстро показалась трава там, где ее не стесняла расти городская администрация, а березки и другие деревья покрылись маленькими душистыми листочками. Вместе с весенними жаворонками по городу разлетелись афишки, извещавшие об открытии на остро-

вах Минеральных вод, где тогда царствовал Излер; говорили, что там можно очень приятно провести время, и я решил непременно побывать там.

Отправился я туда в сопровождении Алексея Федоровича Поздеева, на одном из пароходов, которые уже начали развозить публику по островам. Пароходик был наполнен публикой в весенних праздничных нарядах. Дамские зонтики, как круглые большие цветы, унизывали его борты, повсюду слышались веселые голоса и разговоры, словом, скука здесь не находила себе места. Пароход наш юркнул под Самсониевский мост и причалив на минуту у пристани на Выборгской, отплыл дальше. На левом берегу показалось продолговатое каменное строение с офицерским флигелем лейб-гвардии Гренадерского полка, окутанным в нежную зелень распустившихся деревьев. Вот и роскошная дача Николая Самойловича Шаншиева, женатого на Екатерине Авельевне Гамазовой, осталась уже позади. Чем дальше, тем дачи были грандиознее и богаче и, наконец, заканчивались роскошною дачею Василия Федуловича Громова, построенною на мысу, врезывающемся в Малую Невку. Тут река опять расширяется и на противоположном берегу в густом парке стоит загородный дворец, принадлежащий великой княгине Елене Павловне; конец берега этой дачи уставлен рядом маленьких пушек, так как великий князь Михаил Павлович был шефом Артиллерийского

корпуса. Тут берег соединяется с правой стороны Строгоновским мостом, упирающим в конец Строгоновской дачи, дом с куполом которой красиво выделяется на густой массе деревьев своего обширного сада. Вот, наконец, и Минеральные воды с своей колоннадой, заканчивающейся на обоих концах небольшими павильонами; в левом конце главный вход, к которому от берега вела шоссейная дорога. Пароход наш причалил к довольно красивой пристани с развивавшимся над нею флагом, и вся пестрая и веселая публика потянулась шумной толпой к входу в это Эльдorado, обещавшее нам разнообразного рода удовольствия, на которые так был изобретателен популярный уже в Петербурге Иван Иванович Излер. Получив в кассе проходной билет, мы вошли в большой и не столько широкий, как длинный зал, уставленный во всю длину рядом белых колонн, между которыми рядами стояли стулья для зрителей. Тут же была небольшая сцена с крошечным фойе для актеров. Рядом с большим залом находился еще меньший, где происходила продажа минеральных вод, откуда был также выход в сад через широкую террасу, где изобиловали различные украшения, в виде статуй, бюстов и т. п. Широкая площадка сада была сплошь заставлена чисто сервированными маленькими столиками. Тут же в саду была еще эстрада, на которой пел русский хор, а далее был виден открытый театр с не-

большой сценой. Бильярд, устроенный в деревянном павильоне, дамский чайный буфет, мужской буфет, все было прекрасно обставлено с высшей степени выдержанным стилем немецкого приличия. В верхнем этаже главного здания находились отдельные кабинеты и помещения для цыган. Словом, это был совершеннейший прототип всех наших последующих увеселительных садов и гуляний, только тогда в нем не было того пошло-кабацкого пошиба, который развелся за последнее время и дошел до апогея своего неприличия. Играла военная музыка, затем пел хор певцов, затем предстояло представление в большом зале, потом опять в саду на открытой сцене, потом снова музыка и так далее по всем трем отделениям. Публика прибывала все более и более, и, наконец не оказалось ни одного свободного столика. Мы вошли в зал и заняли свои места. В публике начали уже раздаваться нетерпеливые хлопки, и вот все стихло, а на эстраде появился хор в тирольских костюмах. У двоих из мужчин в руках были гитары. Один из них, красивый и плотный мужчина, взял первые аккорды и за ним грянул хор. Это был знаменитый впоследствии Деккер-Шенк, тогда простой гастро-лер, впервые приехавший в Россию. Рядом с ним сидела красивая и видная женщина—его жена, певшая густым и очень приятным контральто. Вообще, голоса хора Деккер-Шенка были очень хороши,

в них было много чувства и согласия, а само пение отличалось оригинальностью мелодий и мотивов чисто национальных. Деккер-Шенк изумительно аккомпанировал на гитаре, а жена его спела вальс, приведший в неописанный восторг всю публику. По окончании этого номера, когда мы вышли в сад, уже наступила совершенная ночь и прекрасно иллюминированный сад приятно ласкал зрение. Но вот часть приличной публики удалилась и началась вакханалия. От одного стола к другому, как ночные бабочки, начали перебегать женщины с разрисованными лицами и черзчур дугообразными бровями и яркими румянцами, цинично шутя с опьяневшими мужчинами. Из открытых окон кабинетов слышалось пение цыган, звон стаканов и посуды, полупьяные голоса раскутившихся повес, и затрещали отцовские капиталы. Становилось противно и мы поспешили скорее оставить сад.

Тогда еще ходили Шапирские дилижансы, и несколько кареток стояло недалеко от выхода. Мы залезли в одну из них и заколыхались по неровной мостовой, убаскиваемые этой, хотя и тряской качкой, но снотворно действующей на утомленные нервы.

Приближалось время года, когда классы в институте закрываются, и душа моя ликовала, предвкушая минуту моего отъезда в Москву.



В. А. Тропинин.

Автопортрет

XVII.

Отъезд родителей в Мерчик.—Генерал Лужин и дворец в Дубровицах.—Чудак губернатор.—Князь Щербатов и происшедшие с ним курьезы.—Булахов и Шаповалов.—Слухи о холере.—Пальчиков и его усадьба.

В Москве меня ожидала крупная новость; наши были в полном сборе и собирались на лето ехать в имение графа Орлова-Денисова, находившееся близ самого Харькова и называвшееся Мерчик¹³⁹. Отец настоятельно предлагал и мне ехать с ними, но я, понятно, сейчас нашел предлог, чтобы остаться в Москве, ссылаясь на работы у толстяка Рахманова, и вместо меня отец брал с собою молодого художника Аммона¹⁴⁰, которого он взял под свое покровительство. Это был очень способный и симпатичный молодой человек, которого мы все очень скоро полюбили, отец же, видя в нем несомненный талант, предсказывал ему блестящую будущность, как пейзажисту, и тем более охотно его брал с собою, имея в виду, что юноша поупражняется за это лето в натуре. Волей неволей приходилось отложить поездку в Останкино до отъезда своих и я смиренно покорился этой участи.

Был я с визитом у графини Орловой-Денисовой, принявшей очень ласково меня и положительно очаровавшей своею любезностью; у нее я застал генерала Лужина, бывшего в то время обер-поли-

цеймейстером Москвы и в скором времени имевшего сделаться там губернатором.

Встретясь со мною у графини, Лужин заказал мне рисунок старого дворца царя Алексея Михайловича в Дубровицах, от которого тогда уже ничего не осталось, кроме невысокого столба, на который в былые времена клались просьбы на имя царя. Руководствоваться для этой работы я должен был одной старинной гравюрой, изображавшей дворец, каким он был в то время. От самого же строения ничего не осталось и только невысокие шпалеры из акаций, посаженных по плану уничтоженного здания, давали представление о его расположении. Этот дворец был построен из дуба и такого прочного, что когда его снимали, то принуждены были не рубить, а спиливать, так как топор не брал этих вековых срубов. Какая же дикая фантазия насильно уничтожат такую, можно сказать, священную старину! Удивительные вещи у нас творятся на Руси. Предшественником Лужина по губернаторству был князь Щербатов ¹⁴¹, ужасный чудака, человек небольшого ума и державшийся на своем посту только потому, что жена его была необыкновенно умная женщина и прекрасная администраторша, собственно фактически и решавшая все дела и вопросы по губернии, Князь безусловно доверялся своей супруге и никогда не делал наперекор ее распоряжениям; послушание его доходило в этом отношении до не-

вероятных размеров и, благодаря привычке повиноваться княгине, с ним вышел даже раз очень комичный случай, имевший траги-комические последствия. Однажды к князю явился с визитом городской голова, именитый и богатый купец. Князь встретил его в приемном зале, и, забыв по своей рассеянности предложить ему сесть, разговаривал стоя. В это время мимо проходила княгиня и заметив, это неловкое положение, подошла к мужу и шепнула ему — „пожалуста, посади его“ — и затем прошла в свои покои. Князь вдруг нахмурился и резко переменялся в разговоре с изумленным головою и в конце концов отправил его немедленно на гауптвахту, приняв замечание жены за просьбу арестовать голову, вероятно, в чемнибудь да провинившегося перед нею. Когда с несчастным купцом было покончено, князь, веселый, что исполнил приказание жены в точности, вошел к ней в гостиную, где собралось несколько дам с визитами и, целуя руку княгини, сказал:

— Ну, я его посадил, да что собственно он там наделал такого?

— Кто? Что? Кого посадил? — удивленно спросила княгиня.

— Да голову, — отвечал спокойно князь.

— Какую такую голову? — ничего не понимая, спрашивала княгиня.

— Да городского голову, которого ты просила арестовать.

— Я арестовать? Просила городского голову? Да ты с ума сошел!—в ужасе вскричала княгиня.— Я тебя просила посадить его на кресло, так как ведь ты говорил с ним, стоя.

— Ну, а я думал на гауптвахту,—сказал князь,— и уже отправил его туда. Ах, чорт возьми, какая неловкость, а я предполагал, что уж вероятно, он что-нибудь да совершил ужасное, раз даже ты его попросила посадить...

Все засмеялись, а княгиня поспешила сейчас же сделать распоряжение об освобождении несчастного головы и пригласила его к себе, чтобы как-нибудь да загладить разразившийся скандал. А князь, как будто ничего не случилось, затеял превеселую болтовню с дамами.

Положительно чуть не каждый день что-нибудь да случалось с этим злосчастным губернатором. Было это в то время, когда несоблюдение формы строго преследовалось и молодежь за каждую малость подтягивалась начальниками, в особенности же студенты были подвержены строгости дисциплины. Между тем им строго на строго запрещалось курить, а подавно на улицах. Князь Щербатов имел обыкновение каждое утро в партикулярном платье гулять по Тверскому бульвару. Уж и в форме-то его фигура была неказиста, а в статском платье он вовсе не

имел никакого вида. Идет это он один раз по аллее и видит навстречу ему приближается преважно студент в форменном сюртуке и с папироской в зубах. Забыв, что он в статском костюме, Щербатов петухом налетел на студента и разразился криком:

— Как вы смеее курить?

Студент с неудовольствием взглянул на него и, повидимому, не зная его в лицо, резко ответил:

— А вам-то какое дело?

— Да вы знаете ли, с кем вы говорите?—зеленея от злости, продолжал кричать Щербатов.

— Нет, не имею этого удовольствия,—ответил студент с иронической улыбкой.

— Я здешний генерал-губернатор,—уже задыхаясь, прошипел Щербатов.

Студент смерил с ног до головы его неказистую фигурку и, пожав плечами, сказал:

— Не может быть.

Щербатов так растерялся от этого искренно недоверчивого ответа, что в доказательство истины своих слов, глядя в упор на студента, осенил себя большим крестом и сказал: „ей-богу“, и произнес эту клятву с такою наивностью, как божатся дети, когда им не верят.

— Ну, не буду вас вводить в грех,—сказал студент и улыбнувшись, бросил папироску. И много подобных курьезов было с этим почтенным администратором.

Я поселился на время в Останкине, где меня охотно приютил Подключников, до такой степени мне не хотелось расставаться с близкими моему сердцу людьми. На третий день моего прибытия к Степановым приехал Шаповалов вместе с Булаховым, автором известных тогда романсов. Это был мужчина лет сорока, брюнет, довольно красивой наружности; Булахов, аккомпанируя себе сам, спел нам несколько романсов своего сочинения, которые действительно были хороши, а Шаповалов стал опять приставать ко мне, чтобы я уступил ему мой драгоценный портрет Пушкина, и говорил, что у него есть оригинальные картины, которыми он готов пожертвовать для этого портрета.

— У меня есть,—говорил он,—Жуковский, Крылов, Державин, Давыдов и др., а Пушкина нет—это ведь ужасно обидно...

Но я был непоколебим и ни за какие блага не расстался со своим сокровищем, * хотя и копией но какой копией? которую сам Тропинин признал лучше оригинала. Так Шаповалов от меня ничего и не добился и настоятельно приглашал меня к себе посмотреть его коллекцию.

Вскоре я был встревожен сенсационным известием, что в полосе Харькова появилась холера.

* Однако, впоследствии он своего-таки добился и выменял у меня этот портрет на одну картину.

Это очень смутило меня и я, придя домой, написал письмо отцу, прося известить меня, по возможности скорее, о здоровье наших.

Работа моя, заказанная Рахмановым, подвигалась вперед и вот в одно утро, когда я ужасно досадовал, что у меня не было подходящего натурщика для фигуры фавна, ко мне входит Петровский.

— Вот люблю, брат, за догадливость,—сказал я,—как раз кстати пришел. Видишь, я пишу Помпею, то-есть не последний ее день, а фреску во вкусе того времени, и мне требуется мужская фигура в таком повороте, что я и не надеюсь найти здесь случайного натурщика, который сумел бы верно принять такую позу и выразить движение вот такое,—и я показал ему эскиз.

— Да это значит постоять на натуре? изволь, братец,—сказал он.—Только он здесь у тебя почти голый, значит, и мне надо раздеваться.

— Нет.—отвечал я,—ты видишь—у него драпировка перекинута через плечо и летит? так вот я и рассчитываю, что ты примешь такую же позу и складки лягут так, как мне нужно, чтобы выразить полет. Понял?

— Отчего же не понять, постараемся понять это,—засмеялся он.—Эх, жаль, что вот только без этой канашки,—прибавил он, щелкнув по рисунку.—А премиленькую ты ее сделал, вишь как обнимается, как она на него плутовски смотрит. Где ты только их таких видел? Должно быть в Петербурге

поплясывал вдоволь с этими канашками?—и он захохотал.—Ну, а где же драпировка, в которой я должен совершать полет?

Я подал ему кусок приготовленного для этого каленкора и он, сняв свой пиджак, накинул его себе на плечо и сеанс начался. Надо удивляться, с какою охотою в то время товарищи художники помогали друг другу; ни у кого не проявлялось никогда ни зависти, ни злобы к успехам другого, а что мы видим теперь? Тогда лучшие силы, ради товарищеской услуги, стояли на натуре, а теперь и дельного совета, и мнения не дожدهшься, каждый друг на друга волком глядит, как будто съесть его хочет. Сеанс наш вдруг был прерван приходом швейцара от подъезда Юшковского дома, который доложил мне, что какой-то господин желает меня видеть и при этом подал мне карточку и я прочел: „Александр Васильевич Пальчиков“. Тут я вспомнил, что встречал этого господина в Петербурге и еще раз видел его здесь же в Москве, когда он приезжал со своею старушкой матерью. Отец мой с них обоих писал портреты. Пальчиков вошел и я представил ему Петровского, моего академического товарища.

— Я слышал,—начал Пальчиков,—что ваш батюшка уехал к графу Орлову-Денисову в Мерчик; очень жаль, но так как вы остались в Москве, то я счастлив такому удачному случаю. Это лето гостит у меня в моем подмосковном имении брат

Николай, и моей матушке очень бы хотелось иметь его портрет. Ах, если бы вы согласились поехать туда со мною теперь же—ведь это недалеко, у Хотькова монастыря по Троицкой дороге.

Ужасно мне не хотелось уезжать из Москвы, но заказ мне улыбался, потому что был очень выгодный; надо было решить и я просил позволения дать ответ за другой день. Пальчиков уехал, а я принялся за начатую работу. Голову моего фавна я прописал с Петровского же, пропустив в его густые волосы узкую алую ленточку. Петровский, на мою просьбу ехать со мною к Пальчикову, выразил полное согласие и на другой день, когда Пальчиков за нами заехал, мы были уже совершенно готовы к отъезду. Дорога, по которой мы ехали, вначале была мне очень хорошо знакома, но от большого села Александровского начались для меня новые места. Небольшие рощи виднелись по обе стороны дороги, а навстречу то и дело попадались идущие группами пешие богомольцы с котомками за плечами и с палками в руках. Некоторые из них отдыхали вблизи шоссе на густой траве, совершая свои вечерние трапезы. По небу тихо плыли красивые облака, слегка розоватые, как и общий тон открывавшегося передо мною пейзажа; солнце уже зашло, но день, как бы желая еще насладиться чудным ароматом благоухающего воздуха, медлил потухать и какой-то ласкающий глаза свет царил над землею. Но вот

мало-по-малу начинало темнеть и окрестности завернулись как бы в темный непрозрачный вуаль, и наконец, совершенно скрылись в непроглядном мраке ночи. Экипаж наш съехал с шоссе и повернул на проселочную дорогу и точно мрачные призраки, начали мелькать мимо нас огромные стволы вековых деревьев, промелькнул какой-то мостик, затем две-три жалких лачужки, большим черным пятном огромный сарай, тускло блеснула вода и мы въехали в поле, а через час уже подъехали к усадьбе „Дубки“—имению Пальчикова. У крыльца дома, на побрякивание бубенцов уже толпилась выбежавшая кучка людей со свечами, встречавшая своего барина, и мы поднялись по широкой лестнице в просторные сени. В гостиной нас встретил брат Пальчикова, Николай Васильевич, с обвязанным горлом; он простудился и не выходил, а потому и не мог сам приезжать ко мне для сеансов.

Мы пошли в кабинет хозяина, где нам были предложены ароматичные сигары и легкая закуска, вместо ужина, а затем мы отправились в приготовленную нам комнату в мезонине дома.

Утро было чудесное, и я, рано проснувшись, подошел к окну. Картина передо мною открылась необыкновенно симпатичная до умиленности. Тип природы, расстилавшейся передо мною, был чисто русский средней полосы России. Влево виднелась проселочная дорога, по которой мы приехали,

тянувшаяся желтой лентой по кочковатому полю, на котором местами группировались небольшие дубки с густою и желтою листвою. Прямо против меня зеленел сад в старинном вкусе барских садов прошлого столетия и мне так и мерещилось увидеть белое платье Татьяны, читающей свое заветное письмо. Правее опять поля и на горизонте густой синей полосой тянувшийся бесконечно лес. На огромном пространстве между лесом и усадьбой виднелись в беспорядке раскинувшиеся деревеньки по берегу извивающейся лентой маленькой речки, и большое село с блестящим золотым крестом на куполе его церкви.

На сверкающей из-за густых заростей тростника речки виднелась мельница. Время было первого покоса и во многих местах были видны собранные уже скирды. Птицы ныряли в воздухе, то и дело проносясь передо мною, и всюду слышалось их веселое щебетанье и сладостная песня. Вся эта картина была облита золотыми лучами летнего солнца и имела такую притягательную силу, что я наскоро оделся, взял фуражку и палку и спустился вниз. В доме все еще спало и только из буфетной доносилось побрякивание посуды, в залах работала метла и слышался сдержанный шопот из девичьей. Я вышел на двор и мимо меня пронеслась кудахтая курица, а за нею пробежал кухонный мужик с ножом—какой диссонанс представляла эта сцена

с умиротворяющей роскошной природой, мне на мгновение стало как-то неловко; но всего лишь на мгновение...

Я начал акварельный портрет с Николая Васильевича. Лицо моего клиента было очень невзрачно и далеко не представляло собою тип какой-нибудь красоты, оно было слегка изъедено оспой, а волосы и брови какие-то бесцветные, бороду он брил, зато во взгляде его маленьких глаз и складе тихой улыбки были заметны и ум, и ровный, спокойный характер. Он был порою симпатичнее своего брата. Он приехал в гости к брату, оставив свое семейство в имении. Это был настоящий тип русского помещика, почти никогда не выезжавшего из своей вотчины.

Остальные два дня мы провели в Дубках очень приятно: мы с Петровским ездили рисовать виды, катались на лошадях верхом и в экипаже, а в это время я успел также совершенно закончить портрет, но все же как ни хорошо мне было здесь на лоне природы, все-таки тянуло в Москву, где оставался кусочек моего сердца, да и жажда получить скорее известие из Харькова также не переставала мучить меня. Я простился с Пальчиковыми и уложив свои чемоданчики, покатиł обратно.

XVIII.

Первое известие о болезни отца.—Смерть отца.—„Евгений Онегин“.—Возвращение матери.

Войдя с Петровским в мою комнату, я увидел на своем письменном столе лежащий конверт, схватил его и, вскрыв дрожащими руками, пришел в неописуемое волнение. В письме заключалось известие о болезни моего отца, он заразился свирепствовавшею в Харькове холерой и был на волосок от смерти; но благодаря уходу и искусному лечению доктора Зябловского, жившего у графа, начинал поправляться. Я перекрестился, тяжело вздохнул и грустно опустил в кресло. Петровский, видя мое душевное состояние, утешал меня и остался даже у меня ночевать. Мы еще раз прочли письмо, в котором мне описывала мать, как народ десятками ежедневно умирает в окружности их, но что теперь, слава богу, эта ужасная болезнь как будто стихает. Про доктора Зябловского мне писали, что он очень энергичный поляк, что ему только и можно быть признательным за спасение отца, также рассказывали, с каким он самоотвержением, не боясь заразы, возился с крестьянами, как неоднократно подвергался опасности быть убитым рассвирепевшей толпой, отказавшейся сжигать вещи после умерших, и я от души благодарил мысленно благодетеля-доктора и даже начал любить всех поляков, которых прежде

сильно не долюбивал. Вот в каком состоянии находилась моя душа. Заснуть я не мог, и мерное похрапывание Петровского, обнаруживавшее его присутствие, сильно меня успокаивало. Проснулся я рано и, не тревожа товарища, отправился к Миллерам, чтобы поделиться с ними этим тревожным известием. Там также встретили его с волнением и радовались, что беда уже миновала.

— Бедная Юлия Павловна!— воскликнула Варвара Егоровна,—воображаю как она-то перепугалась!

Таким образом сердечное отношение окружавших меня людей сильно поднимало мою энергию, и я принялся за работу; закончил совершенно портрет Пальчикова и даже спроектировал ему павильон в стиле швейцарского шале. После обеда я отправился пешком к Маковским. День был очень хороший, заходящее солнце светило, играя своими лучами на бесчисленных куполах и крестах московских церквей.

Настроение духа у меня было прекрасное и шел Александровским садом, под высокой стеной Кремля, покрывавшей эту сторону своей широкою тенью. В том месте, где дорожка круто поднималась на холм, я бегом поднался на его вышку и увидел чудную панораму на Москву-реку и стал любоваться ею, напевая какой-то мотив из „Севильского цирюльника“. Вдруг, среди блеска чудного летнего вечера, у меня потемнело в глазах, в груди моей стеснилось дыхание и я схватился за сердце. Внезапно, без

всякого повода, вдруг меня осенила мысль об отце. Это было одно мгновение, но оно было какое-то паническое и привело меня в безотчетный ужас. Я невольно перекрестился и тихо пошел дальше. У Маковских я застал Егора Ивановича дома; он ужасно огорчился, выслушав известие, полученное мной из Харькова. Пребывание в этой теплой, дружеской мне семье, окончательно уже меня успокоило и я, вернувшись домой, с нетерпением ожидал утра, чтобы ехать к моей будущей жене и поговорить окончательно со старухой ее матерью о бесповоротном моем решении скорее скрепить узы с ее дочерью таинством брака. Идя от Сухаревой башни, по бесконечной Мещанской, я опять предался своим размышлениям об испытанном мною необыкновенном переполохе, устрняя веру во всякого рода предчувствия.

Я получил письмо о смерти отца.

Бедный отец мой, после всех пароксизмов ужасной болезни, которую он геройски перенес, уже начинал поправляться, диета соблюдалась полная, и очень скоро он начал уже садиться за общий стол, и силы его с каждым днем заметно возвращались. Мать постоянно следила за ним, чтобы он не соблазнился съесть чего-нибудь из фруктов, которые в изобилии подавались за графским столом. Но, несмотря на этот тщательный надзор, больной, со свойственным всем выздоравливающим малодушием

и капризом, украдкою стащил с хрустальной тарелки персик и, когда остался один, съел его. Вследствие этого безумного увлечения у него сделался паралич желудка. Спасти его уже не было возможности и несчастного старика не стало.

Похоронили его около церкви в ограде, где находились могилы всего семейства Шиловских, владельцев этого богатого имения. Мир праху твоему, почтенный старик. Ты, кроме добра и славы, ничего не оставил, и нет человека, который бы мог оскорбить благородную память твою каким-нибудь дурным поминанием.

Мы с Софьей поплакали вместе над моим горем. Она хотя и не знала отца моего, но так много слышала о нем, что имела понятие, что это был за добрый и простой человек, и искренно скорбела, что судьба не судила ей услышать от него название „своей дочери“.

Глупый случай и тут себя проявил вовсе не чудесно и, крепя сердце, надо было покориться ему, но подобные потери не проходят бесследно, они остаются в душе, если не озлобление, то какую-то апатию, отраву, которой нет противоядия. Все равно, все кончается одним—смертью...

С этой печальной эпохи моей жизни начинается новая эра моего существования. Я сам почувствовал, что постарел на несколько лет, и уже потерял способность увлекаться всяким новым впечатлением



А. С. Пушкин.

Портрет раб. В. А. Тропинина (деталь).



и даже искать их. Я начал собирать их, приобретать, сохранять приобретенное, я начал чувствовать себя осиротевшим, но далеко не одиноким, для меня была теперь цель в жизни, я был связан долгом и глубоко верил, что выполняю его добросовестно, как подобает всякому глубоко порядочному человеку. Я отдался весь своей работе. Работая над Рахмановскими заказами, я для вечернего занятия, чтобы отвлечь свои мысли от всякого тяжелого и грустного, навеянного рядом последних событий, предпринял большой периодический и последовательный труд, а именно, я затеял иллюстрировать одну из капитальнейших поэм моего милого поэта „Евгений Онегин“, и вскоре эта работа до того увлекла все мое внимание, что я, так сказать, нравственно поздоровел и воскрес. В плане этого воссоздания картин, образов и типов этого произведения, близкого сердцу каждого русского человека, представляющего собою непрерывную панораму русской жизни известной эпохи, я расположил крупные и выдающиеся сцены в небольшом количестве по выбору главных сюжетов поэмы, которые должны были быть сделаны в величину всей страницы книги и затем в перерывах текста несколько менее размером, отдельных фигур и групп, и остальное в заголовках и концах малыми фрагментами и пейзажами, изображающими тот или другой вид, уже написанный поэтом. И какой это оказался благодарный и благодетельный для

меня труд и как грустно мне было так глупо утратить его! Я его оставил у Булгакова и после смерти он был куплен с аукциона. Разве это не несчастье и не глупый случай?

Наконец я получил известие, что наши должны были через два дня приехать в Москву и мама просила приготовить все в доме к ее приезду. Все я выполнил до самых малых мелочей, как просила она меня, и со стаканом кофе сел у окна в ожидании экипажа. Вдруг у крыльца нашего дома остановилась громоздкая карета, запряженная парой в дышло и с пристяжной с одного боку. Я выбежал навстречу и увидел выходящего из кареты Родзиевского и за ним Аммона. Бросившись мимо них, я сунулся в карету и обнял свою мать, разрывающуюся у меня в объятиях. Когда она немного успокоилась, я бережно вынес ее на руках и поставил на тротуар, а затем с помощью Родзиевского и Аммона ввел ее в комнаты и уложил в отцовском кабинете. Сторы были припущены, и в этой комнате, где столько лет неустанно работал мой бедный отец, царил какой-то полумрак и таинственная тягостная тишина. Мама неподвижно лежала на диване, как будто погружившись в тяжелые думы о всем пережитом и невозвратно утраченном, и так она пролежала до вечера и только благодаря увещаниям Варвары Егоровны Миллер согласилась перейти в спальню. Она так была проникнута своим горем, что совершенно за-

была о нас, и лишь к вечеру вспомнила обо мне и позвала меня к своей кровати.

Когда я подошел к ее изголовью, она нежно посмотрела на меня глазами, полными слез, и сказала:

— Я не спала, но мне страшно было начать говорить с тобой об отце, я так еще слаба, и горе настолько свежо и ужасно, что я не в силах говорить о нем спокойно. Вот если, бог даст, сон подкрепит меня, тогда я тебе все расскажу...

Я поспешил успокоить ее и отклонить в эту минуту разговор на тему, раздиравшую ее измученное сердце, и под мои рассказы о моей жизни в их отсутствие она успокоилась и заснула. В течении пяти дней мама не выходила из своей комнаты, не вставая с кровати. Обстановка нашего дома, ежеминутно напоминавшая покойного отца, была тягостна для окружающих и делала наше горе еще более ужасным при сознании, что уж его не воротить, так как положительно невозможно было предаться забвению; все, безусловно, чересчур рельефно напоминало разразившуюся катастрофу, и мы решили совершенно изменить обстановку.

Предложено было, что я поеду в Петербург и, устроив там свои дела, вернусь обратно и тогда займусь устройством наших семейных дел. О сватовстве своим я говорить своим еще не решался

и попрежнему часто бывал в Останкине, где находил мир и успокоение для моей пострадавшей души. Посетил я и Шаповалова, который жил где-то у Зубовского бульвара; он-таки сумел у меня выманить моего Пушкина и я утешал себя тем, что этот прекрасный портрет попал в действительно хорошие руки. У Шаповалова я нашел довольно богатую коллекцию картин и в особенности мне понравились две баталии Бургиниона и еще женская головка фламандской школы. На уступку Пушкина я согласился только под влиянием озабоченности своими домашними делами и впоследствии понял, что сделал большой промах, но в это ужасное время мне было простиительно сделать его. Много я потом тужил об этой утрате, но „что с возу упало, то пропало“.

Все Маковские часто навещали нас и поистине явились нам друзьями в это скорбное время. Когда графиня Орлова-Денисова возвратилась в Москву, она также побывала с визитом у моей матери с выражением своего соболезнования ее горю. Приезжал и Пальчиков с братом, и много-много других, знавших и уважавших отца; все одинаково благословляли память покойного и отрадно было видеть, как человек этот сумел завоевать себе сердца его окружавших и в то же время покрыть себя славой знаменитого художника, — многим ли это удалось из гениальных людей мира сего?

XIX.

В Петербурге. — Граф Павел Бобринский. — Выставка картин в Академии: „Святое семейство“, „Дмитрий Самозванец“. — Пятницы в Художественном клубе. — Зарождение декаденства в живописи. — В Эрмитаже. — Крымская кампания. — Отъезд в Москву.

В Петербурге графа Соллогуба я не застал; он еще не возвратился из Дерпта, где графиня проводила лето; мне было очень досадно, что я был лишен, благодаря этому, общества людей, искренне ко мне расположенных. Виделся я с графом Александром Павловичем Бобринским и его братом Павлом, который нисколько не походил на него ни лицом, ни характером, ни даже способностями. Это был человек ограниченный, некрасивый, с очень крупным носом. Он потом женился в Москве на очень богатой купчихе. Удивительная свадьба! Ведь не мог же он польститься на ее капитал, когда был сам очень богат, увлечься ею также было трудно, так как она была дурна собою. Как это произошло при тогдашнем взгляде аристократов на свадьбы подобного рода, — просто непостижимо.

Между тем в Петербурге ожидалось в этом году много интересных событий. Оканчивалась постройка Николаевской железной дороги, да и Николаевский мост быстро подвигался своею надводною кладкой. В особенности первому обстоятельству я был очень доволен. С проведением железной дороги больше

не придется мучиться в мальпостной каретке, а ведь мне предстояло еще это удовольствие. Петербург находился в лихорадочном ожидании этих открытий, и многие даже откладывали свои поездки в Москву до этого момента.

Мраморный дворец тоже был обновкой, хотя по реставрации из дедушкина наследства. Еще была произведена закладка двух дворцов, для великих князей Николая и Михаила Николаевичей, а также предстояли большие переделки в Зимнем дворце и его эрмитажном отделении. Я уже говорил раньше о том, что эти работы были отданы моему дяде Александру Павловичу Брюллову, а затем отобраны от него после обнаружившихся растрат по Мраморному дворцу; но это случилось гораздо позднее. Теперь же дядюшка был еще на высоте своего генеральского величия и однажды, посетив Мраморный дворец, просил меня зайти к нему на другое утро. Застал я дядю в кабинете, и он, выражая одобрение моим работам, сообщил о своем намерении передать мне работы и в Зимнем дворце.

„Недурно пошли мои дела,—подумал я: — надо набивать себе деньгу!“ и, поощренный этою мыслью, занялся усиленно окончанием своей картины. Надо было в то время подумывать об устройстве себе помещения, так как во дворце оставаться уже приходилось недолго.

Между тем в Академии опять начались сборы на

выставку, и я сожалел, что у меня ничего не было готового для нее, кроме картины „Моцарт и Сальери“, еще неоконченной и стоявшей у меня в станке. Вдруг в моей голове родилась мысль, что я могу получить заказ для внутренней отделки храма Спасителя в Москве, и потому я решил написать какую-нибудь картину в церковном стиле, которая могла бы служить образцом того, что я могу сделать в живописи этого рода. Долго я думал над выбором сюжета и, наконец, остановился на одном, а именно: „Святое семейство в Вифлееме“. Я набросал эскиз, и в моей композиции, столько раз деланной многими живописцами разных школ, было нового то, что в группе Богоматери с Младенцем не ее голова доминировала и короновала группу, а голова самого младенца Христа, так как он у меня был изображен в яслях стоя, поддерживаемый руками Божией Матери, и глядел прямо вперед из картины, обхватив своими руками ее голову, образуя на ней как бы венец. Свет всей картины разливался от головы Божественного Младенца на ясли и склонившегося над ними старика Иосифа. Композиция эта меня удовлетворила, и я начал картон углем в настоящую величину. После загрунтовки, вся картина была посыпана мелким блестящим песком, а потому она имела в своих красках какой-то особенный эффект, как бы прозрачный, от чего она необыкновенно выигрывала и обращала на себя внимание. Так как

эта картина имела специальное назначение, то я не особенно озабочивался поспешить с нею к выставке, к которой мне ужасно хотелось что-нибудь да подготовить, и я занялся опять выработкою сюжета. В виду того, что душа моя постоянно лежала к творческим мыслям моего милого поэта, то я начал пересматривать сцены и сюжеты из его поэм и, наконец, остановился на „Борисе Годунове“, взяв то место, где летописец Пимен пишет свои сказания, а Самозванец, лежавший у стены на соломе, вдруг просыпается. Тогда еще мною не был окончен портрет князя Кочубея, и я очень сожалел об этом, он, несомненно, годился бы для выставки. Нарисовав еще две женские головки в пандан, я до начала новых, задуманных мною сюжетов, закончил сцену из „Моцарта и Сальери“.

Выставка удалась как нельзя лучше, много талантливых произведений было представлено Петербургу академией, и большинство из них, все свои русские, были действительно выдающимися. Время было тяжелое. Крымская кампания была в разгаре, и с театра военных действий приходили тяжелые вести. Начал выходить „Художественный листок“ Тимма, брата несчастной жертвы—жены дяди Карла Павловича ¹⁴². Новая опера „Руслан и Людмила“ ¹⁴³ Глинки давалась с большим успехом, вопреки сомнениям, выраженным раньше мне Михаилом Юрьевичем Виельгорским. Наконец, приехали из Дерпта

Соллогубы, и я часто стал бывать у них. Праздники я встретил скучно, отпуск было взять невозможно и в Москву предстояло попасть не раньше весны, и я убивал свое время, работая без отдыха с утра до вечера.

Однажды ко мне зашел Барбе, и, удивившись моему грустному настроению духа, сказал:

— Послушайте, Павел Петрович, я просто не понимаю, отчего вы не бываете на пятницах?—там теперь превесело бывает, поверьте, что вы там рассеете свою скуку; уж во всяком случае на этих вечерах оживления гораздо больше, чем в других собраниях Петербурга. Во-первых, анекдотов расскажут с три короба, и фокусы покажут, в особенности по этой части проявляет теперь себя артиллерийский офицер Берг, удивительный фокусник. Тут же вы можете и рисовать, для чего вам предоставлены все удобства.

— Ну, нет,—сказал я:—уж во всяком случае, если итти туда, то не рисовать; занятия подобного рода под шум вовсе не по моему характеру. Ну, подумайте сами, что можно путного сделать под этаким барабанный бой? Мне подобного рода занятия напоминают обучение полковой музыке в казармах, и я нередко удивлялся, как эти люди могут, занимаясь в подобной обстановке, сделать что-либо, не говоря уже художественное, а попросту даже что-нибудь.

Несмотря, однако, на свои предубеждения против художественных пятниц, я пошел туда с Барбе и застал там сброд многочисленного и разнородного элемента. Тут были и военные, и статские, и литераторы, и художники, и актеры, и люди, не принадлежавшие ни к одному из разрядов служителей искусства и науки, а попросту так-таки убивающие свое время за обильным его избытком. Словом, я очутился в каком-то столпотворении вавилонском, или просто в самом центре крыловского хора: кто в лес, кто по дрова. Более всего говорили о Юме—спирите, который тогда был в самом зените своей моды и славы, и манию которого можно было бы назвать увеселительной, если бы в ней не было так много страшного, что, впрочем, очень любят наши дамы и люди, обладающие пылким воображением. Что же касалось нашего специально-художественного элемента, то он привел меня в какое-то уныние. Я заглянул на столы, за которыми занимались этой профанацией искусства, и страдал при виде, как эти молодцы, без всякой жалости, как истые башибузуки, разводили краску, которую хватали по тому же вдохновению, как и гоголевский повар спьяна хватал, что ему попадалось по руки: соль—так соль, перец—так перец и т. д.

Наливали эти господа на свои так называемые картины целые лужи очень сомнительного колорита, и терпеливая бумага безропотно и, как будто ежась,

выносила все это. И как могли прельстить эти не только бездарные, но безобразные, режущие глаз даже профана произведения? Эти господа не рисовали по вдохновению или из любви к живописи, нет, они попросту отдавали долг уставу этого художественного клуба, вымазывая рисунок, только бы его с глаз долой, и затем пускали его в продажу в пользу этого же клуба или разыгрывали в лотерею. Но что это были за рисунки? Просто даже волос дыбом встает при воспоминании о них.

Конечно, выигравший подобный рисунок не имел права претендовать на какое-либо достоинство и стоимость подобного произведения, но пользоваться этим по меньшей мере было бессовестно.

После окончания так называемой художественной половины вечера следовала еда, сопровождаемая целым неистощимым запасом сальных анекдотов — „кто кого перепоганит“. Мне так противно стало за столом, что я мысленно сказал себе: „отойди от зла и сотвори себе благо“, встал и уехал. Вот тут-то припомнились мне вечера у графа Федора Петровича Толстого или у Владимира Александровича Соллогуба, и я постиг всю неизмеримую разницу в нравственном уровне между тогдашними и теперешними обществами, так резко заметную на продолжении какого-нибудь десятка лет. Положим, там, как и здесь, люди стремились к одному и тому же: провести приятно время, но в том-то и разница,

что тогда в этих симпатичных салонах цель эта достигалась, а тут в этом художественном клубе было одно убийство его, и вот здесь я подметил нарождавшееся, теперь почти царствующее, декадентство. В рисунках это декадентство выражается до наивности прямолинейно. Разведут лужу помокрее, обведут ее собственного измышления грубым контуром, и вот вам картина; что называется, и дешево и сердито. Да если это сколько-нибудь похоже на трафаретные безобразия средневекового примитивного искусства святой старины, то они готовы были возвести эти обведенные лужи в перл искусства. Уныние и позор!

Чтобы сколько-нибудь сгладить тяжелое впечатление, навеянное этим милым клубом художников, я пошел в Эрмитаж. Там были сделаны кое-какие перестановки в залах французской и немецкой школы, и это заинтересовало меня. Итальянская же, фламандская и испанская оставались нетронутыми, и они, собственно, и представляли собою самый громадный вклад в это по истине роскошное собрание произведений гения и труда. Я узнавал своих истинных учителей и, возвращаясь к ним, утверждал себя в принципах, которые они помогли мне усвоить и в которых я находил силу творить что-нибудь самому, в каком-бы то ни было микроскопическом виде, в сравнении с этими гигантами творчества. Конечно, вкусы и формы той или другой эпохи,

покоряясь веянию и настроению жизненных вопросов, изменяются, но чувство прекрасного не перестает царствовать и покорять себе их, как бы они изменились. Тип иначе не может создаться, как отражением той эпохи, в которую он жил, и потому художник, желающий оставаться самостоятельным, должен искать материала для своей работы в тех сферах и элементах, которые его самого окружали, не повторяя старых покровов и шаблонов под чувством увлечения их изяществом. Он должен только выработать в себе эту верность чувства восприимчивости изящного, которое должно подсказывать ему, что он должен делать.

Между тем на горизонте нашего политического мира черная туча все разрасталась и разрасталась, с театра военных действий известия до такой степени были тревожны, что весь Петербург был объят каким-то туманом грусти и уныния. Все сочувствовали государю, удрученному великими заботами и беспрерывно раздражавшемуся непредвиденными неудачами. Недовольный и озабоченный он редко показывался на улицах, в тревожном ожидании печальной развязки, а там, на севастопольских бастионах, умирали герои за свое родное отечество, грудью защищая его от нашествия многочисленной союзной армии. Петербург приуныл, ни вечеров, ни театров уже не было, северная столица как бы оделась в траур в ожидании кончины своего изму-

ченного дитяти, умирающего под ударами неприятельских бомб, и с трепетом внимала каждой черной вести, ежедневно привозимой оттуда фельдъегерями.

Весна наступила ранняя, как будто сама природа сжалилась над моим одиночеством; я отложил до осени наем своей квартиры и, лишь только получил отпуск в институте, покотил опять в Москву.

XX

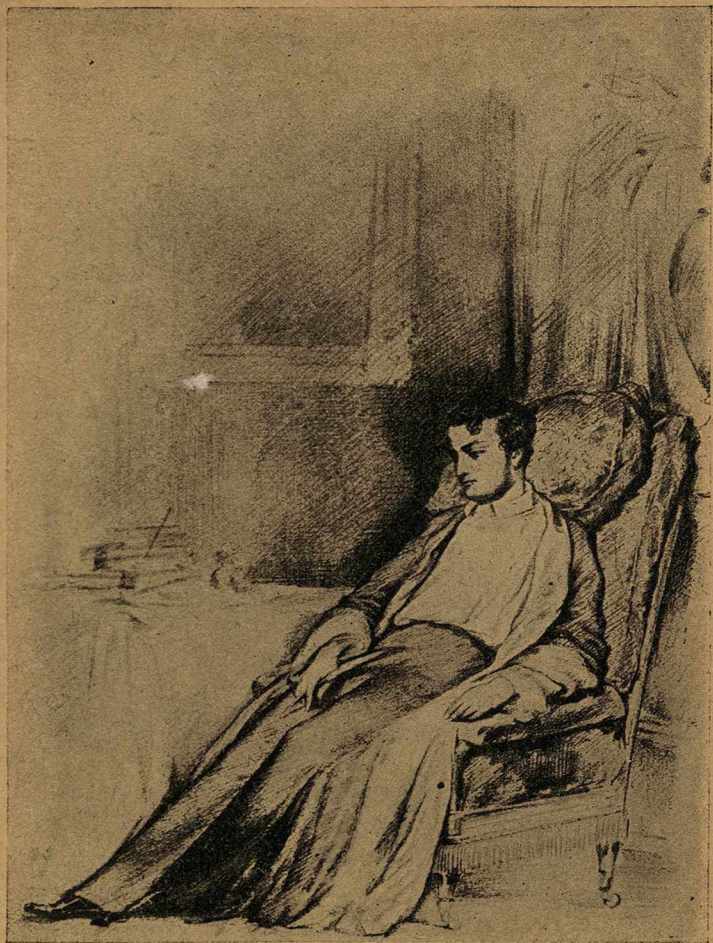
Приготовления к свадьбе. — Я женат. — Первые супружеские дни. — Отъезд. — Приезд жены в Петербург. — Завтрак у великой княгини Александры Иосифовны. — Опера „Гугеноты“. — Марио и Гризи. — Неожиданный арап. — Генерал Ковалевский.

Матушку я уже застал вполне успокоенною и примирившеюся со своей утратой, а потому нашел уместным теперь сообщить ей о своем сватовстве, что она, повидимому, приняла с некоторым удивлением, но не без удовольствия. Обняв меня и пожелав, чтобы выбор мой был счастливый, она захотела немедленно познакомиться с моей невестой. На другой же день я отправился в Останкино. Застал я по обыкновению всех дома; старушка заволновалась, когда узнала, что я приехал за ее дочерью, стала крестить ее и напутствовать своими благословениями, пожеланиями и советами. Софья также очень была встревожена, она быстро оделась, и мы поехали. Матушка приняла ее с такою ласкою и доброжелательностью, что бедная девушка, так

сильно волновавшаяся во время своей дороги успокоилась, целовала ее руки, обещая заслужить ее любовь и уважение. Я нарочно не присутствовал во время этого разговора и ушел в комнату брата Александра, который взял на себя труд похлопотать о найме для всех нас дачи в Останкине и с успехом выполнил эту задачу. Лето того года было хорошее, не жаркое и сухое, но зато весна, по случаю слишком раннего тепла, вышла неудачною в том отношении, что на деревья, в особенности на фруктовые, напал червь, и паутина так густо покрывала молодую листву, что она была просто неузнаваема, цвет был весь уничтожен, и листья и веточки походили на какие-то очень тонкие кружева. Зато грибов было много, и я нашел большой белый гриб на самой дорожке, на которой впервые увидел свою теперешнюю невесту. В обращении нашем с нею уже явилась милая короткость, предвестница более тесного сближения в недалеком будущем. Год кончины моего отца истекал, и мы начали чаще и чаще заговаривать о свадьбе. Моя мама познакомилась со старушкой Ивановой, и они, повидимому, остались довольны друг другом, сойтись же особенно близко не могли, уж очень большая разница была между ними и в летах, и в степени умственного развития. Моя мать, отпрыск талантливого рода Брюлло, жена гениального художника, всю жизнь вращавшаяся между светилами науки

и искусства, развитая, начитанная, умная, конечно, не могла найти себе подруги в лице забитой жизнью и горем скромной старушки, продукта захудалого дворянского рода 20-х годов. Однако, это им не помешало дружно приняться за совместные хлопоты по устройству дальнейшей нашей судьбы. Нам была нанята маленькая дачка в три комнатки и очень мило устроена ее обстановка; но каких бы чудес они там ни наделали, мы едва ли бы заметили, так как сами собою наполняли все и вся, и трудно было бы нам не угодить. Свадьбу было решено сыграть самую скромную, я даже хотел пешком итти со своею невестою в церковь, до которой было всего несколько шагов, но мать моя восстала против такой, будто бы утрированной, простоты и непременно потребовала нанять карету для невесты в церковь, и я должен был прийти потом, как того требовали традиционные обычаи и этикет. В этот торжественный день я был даже лишен возможности видеться со своей нареченной, что просто возмущало меня. Ах, уж эти обрядности и церемониалы, страшный я враг их. Ведь совершались же браки просто увозом и оставались не менее того счастливыми.

Мой медовый месяц прошел в каком-то бессознательном тумане и не оставил по себе воспоминаний, это был волшебный сон, который уже не приснится во второй раз, как бы ни жаждала душа его увидеть снова. Я нежно оберегал мою



Павел Соколов. Из иллюстраций к „Евгению Онегину“.

молодую жену, видя в каждой пылинке, в каждом взгляде кого-либо другого грозившую для нее, непонятную мне, опасность.

Однако, время моих каникул приближалось к концу, и мне опять предстояла разлука с моим милым, молодым другом—женою.

Я понял всю верность принятого выражения о супругах: „дражайшая половина“, и мое сердце должно было разорваться пополам... Но нечего было делать, и мне и ей приходилось покориться, я уехал в Петербург устраивать нашу квартиру, и она должна была приехать по первому моему вызову. Как ни тяжело было расставаться, а все же пришлось покориться судьбе, и я уехал.

Вскоре по приезде в Петербург мне удалось найти довольно приличное помещение для всех нас, т.-е. для меня с женою, для матушки и брата Александра, пожелавшего жить вместе с нами. Квартирка эта находилась на берегу речки Мойки, близ Круглого рынка и Конюшенного моста, в доме Китнера, известного в то время ламповщика.

Квартирка моя была по парадной лестнице, в четвертом этаже, в пять комнат, и вот я приступил к благоустройству своего домашнего очага и когда все было на своих местах, ждать свою хозяйку.

Но вот она и дома, вот она уже сбросила свой дорожный аряд и застенчиво входит в роль хозяйки.

Вся она горит от счастья, а я, я-то! обо мне и говорить нечего.

Незаметно летели для нас дни, недели и месяцы. Я аккуратно посещал институт и пока никому из родных и знакомых не сообщал о приезде моей жены, и мы спокойно уединились в своем теплом гнездышке. Между тем великая княгиня Александра Иосифовна удостоила меня приглашением к завтраку в Мраморный дворец, устроенному по случаю его окончания. Завтрак был роскошно сервирован. Мой дядя Александр Павлович Брюллов был героем дня, и ему было оказано особое внимание, но все же мои мысли были дома, и пышный великокняжеский обед не имел для меня той прелести, какую представлял собою мой скромный в два блюда обедец, состряпанный под наблюдением дорогой моей жены.

Наконец, было получено известие из Москвы, что татап окончила свои дела и выезжает в Петербург вместе с братом Александром. По приезде своем мама и брат были очень довольны квартирою, и наша жизнь вошла в свою обычную колею, но с этих пор у нас начались визиты, приемы гостей, и закипела та шумная, светская жизнь, которой мы с Соней так ужасно боялись. Мы начали ездить в театры, и чаще в Александринский, где с восхищением упивались игрою бессмертного Мартынова. В опере бывали редко, это удовольствие

было для нас слишком дорого, но я один, еще по старому академическому обычаю, посещал верхи, где, бывало, изображал собою кариатиду, поддерживавшую потолок, и только таким образом мне удавалось что-нибудь увидеть, находясь в полувишнем положении, захлебываясь от восторга и млея от наслаждения. Таким образом я слышал „Гугенотов“ Мейербера, о которых еще до их постановки на нашем театре дошли восторженные слухи из Парижа¹²⁴. Действительно, восторг, возбуждающийся этою оперою, был какой-то особенно обаятельный. Сами итальянцы тогда говорили, что ни на одном оперном театре всей Европы не было такого счастливого соединения всех сил для роскошной постановки и таких отдельных голосов для главных ролей, с Марио и Гризи во главе, как у нас на сцене Большого театра, который, кроме того, блистал своим полным и прекрасным оркестром под управлением талантливого Бавери, а также хорами, изумительно поставленными этим же опытным маэстро. Нечего и говорить, что декоративная часть была великолепна. Один Марио способен был наэлектризовать весь театр, а он, при роскошных голосовых средствах и благородной наружности, обладал еще драматическим талантом, с величайшим художественным тактом выдерживая самые патетические сцены, нисколько нигде не утрируя, но зато давая полную силу в те минуты, когда это было

необходимо. Например, в септуоре 3-го акта, когда идет униссон фортиссимо всех голосов, при усиленной работе в оркестре, его голос, все белыми нотами, носился над массой звуков, как птица, доминируя над ними и в то же время давая им тон. Да, театр в эти моменты замирал, захлебываясь от истинного восторга, и вдруг рассыпался громом рукоплесканий...

В моей маленькой мастерской у себя дома я продолжал писать начатую еще в Мраморном дворце картину „Моцарт и Сальери“ и приводил ее уже к концу, предвкушая успех, который она, по моему мнению, должна была иметь. Вдруг в передней раздался звонок, и наша девушка с страшным криком, выражавшим ужас, бросилась из передней обратно в столовую. Я положил свою палитру с кистями и вышел посмотреть, что это там произошло.

— Барин! — прерывающимся голосом, прижав руку к сердцу, говорила бледная прислуга:—барин, чорт... ей-богу, чорт!..

— Где? какой чорт, что ты?—удивленно спрашивал я.

Но прислуга, бледная, прислонившись к стене и тяжело дыша, указала пальцем на переднюю и проговорила:

— Там, барин!—и перекрестилась.

Я вошел в переднюю и сам пришел в изумление. Передо мною стоял молодой и красивый арап

в полном своем национальном костюме. Веселое лицо его с широкими и толстыми губами улыбалось, и белые большие зубы сверкали своей поразительной белизной. Он, повидимому, понимал, что появлением своим произвел большой переполох в душе отворившей ему девушки, это очень его забавляло, и вот он сдержанно улыбался, довольный случаем, доставившим ему возможность рассказать в своем кругу лакеев целый веселый эпизод.

— От господина моего, Егора Петровича Ковалевского!—проговорил негр, протягивая мне письмо, резко выделявшееся своею белизною от его черных пальцев, и казалось, что на нем непременно должны остаться следы их. Я вскрыл письмо; это было приглашение приехать к генералу по поводу одной картины. Я сказал, что буду, и арап исчез. Войдя в столовую, я застал уже всех наших, успокаивавших девушку, которая действительно не на шутку испугалась черного посланца и с нею сделалось что-то вроде истерики.

— Ну, вот, посмотри,—сказал я ей:—вот письмо мне принес этот твой чорт...

Она испуганно посмотрела на конверт и опять перекрестилась. И долго-долго мои дамы убеждали ее опомниться, рассказывая, что это был за человек, и только когда ее нервы совершенно успокоились, она принялась за свое дело, но с большою осторожностью и страхом теперь шла отворять двери

после раздававшегося звонка, так что первое время я даже сопровождал каждый раз ей и дожидался у дверей столовой. Вот напугал-то бедную лакей Ковалевского своим черным цветом кожи, и немудрено—вид у него действительно был страшный, в особенности белки и зубы, выглядывавшие из-за красных губ, на черном фоне тела были ужасны.

Егор Петрович Ковалевский ¹⁴⁵, известный путешественник, жил тогда на Мойке, в собственном доме у Красного моста, человек он был уже старый, но очень энергичный и подвижной. Принял он меня очень ласково и извинился, что по нездоровью не мог заехать ко мне сам. Потом он принес мне картину аршина в полтора высотой, которую он привез из Рима, где она была начата по его заказу тогда только что скончавшимся русским художником Чернышевым. Я припомнил, что лично знал этого Чернышева еще в академии и потом встречался с ним у Александра Алексеевича Агина. Это был очень талантливый рисовальщик, но всегда нуждавшийся человек, которому, как говорится, в жизни не везло, он и умер-то в Риме, при очень печальной обстановке, так что похоронить его пришлось жившим там товарищам, художникам, да и Ковалевский принял не мало участия в оказании этого послед него долга покойному. Картина изображала собою римский карнавал, улицу, наполненную народом, один из балконов кишел молоденькими женщинами

в разнообразных пестрых костюмах, в масках и без них. Они бросали в толпу конфетти, а с улицы на них сыпался дождь конфетти и цветов. Картина была далеко не закончена, и вот кто-то рекомендовал Ковалевскому обратиться ко мне, как к художнику в том же жанре, для окончания ее. Я взялся, конечно, с удовольствием за эту работу, тем более, что начало, сделанное Чернышевым, мне очень нравилось как вся конспекция, так и сделанные уже детали. Беседуя с генералом Ковалевским, я не мог не обратить внимания на убранство его квартиры. Это был какой-то роскошный музей, наполненный разнообразными предметами, вывезенными им из Азии, Африки и вообще из южной полосы исторического мира, где он непрерывно в течении многих лет путешествовал. Тут было и оригинальное оружие разных народностей, развешенное в живописных арматурах по стенам, тут же виднелись также целые костюмы и вооружение, от панцирей и кольчуг до шкур диких зверей и кожаных щитов, разная домашняя утварь жителей востока и юга и драгоценные ткани самого разнообразного вида, цвета и рисунка. Генерал очень много рассказывал мне о своих путешествиях, и когда я впоследствии часто бывал у него, то с удовольствием слушал эти рассказы, переполненные живыми красками действительности, без малейшего хвастовства и неправды. Да, для меня это знакомство было в высшей степени приятно

и полезно. Жаль, что Егор Петрович прожил недолго. Петербург-таки доканал этого, как казалось крепкого человека, столько раз подвергавшегося в своей жизни опасностям и самым разнообразным испытаниям, не говоря уже о лишениях, которые неизбежны в каждом, даже очень богато обставленном путешествии по неведомым, диким странам. Да, я должен считать себя особенно выносливым, что ужился с этим губительным климатом, так сказать, акклиматизировался в нем, потому что почти никуда не ездил из него и получил ту крепость, так сказать, прививку к нему, которая и спасала меня от простуды и болезней. Один раз я был серьезно болен, это в год кончины А. С. Пушкина (что и лишило меня возможности проститься с его прахом), больше же во всю свою жизнь я ни разу не болел, оставаясь всегда жителем в Петербурге.

Картину для Ковалевского я скоро окончил, и он был очень доволен моею работой, что и доставило мне истинное удовольствие, так как я всей душой хотел угодить этому симпатичному старику, которого успел полюбить за короткий период моего с ним знакомства, да и нельзя было иначе относиться к Егору Петровичу, видя его постоянное внимание и радушие, с которым он относился ко всем окружающим его. Просто невероятно, что в то время деспотического обращения с крепостными среди бар того закала и пошиба, к которым при-



Павел Соколов. Из иллюстраций к „Евгению Онегину“.

надлежал Ковалевский, мог явиться подобный ему человек. В его обращении даже с прислугой слышалась какая-то особая кротость, и это отзывалось на всем его доме. Прислуга его, отличавшаяся необыкновенной исполнительностью, была какая-то особенная, что-то приветливое было заметно даже в его арапах. Зато какую любовью всей своей дворни пользовался этот почтенный старик, и когда его не стало, то, кажется, никто не пролил таких искренних, горьких слез, как его же собственные люди, столько лет прослужившие ему и никогда не испытывшие, что такое обида. Да, в то время такое явление, какое представлял собою Егор Петрович Ковалевский, было исключительным, почему он особенно имел право на всеобщее уважение и добрую память.

XXI.

Встреча с М. В. Степановой.—Брат Пьер.—На даче в Полюстрове.—Архитектор Горностаев.—Праздник у графа Кушелева-Безбородка.

В один прекрасный день к жене моей заехала Марья Васильевна Степанова, но, боже мой, как она переменилась за то время, как мы ее не видели! Она превратилась в очень красивую и представительную даму в роскошном модном костюме; но куда девались эта свежесть и жизнерадостность, которые были в ней так милы и привлекательны.

Повидимому, жизнь, да еще петербургская, изломала ее физическое и нравственное существование. Она была говорлива, любезна и даже весела, но в этой веселости чувствовалась какая-то усталость, пресыщенность светскими удовольствиями и фальшь. Какая-то затаенная грусть читалась в ее взгляде, и ловкая маска поддельного веселья не могла совершенно укрыть ее от пронизательного взгляда художника-физиономиста, у которого вдруг явилось чувство глубокой жалости к ней. Как страшно коверкает людей этот шумный водоворот петербургской жизни, просто невероятно, до какой степени они выходят из него изменившимися и непохожими на те милые образы, к которым мы привыкли до тех пор, пока судьба не окунула их в этот мишурный, полный лжи и обмана гибельный омут. Есть, впрочем, люди, которые сумели-таки уцелеть и в этой обстановке, но у этих людей, вероятно, имеется талисман, подобный талисману Леонида*, спасшему его в пещере львов. Люди, желавшие отдалиться от главной струи шумной петербургской жизни, ютились тогда по окраинам города, не потому, что у них не было средств жить в его центре, а просто с целью избежать этого шума и необходимости, заведенной этикетом того времени, бывать „в свете“. Дальность расстояния, отсутствие удобных путей сообщения являлись в этом случае извинительными аргумен-

* Вероятно, Даниила.

тами. Тогда еще не было конно-железных дорог, и ходили щипинские дилижансы, и то лишь по очень немногим направлениям. Впрочем, близость этой всасывающей в себя и губительной атмосферы не могла оставаться без влияния даже и на эти уединенные местечки окраин города, и туда нередко проникали эти заразные микробы, подтачивающие лучшие задатки человеческой души: мягкость, доверчивость, прямоту и не загрязненную еще опытом веру и любовь, дружбу и равенство.

В одно утро, когда я сидел в своей маленькой мастерской и работал, в передней раздался слабый звонок, как обыкновенно звонят чужие люди; какая-то всегда нерешительность слышится в нем. Так оно и вышло, мне доложили, что какой-то незнакомый господин желает меня повидать. Я вышел и увидел перед собою довольно франтоватого француза, парижанина чистой воды. Он отрекомендовался маркизом Лекон и передал мне в кратких словах, что брат мой Пьер Соколов уполномочил его обратиться ко мне с претензией на оставшиеся после смерти нашего отца деньги, и только тут я узнал, что отец, кроме всего имущества, оставленного им нашей матери, между прочим оставил еще три тысячи рублей, которые лежали в безименных билетах в московском банке и по закону должны были быть выданы нам, трем братьям, что, повидимому, и имел в виду заботливый и добрый старик.

Брат Пьер, повидимому, проведал об этом и вот теперь заявил свою претензию на свою тысячу. Я попросил неожиданного посетителя обождать в гостиной, а сам пошел к маме. Она очень взволновалась, услышав от меня требование Пьера, и сначала наотрез отказала выдать полученные уже ею деньги из банка, говоря, что отец предоставил все свое имущество после своей смерти в ее пользу и что брат Пьер еще менее нас с Александром имеет право претендовать на какое-нибудь получение их, потому что вот уже сколько времени он исчез с глаз, не давая о себе никакой вести. Я настаивал, однако, что поведение брата относительно нас не имеет ровно никакого отношения к этому случаю, и что непременно следует ему выдать эту тысячу. Мама расплакалась и наконец, убежденная мною и во избежание скандала, который мог разгореться в случае ее отказа, согласилась, и я вынес доверенному брата деньги, отказавшись в пользу матери от получения своей тысячи. Мне лично больно было, что мама утаила от меня существование этих билетов и этим доказала полную индифферентность к моим многим нуждам и интересам в то время, когда я особенно нуждался в ее поддержке и когда всячески старался устроить ей спокойную и удобную жизнь. Это обстоятельство было продолжением начала моих разочарований, которым впоследствии суждено было прогрессивно продолжаться.

Не правда ли, странно, что я в продолжении целого периода своих записок почти ничего не говорил о своем брате Петре Петровиче, впоследствии сделавшимся известностью своими картинами из охотничьей жизни. Жизнь этого человека протекала вдали от нашего дома, и только он успел опериться, как выпорхнул из родного гнезда, и я очень редко встречался с ним и, наконец, совершенно упустил его из виду. У него был свой круг знакомых, своя среда, в которой он вращался. Еще в очень молодых летах он имел склонность связываться с шалопаями-кутилами, промотавшими свое и отцовское состояние, и находил в этой среде почти удовлетворение своей ищущей сильных впечатлений натуре. Хорошо подготовленный для жизни в шумном светском водовороте столицы, Пьер, благодаря своей наружности и прекрасным манерам, вскоре попал в большой свет, а его недюжинный талант открывал ему двери повсюду, и, насколько этот человек обладал внешним блеском и шлифованностью манер, настолько внутренний мир его был покрыт каким-то таинственным мраком. Он не любил своей семьи, держался всегда в стороне и для оправдания этих своих отношений к ним, особенно резких в то время, когда еще слово „семья“ были священным для каждого из ее членов, он придумал довольно-таки ловкий способ объяснений задававшим ему вопросы о причинах, побудивших его отдалиться от роди-

тельского дома. Он объяснял это тем, что я и мать ненави́дим его, наговариваем постоянно отцу про него разные небылицы и тем постоянно возбуждаем отца против ни в чем неповинного Пьера. Какой, однако, ловкий прием и выход для обеления себя! Ненавидеть своего брата, с которым протекло мое детство, которого я не мог не любить, было невозможно для моей, по природе мягкой, души, я даже старался не осуждать его, находя оправдание многим его поступкам, толкуя их увлечением его возраста и влиянием той среды, в которой он вращался; но мы положительно не знали, где он находился и что делал. Однажды отец спросил меня: „Скажи, пожалуйста, правду ли говорят, что Пьер связался с какой-то французской актрисой? До меня дошли слухи, что он ведет очень разгульную жизнь?“ На это я отвечал ему, что ровно ничего знаю, и не лгал, потому что о своем брате не имел никаких сведений. Правда, мне говорил один из моих светских приятелей, что после какого-то крупного скандала с французским актером на сцене, Пьер уехал с какой-то барыней в провинцию и больше о нем не было ни слуху, ни духу. Что меня возмущало больше всего, это индифферентность, с которою он относился к смерти нашего отца. Слух об этом роковом событии, облетевший художественный мир всей Европы, конечно, не мог не дойти и до него, и вот первым его выражением сочувствия

моей матери было требование этой тысячи рублей, о существовании которой он как-то сумел пронюхать. Как мог он не отозваться на это наше крупное горе? Что мы ему сделали?

Этим бессердечием и эгоизмом он мне напомнил моего дядю Карла Павловича Брюллова, и, вероятно, при рождении Пьер унаследовал через мать эту отличительную черту всех Брюлловых.

В продолжении долгого времени Пьер жил с французской актрисой *Lenie Falcon* и тратил огромные деньги, поддерживая знакомство с богатою и знатною молодежью. Откуда у него могло хватить средств на такую разорительную жизнь, просто невероятно; правда, он много зарабатывал своими рисунками, но все же, как бы много он ни приобретал, этого заработка не могло хватить для покрытия тех колоссальных и непроизводительных трат, которые делал он чуть ли не ежедневно. Его закадычный друг, театрал Голохвастов, с которым он даже одно время жил на одной квартире, кончил очень дурно. В одно несчастное утро его нашли зарезавшимся бритвою. Какое безумие платиться жизнью за такую пустую, хотя и блестящую жизнь! Положение материальных дел брата сильно менялось, то он, как говорится, кутил во всю, то он оставался равно без ничего, и вот тут-то перед ним развertyвалась ужасная пропасть, в которую он мог свалиться ежеминутно. Один из моих това-

рищей, архитектор Бравура ¹⁴⁶, рассказывал мне, что он сам был свидетелем водевильной сцены, во вкусе тех, что происходили не раз в Париже, на Итальянском бульваре.

— Сижу я как-то раз в ресторане Излера,—рассказывал мой приятель:—как вдруг туда бойко входит молодой человек, очень франтовато одетый, в цилиндре и перчатках, небрежно садится за столик около самого окна и заказывает себе обед. Цилиндр его отверстием вверх поставлен на свободный стул, а перчатки небрежно брошены в него. Ресторанная прислуга, всегда почему-то с особенным почтением относящаяся к господам в цилиндрах, с необыкновенным усердием и поспешностью, стараясь заслужить хороший на-чай, подавала ему блюдо за блюдом. Очевидно, молодой франт очень проголодался, так как с поспешностью уничтожал подаваемое и когда было уже съедено сладкое и выпит кофе, он вдруг, как бы увидя через окна своего знакомого (ресторан был почти в уровень с землею), громко крикнул:

— Постой, голубчик, я сейчас на минуту к тебе выйду, только два слова—и с этими словами он вышел из ресторана. А цилиндр продолжал красоваться на прежнем месте, и слуги, глядя на него, были совершенно спокойны, что господин сейчас вернется и уплатит по счету, нельзя же без шляпы, да еще такому франту, идти по улице. Но господин не воз-



Павел Соколов. Из иллюстраций к „Горю от ума“.

вращался. Он преспокойно вынул из кармана своего пиджака маленькую дорожную шапку и, как ни в чем не бывало, надел ее при выходе из ресторана и спокойно продолжал свою дальнейшую прогулку. А цилиндр все попрежнему продолжал красоваться на старом месте.

И увы! этот франт был мой брат Петр Петрович! Вот в каком иногда, значит, безвыходном положении бывал он в тяжелые минуты жизни, что должен был прибегать к подобным фокусам, чтобы наполнить свой желудок; не из другого же чего он шел на это жертвуя цилиндром, стоящим гораздо больше, нежели обед. Дальнейшая судьба Петра Петровича, как художника, известна: после смерти его было много некрологов, посвященных его памяти, как талантливого художника, но характеристики его отношений к семье и его внутренней жизни, конечно, не было, а между тем это так иногда бывает важно составителям биографий впоследствии, когда уже о человеке почти не осталось даже следов; каждое слово, каждое выраженное мнение о нем тогда имеет огромное значение. Издатель Вольф, помещая некролог Петра Соколова, между прочим приписывает ему некоторые мои скульптурные работы (вазы), которые и были воспроизведены в этой статье и подписаны, как работы Петра Соколова, тогда как они принадлежат мне, и сняты с них фотографии были у меня в квартире, когда я их только отделывал. Довольно странное недоразумение!

Зима проходила, уже первые проблески весны носились в воздухе, и мы с женой стали задумываться над тем, где провести бы поуютнее лето. Остаться в городе было прямо невыносимо.

Мы остановили наш выбор на Полюстрове ¹⁴⁷, деревне, расположенной за большою дачей графов Кушелевых-Безбородков. В конце этой деревни был ключ с довольно сильной железной водой, замеченный еще зорким глазом императора Петра I, и при нем уже над круглым прудом немецким медиком было устроено нечто весьма примитивное для пользования этой водою. Сюда стекалось много больных пить эту воду, и почти вся деревня была ими переполнена. Кушелевский парк имел свободный доступ для дачников, и только в те дни, когда у графа бывали вечера, вход в него посторонним возбранялся. Дворец графа находился на набережной Невы и имел свою пристань, от которой шла крытая галерея к саду. Боже мой, как это с тех пор все изменилось, и того духа старинного барств который царил там и который мы еще застали, теперь уже нет и в помине. Матушка моя не переезжала туда вместе с нами, и мы на няли себе просторную и чистенькую избу. Маман же, по приглашению моего дяди Александра Павловича Брюллова, еобиралась ехать с братом Александром на лето в Павловское, на его роскошную дачу, выстроенную им на месте, подаренном ему великим князем. Живя

у своего брата на даче, она была вполне обеспечена, и о спокойствии ее нечего было заботиться. Зато с нами переезжала мать моей жены. Старушка была очень довольна нашим устройством и усердно принялась помогать жене в хозяйстве, и вот жизнь наша вскоре вошла в общую колею дачной жизни, а тут еще приехала из Москвы погостить к нам сестра жены Катя, и мы зажили прелесно, довольные тем немногим, что послала нам судьба. Мы часто гуляли в Кушелевском парке, наслаждаясь его приятной прохладой, и с удовольствием просиживали там по несколько часов сряду. Та часть сада, которая находилась в этой стороне за канавой, называлась почему-то Тиволи, и там было построено что-то увеселительное, молочный домик и кегельбан. Далее красиво раскинулся, как большой обломок зеркала, отражающий в себе окрестные высокие деревья, почти круглый пруд с маленькими островами. На противоположном берегу его виднелись каменные постройки с рядом столбов с перекладинами для виноградника, совершенно в итальянском вкусе, что, может быть, и подало повод назвать так это место. Вид пруда был очень кокетливый и живописный, берега его окаймляла дорожка, от которой шли еще другие бесчисленные дорожки и тропинки во все части парка, где были поставлены различные беседки и павильоны и другие украшения в виде статуй, саркофагов и т. п., которыми в то время

украшались почти все более или менее богатые сады. Не доходя до графского дома с особенным проездом к Неве, стоял деревянный театр с заколоченными ставнями и, повидимому, уже много лет пустовавший, еще далее виднелся с круглым куполом на колоннах греческий павильон, развалины которого и теперь еще стоят на прежнем месте. Во время одной из таких прогулок я встретил архитектора Горностаева брата того, что строил Сергиевское подворье на Фонтанке подле дома Белосельского (потом дворец вел. кн. Сергея Александровича) и часовню в конце Гостиного двора, около городской думы. Этот мой приятель был человек очень веселого темперамента, а потому и был желанным гостем в моем доме, где скуке не было места. С ним мы и совершали наши дальнейшие прогулки и посещали танцевальные вечера, устраиваемые дачниками. Как просто и весело было на этих вечерах! Нанимался случайный оркестр, и в садике около вод публика веселилась и танцевала до утра в устроенном продолговатом павильоне. В другие дни играла военная музыка и собиралось множество гуляющих. Скуки не испытывалось, и все как-то дышало жизнерадостностью, удивительный контраст теперешним дачным местам где царит какой-то мрак и уныние.

В город я ездил редко и, когда это бывало необходимым, садился в общественную шапинскую карету и через час с лишним бывал уже в Петербурге.

Но вот наступило воскресенье, и в нашем саду был объявлен бал. Без всяких приготовлений туалетов, о чем нас предупредил Горностаев, и, по его выражению, „по простоте“, мы всей гурьбой, даже в сопровождении старушки мамы жены, отправились пешком к месту увеселения. Галерея была освещена, и павильон разукрашен разноцветными фонарями, придававшими ему особенно нарядный и праздничный вид. У входа уже толпилась молодежь, в ожидании прихода своих дам, которые мало-по-малу прибывали и парами со своими кавалерами уходили внутрь павильона. Заплативши входную плату и записавшись в книгу, мы вошли туда за другими. Франтоватый молодой человек с розеткой уже суетился, бегая из одного конца павильона в другой, осматривая внимательно каждого вошедшего. Вскоре заиграл оркестр, состоявший из пяти каких-то чумазых артистов, и начались танцы. Веселились все от души, и раскрасневшиеся личики барышень сияли довольством и счастьем. Я также танцевал, но моя жена принуждена была сидеть среди наших новых знакомых: ее положение, называемое почему-то интересным, не позволяло ей пуститься танцевать. Далеко за полночь царил веселье в павильоне, и только со вторыми петухами публика стала редеть и расходиться по дачам. Ночь была светлая и даже уже начала занимать заря, когда мы подошли к нашей избушке.

Однажды, когда я заканчивал „Римский карнавал“ для Ковалевского, ко мне зашел Горностаев, работа моя ему понравилась, и он между прочим сказал мне, что граф Кушелев-Безбородко¹⁴⁸ большой любитель живописи и у него во дворце имеется прекрасная картинная галерея. Он советовал мне посмотреть ее, говоря, что бывает у графа и встречается в его доме постоянно радушие и гостеприимство.

— Как же,—сказал я,—удастся мне это сделать, когда я лично не знаком с графом?

— Ах, это ничего не значит,—отвечал Горностаев:—вы художник, а граф вообще ко всем артистам относится очень сочувственно. Да вот,—вспомнил он,—у них на будущей неделе будет праздник и съедется много гостей. На пруде будет устроена иллюминация и с островов пущен фейерверк, а на воде будут плавать лодки, украшенные гирляндами из цветов и фонарями. Я буду тоже там, хотите, я и вас проведу?

Но я поспешил отказаться от этого предложения, так как не считал возможным быть в доме не приглашенным.

— Жаль, что мы раньше не заговорили об этом, а то бы я вас успел представить графу,—сказал Горностаев:—но все же я вас проведу на очень удобное место в парк, откуда вы прекрасно увидите все празднество.

На это я согласился.

Картину я свез в Петербург, но Ковалевского не застал дома, он уехал в Петергоф и не скоро должен был возвратиться. Оставив картину камердинеру, я просил меня известить о возвращении Ковалевского, но не присылать на этот раз арапа, до смерти напугавшего мою прислугу, и уехал на дачу. Дни шли за днями и я каждый день подолгу просиживал в саду с книжкою в руках, и не читал, потому что мне не давали читать знакомые, подходившие с приветствиями и разговорами, передо мною текла вода того железного источника, которому была обязана своим существованием вся деревня. Вода эта журчала у моих ног довольно быстрым потоком, местами задерживаемая искусственными плотинами из группы камней. Моим наблюдениям представлялся неистощимый материал. Тут резвились и бегали беззаботные детки, тут, весело болтая, с жизнерадостными личиками проходили барышни в толпе веселых же жизнерадостных молодых людей, там толстяк переваливаясь, медленно двигался к источнику со своей кружкой, тут дама с девочкой торопливо проходили, причем девочка не поспевала переставлять свои маленькие ножки и ежеминутно спотыкалась. Все это сливалось в большую, типичную картину, представлявшую собой богатый материал для художника. С левой стороны передо мною открывалось довольно большое поле и к вечеру оно обливалось румяной зарею и было

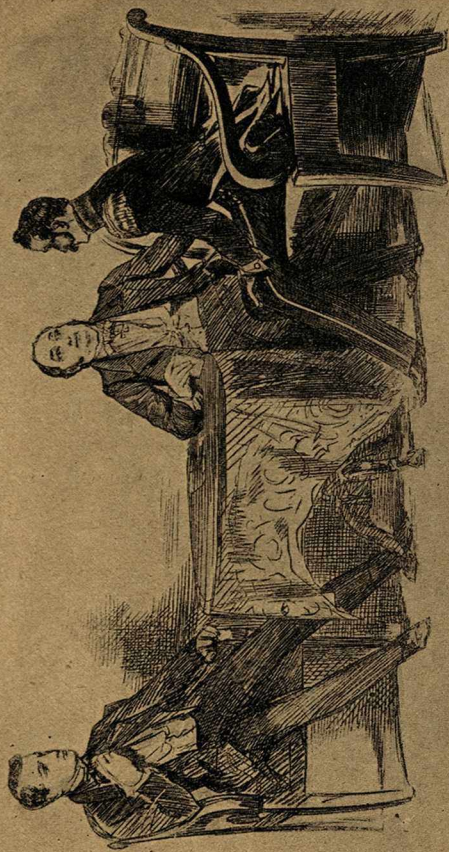
ослепительно прелестно в лучах заходящего солнца.

Но вот приближался день графского праздника, и мы все готовились хоть издали полюбоваться на предстоящее чудное зрелище. В целой кампании наших дачных знакомых мы отправились на противоположный берег озера, откуда видеть все было возможно как с большого амфитеатра.

Очарованный небывалым зрелищем этого торжества на воде, я вернулся домой и, под свежим впечатлением виденной эффектной картины, взял лист бристольской бумаги, сделал два рисунка, изображавшие графский праздник, и они очень удались.

К обеду к нам пришел Горностаев и, увидя эти рисунки, пришел в неописанный восторг, прося меня разрешить ему показать графу эти два вида. Конечно, я не протестовал и отдал Горностаеву мои картины, и он с ними сейчас же отправился к графу.

На другой же день Горностаев пришел к нам утром и объявил, что граф мои рисунки оставил у себя и очень желает со мною познакомиться. Приведя себя в порядок, как подобало для данного случая, я в сопровождении Горностаева отправился к графу. Он принял нас с своим роскошном кабинете, и как только я увидел самого хозяина дома, то сразу узнал в нем старика графа Кушелева-Безбородка, уже немного знакомого мне, у которого



Павел Соколов. Из иллюстраций к „Горю от ума“.



я как-то раз был с моим отцом зимою в Петербурге и осматривал его коллекцию картин.

Он повел нас в свои залы, блиставшие золотом и разными дорогими вещами. Между множеством фресок, бюстов и статуй я увидел две мраморные статуи изящной итальянской работы, великолепные бронзовые отливки, несколько больших масляных картин, вывезенных из-за границы, несколько крупных портретов, и женских и мужских, серьезно или с нежной улыбкой смотревших на меня с холста, заключенного в толстые богато вызолоченные рамы. На столах было разложено множество дорогих и изящных вещей: альбомы дорогих изданий с гравюрами, старинных и новейших времен миниатюры, табакерки и пресс-папье художественной отделки.

Насмотревшись вдоволь на эти прелестные редкие вещи, я стал прощаться с графом, он просил посещать его дом и вдруг спросил, сколько он мне должен за оставленные два рисунка. Я сказал, что, начав их, вовсе и не думал о продаже, но что обыкновенно за акварели такой величины я беру по 50 рублей. Граф просил меня обождать, пошел в свой кабинет и принес мне две сторублевые депозитки.

Вот как поступали настоящие баре доброго старого времени.

У меня в этом году нашелся еще один товарищ по академии, живописец Козлов, которого я встретил

на вечере у графа Федора Петровича Толстого и который меня познакомил с художником Федотовым. Я его встретил во время своих обычных прогулок, и, как оказалось, он жил теперь в собственном доме на Неве. Однако, это был не простой дом, а имеющий свое небезинтересное прошлое и связанный в некотором роде с историческим прошлым капитальнейшей из русских построек — Исаакиевского собора.. Построен был он знаменитым зодчим Монфераном, воздвигнувшим этот колоссальный собор. Очень удачный экспромт однажды был наклеен на ограду, окружавшую место построек собора:

„Вот памятник двум царствиям приличный:

Низ каменный, а верх кирпичный“.

И действительно, настоящий мрамор был только в обложке низа здания, а в куполе он был уже фальшивый.

Дом, который я теперь осматривал, строился из материала, принадлежащего этой монументальной постройке, но почему-то, должно быть по рессеянности, попавшего на Выборгскую сторону. Когда мы с Козловым осматривали его и взошли на чердак, то я был поражен богатством его стропил и откосов, они были сделаны из корабельного мачтового леса и так как по положению своему не могли подвергнуться никакой порче, даже от продолжительного времени, то имели вид по своему объему и тщательной отделке, скорее какого-то столярного про-

изведения, нежели обыкновенных плотничьих балок. Весь дом был так прочно выстроен, что когда в 1871 г. разразилась страшная катастрофа взрыва на Пороховых, удар отразившийся в земле во всей этой местности, был настолько силен, что повалилось много строений, но монферановский дом только дрогнул, но устоял, не дав ни одной трещины.

Последнее событие в Крыму, где положение нашей армии принимало самый ужасный характер, заставило меня подписаться на какую-нибудь газету. Я выбрал „Петербургский Листок“, который тогда начал уже издаваться А. А. Соколовым, моим однофамильцем и хорошим знакомым, сделавшим себе имя своими беллетристическими произведениями, начавшимися, кажется, с его „Театральных болот“. Кроме того, я купил несколько номеров „Художественного листка“ Тимма, очень хорошо передававшего военные и другие сцены этой, можно сказать, эпопеи. Там же помещались очень хорошо сделанные портреты наших героев и генералов. Героями я называю не одних незабвенных Корнилова, Нахимова и других, но также пластунов и простых матросов, покрывших неувядаемой славой своею личною храбростью русское воинство и представлявших собою настоящий тип русского солдата, с его гениальной терпеливостью и выносливостью, воспитанными в нем в зачатке еще Суворовым. Не даром же первый военный гений Наполеон зорким

своим глазом определил эти качества русского солдата, сказав, что, если бы у него были такие солдаты, то он завоевал бы весь мир. Каждое утро я прочитывал газету и с трепетом ожидал следующего номера. Сила и значение событий уже не находили препятствий в цензуре и говорили сами за себя. Больше уже лгать было невозможно, ужасная истина раскрывалась сама собою. Притихли и наши гулянья с музыкой и с разными затеями, чувствовалось какое-то неприличие поддаваться веселости. Севастополь стонал от ударов неприятельских бомб, и эти стоны отражались в сердце каждого русского человека глубокою неизлечимою ранюю.

Графское гулянье на пруде уже не повторялось, и вообще в его доме как будто все застыло, и лишь в саду изредка раздавался шум от катанья кегельных шаров. Даже шарманки перестали раздражать наши уши, словом, всюду господствовали мрак и уныние. Был уже август месяц, дни становились короче и вечера длиннее, и это особенно замечалось в нашей деревне, где освещение было очень скудное, а тут начались дожди и непролазная грязь, выводившая меня положительно из терпения. Я поехал в город, но прежде, чем нанять квартиру, отправился в Павловск повидаться с татап и спросить ее, намерена ли она жить попрежнему с нами, или остаться у своего брата. Я был почти уверен, что татап не останется у дяди, так как до меня

дошли уже слухи о том, что ей там оказалось не так хорошо на самом деле, как мы предполагали в начале. Брюллов был уже богатый человек, сделавшийся ужасным эгоистом, а его сонная жена была совершенно лишена всяких чувств, и, конечно, не могла войти в положение моей матери, оказать ей нравственную поддержку. Не такие люди были Брюлловы, и ожидать от них собственно другого было довольно трудно. Теперь они с нетерпением ожидали отъезда татап и с деланной лаской встретили меня, видя приближение этого момента. Мамаша, со своей стороны, также не осталась бы у своего брата и просила меня нанять такое помещение, чтобы и для нее была только одна отдельная комната. Брат же Александр уже почти условился жить со своим одним товарищем по гимназии. После долгих и тяжелых поисков я нанял-таки очень удобную квартиру на Сергиевской улице, где были для всех нас очень удобно расположенные комнаты. Работать продолжал с прилежною настойчивостью и охотою еще и потому, что вскоре должен был сделаться отцом, и это чувство придавало мне еще больше энергии—теперь уже не одно, а два существа должны были быть на моих плечах.

Как раз кстати я получил крупный заказ для преображенского полка, предоставленный мне моим товарищем по академии архитектором Бравура. Я должен был написать большой образ Преобра-

жения, который должен был быть помещен на задней стороне большого иконостаса в Преображенском соборе. Так как образ этот предполагался быть очень больших размеров, то и помещение для работы в моей квартире было недостаточно и мне было предложено поместиться в арсенале полка, большом зале в шесть окон, находящемся в том же здании, где помещался лазарет для высших чинов. В арсенал же и библиотеку был ход из сеней на лево в нижние этажи, что для меня было очень удобно. С другой стороны этого зала помещалась комната дежурного офицера, и там часто собиралась довольно веселая компания его товарищей-офицеров, происходили оживленные беседы, и часто это милое общество воспитанной и образованной молодежи приглашало меня позавтракать в их компании. Хотя эти завтраки и отвлекали меня от работы, но я с удовольствием уделял им это дорогое время потому, что действительно была приятная беседа с этими людьми. Какие, как вспомнишь, тогда встречались развитые и глубоко начитанные юноши, сведущие и понимающие искусство, интересующиеся литературой и науками; как все это резко изменилось с тех пор в этом отношении, и теперешний офицер уже далеко не тот в своем развитии, каким он был в те времена, давшие из этой среды военных столько выдающихся талантов и деятелей на славу России.

За образец своей работы я, конечно, взял Ра-

фаэля и, достав с этой композиции гравюру, разбил ее на грады и привел в большую величину. Окончив абрис, я принялся за краски, и дело пошло двигаться своим порядком. Большею частью меня окружали тишина и спокойствие, и я пользовался этим временем, чтобы загнать работу на случай новой помехи. Самый зал, в котором я работал, заключал в себе очень много интересных предметов, потому что это был полковой арсенал, в котором сохранялись образцы всевозможного оружия и форм, употреблявшихся в Преображенском полку со дня формирования.

Мне рассказывали офицеры, что у них недавно праздновали юбилей по случаю двухсот лет существования полка, и в этом самом зале был накрыт банкет, за которым прислуживали гостям полковые драбанты, одетые в различные формы полка, периодически переменявшиеся в продолжении нескольких царствований. Зрелище было великолепное. В числе замечательных вещей, бывших в этом зале, мне показали на связку знамен, стоявших в углу его, и когда мне ее развернули, то одно древко обратило на себя внимание своей уже черезчур грубой простотою. Это была просто длинная, толстая палка, наподобие тех, что употребляют на барках при отпихивании, с навернутым на нее грубым куском полотна довольно широких размеров, походившим скорее на простыню, чем на знамя. На этой-то про-

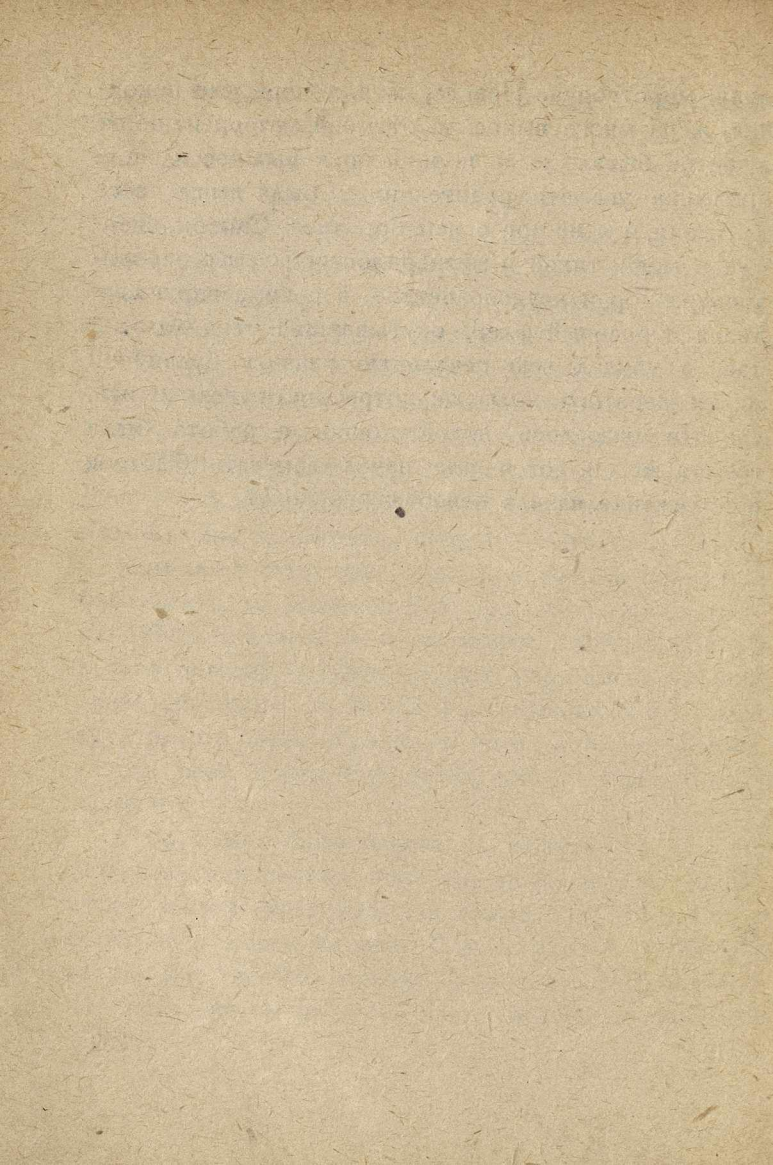
стыне были написаны толстой кистью, обмакнутой, вероятно, в жидко разведенный деготь, слова, из смысла которых не трудно догадаться, что была одна из тех прокламаций, которые высылал вперед Пугачов, когда приходил к какому-нибудь городу или крепости перед их штурмом. Эта прокламация была пересыпана кое-какими крепкими словами без всякого стеснения и деликатности.

Тут же было и кое-какое оружие и предметы самого примитивного вида, захваченные, вероятно, солдатами отряда Михельсона при поражении и поимке Пугачова; эти вещи представляли собою пеструю смесь топоров, дреколий с наконечниками на подобие пик и, наконец, попросту—дубин.

Смежно с этим арсеналом помещалась полковая библиотека, из которой, благодаря любезности офицера-библиотекаря, я пользовался книгами, но и в этой богатой библиотеке, как и во многих других, оказалось много разбитых и разрозненных от неаккуратного с ними обращения читателей. Уж такова участь всех почти библиотек, как частных, так и казенных.

Работа моя была блестяще окончена, а с нею окончилась и первая половина моей, все же радостной жизни; начались неведомые мне дотоле испытания и неприятности. В доме у меня начались ссоры: две хозяйки конечно не могли ужиться в полном согласии, и на меня часто выпадала тяжелая

доля миротворца. Правда, моя, теперь уже покойная, жена много выносила от моей матери и мне от души ее бывало жаль порою, но я был бессилен, — привычка уважать родительницу была выше всего для меня, и я не мог с нею бороться. Словом, впервые в моей тихой и жизнерадостной семье зародились раздор и неудовольствие, а с ними вдруг свалился и розовый флер, окутывавший меня до этих пор, я увидел всю печальную изнанку будничной жизни женатого человека: потребности увеличились, средств оказалось недостаточно, а работа была все та же, и вот я уже начал замечать быстрое приближение начала неизбежного конца.



ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Соколов, П. Ф. (1787 — 1848) — см. о нем в предисловии.

2. Раевский, Николай Николаевич (1771—1829) известный боевой генерал, герой 1812 г.; его старший сын, Александр Николаевич (1795—1868), был другом Пушкина и одно время имел на поэта огромное влияние.

Пушкин называл Н. Н. Раевского „свидетелем Екатерининского века“ и „человеком без предрассудков“ (П. Анненков — „Пушкин в Александровскую эпоху“. СПб., 1874, стр. 152).

Н. Н. Раевский изображен в „Записках“ его адъютанта, поэта Батюшкова (Сочин., 1877, т. II).

3. Егоров, Алексей Егорович (1776 — 1851), академик, проф. Акад. Худ., исторический живописец, автор картины „Истязание Спасителя“ (1814) и других произведений на евангельские сюжеты; преподавал в Ак. Худ. с 1798 по 1840 г.

4. Пищалкин, Андрей Андреевич (1817—1892), ученик гравера Уткина; с 1855 г. — академик, с 1862 — профессор. П. П. Соколов ошибается, называя его одним из преподавателей Академии в эпоху ученичества П. Ф. Соколова: последнего уже не было в живых, когда Пищалкин стал преподавать в Академии.

5. Логановский, Александр Васильевич (1810—1855), известный скульптор, учился в Ак. Худ. у Демута Малиновского, окончил курс в 1833 г.; с 1844 г. — академик, с 1854 — профессор Ак. Худ. Автор статуи „Парень, играющий в свайку“, двух барельефов в Исаакиевском соборе и ряда скульптур

в Моск. храме Христа-Спасителя и др. Упоминание Логановского в числе преподавателей времен П. Ф. Соколова — также анахронизм.

6. Шебуев, Василий Кузьмич (1777—1855) учился в Ак. Худ. у Акимова и Угрюмова. В 1807 г. получил звание академика; был профессором и ректором Ак. Худ., директором Шпалерной мануфактуры; заведывал живописными работами при росписи Исаакиевского собора. Автор многих религиозных картин, плафонов и пр. Имел большое влияние на русских живописцев первой половины прошлого века.

7. Басин, Петр Васильевич (1793—1877), исторический живописец, академик с 1830 г., профессор Ак. Худ. с 1831 г.; автор ряда произведений на мифологические и евангельские темы и нескольких копий с картин Рафаэля; составил курс анатомии для учеников Ак. Худ.³

8. Брюлло (Брыло, Brüllo), Павел Иванович (1760—1833), скульптор-резчик, преподавал в Ак. Худ. резьбу по дереву, золотарное и лакировальное мастерства; в 1794 г. получил звание академика орнаментальной скульптуры за изготовленные им трон, раму, кресло и пр. В 1799 г. класс резьбы по дереву был закрыт, и Брюлло был уволен из Ак. Худ.

9. Брюллов, Федор Павлович (1795—1869), живописец исторический; учился в Ак. Худ. с 1803 по 1815 г.; в 1834 получил звание академика, в 1858 — профессора; участвовал в живописных работах для Исаакиевского собора и др. церквей.

10. Брюллов, Александр Павлович (1798—1877), известный архитектор; учился в Ак. Худ. с 1810 по 1821 г. В 1831 г. получил звание академика, в 1832 — профессора. Им построены в Петербурге: Михайловский театр и Петровская лютеранская церковь, Пулковская обсерватория и пр. Занимался также живописью; известно множество акварельных портретов его работы.

11. Брюллов, Карл Павлович (1799—1852), в те годы, о которых рассказывает П. П. Соколов, находился в зените своей славы: в 1834 г. в Петербурге была выставлена его кар-

тина „Последний день Помпеи“, написанная по заказу гр. Разумовской (перед тем она экспонировалась в Риме, Милане и Париже). П. П. Соколов сообщает, что картина была выставлена в Академии Художеств. Это не совсем верно: первоначально она была выставлена в Зимнем дворце, затем куплена А. Н. Демидовым и принесена в дар Академии Художеств, где пробыла до 1850 г.; затем картина была передана в Эрмитаж откуда поступила в Русский Музей.

В 1836 г. Брюллов был назначен профессором Ак. Худ. и пробыл в этой должности до 1849 г., когда уехал лечиться в Марчиано (около Рима).

П. П. Соколов дает в дальнейшем (глава IV) крайне отрицательную характеристику своего знаменитого дяди; она совпадает в некоторых частях с суждениями других современников К. П. Брюллова.

Ф. Г. Солнцев, знавший Брюллова еще учеником Академии говорит, что „Брюллов был прекрасным товарищем, но имел некоторые причуды или странности. Он не любил заниматься днем, за то целые ночи просиживал за работой“. „В учебных классах всегда спал и, вообще, науками занимался очень небрежно“. „Воспитанники приглашали, за ситник с маслом, Брюллова к себе и просили что-нибудь показать или нарисовать; он никогда не отказывался от таких приглашений. Это происходило, вероятно, от скупости Брюллова, которая не оставляла его и впоследствии. Своих знакомых, даже таких, как Глинка Пушкин и др., он всегда принимал у себя утром, так как вечером нужно было хоть чай подать“ (Воспоминания Ф. Г. Солнцева, „Русская Старина“, 1876, март, стр. 624—625).

Другой современник дает следующую характеристику К. П. Брюллова: „Человек маленького роста, плотный; вполне развитой торс на очень коротеньких ножках завершался прекрасной головой, напоминающей Аполлона Бельведерского Брюллов жил воображением, умом и расчетом, не всегда говорил то, что думал и чувствовал; его трудно было расшевелить,

один только раз в жизни видел я, как слеза покатилась из глаз его" („Русская Старина“, 1871, июль, стр. 42, 48). Некоторое сходство с Аполлоном придавали Брюллову черты лица и шевелюра; маленький же рост и полнота нарушали это впечатление. Художник Меликов в своих записках („Русская Старина“, 1896, июль, стр. 659) вспоминает: „Как теперь вижу Карла Павловича, маленького роста, полного, с широкой грудью. Общее очертание головы напоминало антику с вьющимися волосами светло-русыми. Иссине—серые глаза, постоянно обращенные вверх, выражали вдохновение. Был прост и естествен в обращении, владел силою слова, остроумием и сарказмом. Часто бывал нетрезвый и в подобном состоянии любил проповедывать“.

12. Брюллов, Иван Павлович, был учеником Ак. Худ. в начале XIX в., курса не окончил; годы его рождения и смерти неизвестны.

13. Апраксин, граф Степан Федорович (1792—1862), генерал адъютант, генерал от кавалерии, кавалер всех российских орденов. Был участником войны 1812 г. и польской кампании, с 1824 по 1833 состоял командиром кавалергардского полка. Был женат на дочери неаполитанского посланника гр. Серра-Каприола. Существуют три литографированных портрета Апраксина, один из которых помещен в „Истории Кавалергардского полка“, изд. 1859 г.

14. Строгановская дача на Черной речке была перестроена в доходный дом в 1898 г. В первоначальном своем виде она известна по многочисленным гравюрам и по картине ее строителя—А. Н. Воронихина (1759—1814), находящейся в Русском Музее. Строгановская дача воспета Гнедичем в идиллии „Рыбаки“. А. С. Строганов не жалел денег на украшение сада. По поводу его расточительности Екатерина II сказала: „вот человек, который целый век хлопочет, чтобы разориться, но не может!“ Она изобразила Строганова в своей комедии „Обошленный“ под именем Родотова. Державин в одном из

своих стихотворений, отмечая интерес Строганова к кабалистике, говорит, что он „девиц и дам магнетирует, из камней золото варит“.

В Строгановском саду находился античный саркофаг, барочная статуя Нептуна, статуи Геракла и Флоры, сфинксы, мраморные вазы и пр.

При жизни Строганова (он умер в 1811 г.) в его саду устраивались празднества. После его смерти продолжался впуск публики в сад; в 40-х годах в саду были устроены различные развлечения для детей.

О Строгановской даче см. М. Пыляев „Забывшее прошлое окрестностей Петербурга“ 1899 (стр. 6—9) и В. Курбатов. „Петербург“ (стр. 168—170).

15. О Петре Петровиче Соколове см. вводную статью.

16. О пансионе Журдана имеются сведения в дневнике матери знаменитого английского живописца Д. Уистлера, который учился в 40-х годах прошлого века в Петерб. Ак. Худ. Мать Уистлера отзывалась об этом пансионе гораздо менее одобрительно, чем Соколов; она сообщает, что там господствовал военный режим, суровый и утомительный, кормили простой пищей (хлеб с солью на завтрак, овощи на обед). Это показание расходится с сообщением Соколова о „французской кухне“. Казарменный режим пансиона Журдана плохо отразился на здоровье Джемми Уистлера и его брата, и оба мальчика были вскоре взяты родителями домой.

17. Памятник Крылову в Летнем саду был исполнен Клодом ф.-Юргенсбургом в 1855 г.

18. Решетка Летнего сада сооружена в 1778—1784 по проекту арх. Фельтена (1730—1801); решетка эта, сочетающая изящество и простоту рисунка с нарядностью и величием композиции, принадлежит к числу архитектурных шедевров XVIII в. В эпоху, о которой рассказывает Соколов, решетка еще не была испорчена поставленной впоследствии часовней (посредине решетки).

19. Летний Дворец (Петровский дворец), построенный в 1710—11 гг., дает некоторое понятие о внутренней отделке дворцов Петровской эпохи, но, благодаря многим изменениям, утратил типичные бытовые черты своего времени.

20. Че в к и н, К. В. (1802 — 1875)—генерал-от-инфантерии, реформатор в области горного дела в России, один из инициаторов устройства железных дорог в России.

21. „Последний день Помпеи“ произвел сенсацию в Риме, где картина была написана и впервые выставлена. „Брюллов, вы—коллос!“ — воскликнул Каммучини, посетивший выставку „Это не картина, это — целая эпопея!“—сказал Вальтер Скотт. В России „Последний день Помпеи“ вызвал восторженную статью Гоголя (см. полн. собр. соч. Н. В. Гоголя, изд. „Печатник“, т. VII, стр. 258—262), который называл ее „полным всемирным созданием“, в котором „все заключилось“. По мнению Гоголя, „Брюллов—первый из живописцев, у которого пластика достигла верховного совершенства“. Гоголь называет Брюллова гением, созданием которого можно наслаждаться „до упоения“. „Все картина упруга и роскошна“, главное достоинство ее в „отсутствии деальности“; в ней „целое море блеска“. „Выше всего в Брюллове „необыкновенная многосторонность и обширность гения“. „Он силится схватить природу исполинскими объятиями и сжимает ее с страстью любовника“. „Последний день Помпеи“ Гоголь сравнивает с оперою, „если только опера есть действительно соединение тройственного мира искусства живописи, поэзии и музыки“. Этот восторженный отзыв Гоголя крайне характерен, как показатель отношения современников Брюллова к его картине. С „развенчанием“ Брюллова и в частности „Последнего дня Помпеи“ выступил в новейшее время А. Н. Бенуа (см. „Мир Искусства“, 1900, т. III и „История русской живописи“ в XIX в., изд. „Знание“, 1901).

22. Д и м е р т, Егор Иванович (р. в 1788 г., год смерти неизвестен); архитектор, учился в Ак. Худ. с 1800 по 1809 г.: работал под руководством арх. Стасова. В доме Димерта жил

И. И. Панаев, у которого происходили литературные сборища, описываемые Соколовым в главе VI.

23. II. П. Соколов отзывается с большой симпатией о М. Е. Панаевой, матери Ив. Ив. Довольно сдержанный отзыв дает о ней в своих воспоминаниях жена И. И.—А. Я. (см. „Воспоминания“ А. Я. Панаевой, изд. „Academia“, 1927, стр. 112). „Мать Панаева,—пишет она, после смерти дедушки, переселилась в Петербург и жила по барски. Она так умела обойти своего слабохарактерного сына, что он жил в полном неведении, откуда берутся деньги для богатой обстановки жизни матери“. Из воспоминаний современников М. Е. Панаевой мы узнаем, что она очень нелюбезно отнеслась к Белинскому, поселившемуся на две недели в квартире Панаевых (1839), что у своего племянника, мальчика, приехавшего в столицу учиться, она выманила деньги, данные ему отцом на ученье, и что, вообще, мать Панаева была „мотовка“ и „выжига“, как формулирует К. И. Чуковский впечатление от рассказов современников.

Иван Иванович Панаев (1812—1852) (см. о нем главу VI) известный журналист, автор „Литературных воспоминаний“ и беллетристических произведений, был в 40-х годах одной из весьма видных фигур в петербургском литературном мире. О нем см. воспоминания В. А. Панаева (Русская Старина“, 1901, № 9), А. Я. Панаевой (изд. „Academia“, 1927), П. В. Анненкова (изд. „Academia“, 1928), Д. В. Григоровича (изд. „Academia“ 1928). Панаев был в свое время одним из главарей „натуральной школы“, видным беллетристом, публицистом-сатириком. В 50-х годах слава его стала угасать, его бывшие соратники стали относиться к нему почти пренебрежительно. Личная жизнь его приняла также тяжелый оборот, Некрасов, которого он выручил в начале его карьеры из нужды и сделал хозяином журнала „Современник“, завладел с 1848 г. женой Панаева и этот „брак втроем“ продолжался до самой смерти Панаева, т.-е. целых 15 лет, вызывая сплетни и пересуды.

И. С. Тургенев в своих „Воспоминаниях о Белинском“

называет Панаева „человеком добродушным, но крайне легкомысленным и способным схватить лишь верхи верхушек“. Грановский также говорит (в одном из писем к жене) о добродушии, но пустоте Панаева. Белинский в письме к Боткину (1840 г.) говорит: „У Панаева бесконечно глубокое чувство изящного...“. В том же году, в письме к М. А. Языкову он сообщает, что Панаев „отрешается от своих предрассудков и излечивается от своего прекраснодушия. Он будет человеком, потому что он хочет им быть“. Впрочем, отзывы Белинского о Панаеве крайне противоречивы, он называет его в некоторых письмах ветрогонном, эгоистом, сплетником, а в других говорит, что в нем „есть что-то доброе и хорошее“, что он „иногда умен положительно“.

А. А. Фет („Мои воспоминания“, т. I) говорит о Панаеве, „что жажда всяческой жизни была для него непосредственным источником всех восторгов и мучений, им испытанных. Не раз помню его ударяющим себя с полукомическим выражением в грудь туго накрахмаленной сорочки и восклицаящим, как бы в свое оправдание:—ведь я человек со вздохом! Уже одно то, что он нашел это выражение, доказывает справедливость последнего“.

24. Григорович, Василий Иванович (1792—1865), конференц-секретарь Академии Худож.; преподавал в Академии теорию изящного; издавал „Журнал изящных искусств“.

25. Балаган Лемана находился на Адмиралтейской площади. В книге М. Пыляева „Старый Петербург“ (СПб., 1887) описан пожар балагана Лемана, случившийся в 1836 г. и вызвавший множество жертв.

26. Живокини, Василий Игнатьевич (1808—1874), заслуженный артист Моск. Малого Театра; исполнял партию баса в Большом Театре (с 1824 г.).

27. Львов, Алексей Федорович (1798 — 1870), композитор и скрипач, служил в военных поселениях, потом был флигель-адъютантом. В „Русском Архиве“ 1884 г. напе-

чатаны его записки; в „Русской Старине“ 1880 г. — записки его мачехи.

28. К этому времени относится портрет А. С. Пушкина, написанный П. Ф. Соколовым в 1836 г. (с натуры). Он был подарен Пушкиным своему другу А. О. Россет, затем портрет перешел к П. Н. Батюшкову, потом к кн. В. П. Мещерскому. В 1884 г. этот портрет был воспроизведен в „Русской Старине“, т. 41 (хромолитография Брезе).

Отец поэта, С. Л. Пушкин, упоминая в „Отечественных Записках“ (1841, № 4) о портрете раб. Соколова, говорит, что в нем „много отступлений от верности и сходства“. Напротив, фотограф Левицкий, знавший Пушкина, сообщил С. Ф. Либровичу, что он считает акварель Соколова наиболее похожей из всех портретов поэта: „Это—единственный настоящий Пушкин“ С. Либрович. „Пушкин в портретах“, СПб, 1890, стр. 42).

В самом начале 40-х годов П. Ф. Соколов исполнил, в числе множества других работ, портреты гр. Матв. Юрьев. Виельгорского, играющего на виолончели, и портреты Николая и Антона Григорьевичей Рубинштейнов. В 1842 г. П. Ф. уехал за границу и пробыл там до 1844 г.

29. Этот эпизод изображен И. Е. Репиным: „Пушкин в припадке веселости на коленях вымаливает у Брюллова рисунок“ (воспроизведен в собр. соч. Пушкина, под ред. С. А. Венгерова изд. Брокгауза).

30. Тон, Константин Андреевич (1794—1881), архитектор, учился в Ак. Худ. с 1803 по 1815 г.; таким образом, сообщение П. П. Соколова, что К. А. Тон был товарищем его отца по выпуску—неверно. П. Ф. Соколов был выпущен на 5 лет раньше. Брат К. А. Тона—Александр Андреевич (также архитектор) окончил академию в 1810 г., одновременно с П. Ф. Соколовым.

31. Росси, Александр Карлович (ум. в 1846 г.), архитектор, окончил Ак. Худ. в 1842 г.

32. Каминский, Иосиф Степанович, архитектор, ака-

демик и профессор архитектуры, строил московский храм Христа Спасителя.

33. Резанов (у Соколова неверная транскрипция—Рязанов), Александр Иванович (1817—1887), акад. и проф. архитектуры; учился в Ак. Худ. с 1827 по 1839 г., был товарищем главного архитектора при постройке московского храма Христа Спасителя. Построил дворец в. кн. Владимира Александровича в СПб. дворец в Ливадии и др.

34. Кракау, Александр Иванович (1817—1888), акад. и проф. архитектуры; учился в Ак. Худ. с 1831 по 1839 г.

35. Адамини, Фома Львович (род. в 1823 г.), архитектор, учился в Ак. Худ. с 1836 по 1839 г.

36. Бруни, Александр Константинович (род. в 1825 г.) окончил Ак. Худ. в 1844 г.; акад. архитектуры и преподаватель Ак. Худ.

37. Тимм, Вильгельм (1820—1895), сын рижского (а не ревельского, как сообщает Соколов) бургомистра; в России именовался „Василием Федоровичем“; учился в Ак. Худ. (с 1835 по 1839) у Зауервейда. Выдающийся иллюстратор-сатирик, отразивший типы и быт 40-х и 50-х годов, подражатель Гаварни; иллюстрировал „Сенсации г-жи Курдюковой“ Мятлева, участвовал в „Листке для светских людей“ (1843—1844) и мн. др. изданиях. Особенно знаменит его „Русский Художественный Листок“.

„Русский Художественный Листок“ издавался с 1 января 1851 г. по 20 декабря 1862 г. (а не в 1854 и 1855 г., как указывает Соколов), и выходил выпусками три раза в месяц: 1-го, 10-го и 20-го числа. Каждый выпуск заключал в себе одну или несколько страниц текста в четвертку и один лист рисунков в формате большого листа. Рисунки частью складывались пополам, по размеру текста, частью же наворачивались на палку вместе с текстом и обшивались холстом или клеенкой. Такие экземпляры с несложными рисунками были дороже (вместо 9 р. стоили: обшитые холстом 12 руб., обшитые

клеенкой 14 руб. за 36 годовых выпусков). Все рисунки в „Русском Худож. Листке“ исполнены на камне самим издателем и отпечатаны в две или более краски в литографии Мюнстера. На каждом рисунке указан номер, соответствующий номеру выпуска, и год издания, кроме 1851 года, где последней пометы нет. К каждому году (кроме того же 1851 года) приложено оглавление всех рисунков и статей, помещенных в тексте. Текст, заключающий описание рисунков, написан разными авторами, главным образом, Н. Гречем и Ф. Булгариным. Кроме отдельных листов в некоторых номерах были приложены еще особые рисунки (В. Верещагин. „В. Ф. Тимм“, 1911).

Весьма типично для 40-х годов еще другое издание с рисунками Тимма—„Листок для светских людей“, журнал, которого вышло в 1843 и 1844 годах по 48 номеров и в 1845—22 номера. „Листок“ имел по четыре страницы (без пагинации) в номере; на первой странице каждого номера имеются наверху: обозначение заглавия журнала, номер выпуска, месяц и год.

Виньетки в тексте гравированы на дереве, и большие картинки, занимающие целую страницу текста, также гравированы на дереве или отпечатаны с камня. Почти все виньетки и картинки исполнены по рисункам Тимма, многие с его монограммой или подписью. На некоторых значится: „печ. у Тюлева“, или „в лит. Тюлева“ и „рис. на камне В. Тимм“; на них, кроме того, имеется монограмма печатника Е. Радцига. Есть и рисунки, отпечатанные с иностранных досок. Некоторые из рисунков Тимма повторяются или взяты из других изданий („Коммераж“, „Картинки русских нравов“, „Суворов“ и др.).

В „Листке“ за 1843 год около 240 виньеток и иллюстрированных заглавных букв в тексте и до 30 отдельных сценок, занимающих целую страницу текста. Одна виньетка в № 34 и три в № 40 исполнены с рисунков кн. Гагарина. К этому году приложено 5 модных картинок. В № 9 и 17 помещены портреты Рубини и Альбер и в № 38—портреты-шаржи

Рубини и Тамбурины (о которых упоминает в своих записках П. П. Соколов).

В „Листке“ за 1844 год около 200 виньеток в тексте и 19 сенок, занимающих целые страницы текста; к этому году приложено 8 модных картинок. Между виньетками есть 4 портрета-шаржа: Булгарина в виде пчелы, проколотой булавкой, и Н. Греча, с головой на трубе паровоза (№ 2); Н. Полевого, с головой, торчащей из чернильницы (№ 9) и П. Клодта, с головой на туловище одной из лошадей Аничковского моста (№ 27). Кроме того, в № 4—портрет Виардо и в № 42—два портрета того же Булгарина и Крылова.

В „Листке“ за 1845 год около 60 виньеток в тексте; среди них имеется портрет Евгения Сю. Последние четыре номера вышли в 8^о и служили лишь текстом к восьми модным картинкам. Все модные картинки, служащие приложением к „Листку“, гравированы на стали и раскрашены; они исполнены заграницей; те же из них, которые находятся в тексте и гравированы на дереве, исполнены Тиммом.

Очень интересен и редок большой литографированный подписной лист на „Листок“ 1844 года. На нем значится: „Подписка на Листок для светских людей на 1844 год“; сбоку на стене нарисовано объявление: „Условие подписки: 48 номеров с множеством литографий, политипажей и с 12 раскрашенными парижскими модными картинками. Цена 25 руб. без доставки, 30 руб. с пересылкой и доставкой“. В слове „год“ буква „г“ заслонена маляром, раскрашивающим буквы; буква „ъ“ не покрыта краской. Кроме маляра, на этом листе изображено еще 12 поколенных фигур; первая налево в профиль изображает В. Каратыгина, второй профиль—Я. К. Грота, третий—Ф. Булгарина, крайняя фигура с правой стороны—Элькан (В. Верещагин. „В. Ф. Тимм“, 1911).

38. К. П. Брюллов умер не 17 февраля 1857 г., а 11 июня 1852 г.

39. Об отношениях композитора М. И. Глинки (1804—1857)

с Брюлловым и Кукольниковым подробно рассказывается в „Литературных воспоминаниях“ И. И. Панаева (изд. „Academia“, 1928 г.) и в записках П. М. Ковалевского „Встречи на жизненном пути“ (прилож. к „Воспоминаниям Д. В. Григоровича, изд. „Academia“, 1928). В трех альбомах акварельных карикатур Степанова, находящихся в рукоп. отд. Гос. Публичной Библиотеки, воспроизведены Глинка, Брюллов и Кукольник в различные моменты жизни.

Склонность к вину, о которой упоминает Соколов, была одной из главных слабостей Глинки.

П. М. Ковалевский описывает внешность Глинки в следующих словах: „Я увидел небольшого, плотного, с высокой грудью человека лет за сорок... Полоска темных бакенбард как будто обвязывала его слегка одутловатое лицо с пренебрежительными, не то кислыми губами, над которыми нависали жидкие усы. Глаза, наполовину прикрытые веками, светились огоньками, поминутно прорывавшимися наружу. Голова, в темных, густых и гладких, довольно длинных волосах на открытой короткой шее, была несколько закинута назад.. От быстрого движения коротких, крепких рук по клавишам мелькали рукава рубашки. Недопитый стакан и женщина были подле...“.

Одной из причин дружеской близости Глинки и Кукольника была присущая им обоим любовь к музыке: Кукольник был музыкально одарен (об его игре на фортепиано упоминается в дневнике Пушкина), он интересовался и теорией музыки, написал о ней несколько статей. А. Н. Струговщиков, поэт и переводчик 30—40-х гг., говорит в своих воспоминаниях („Русская Старина“, 1874, т. I, стр. 703—704): „чтобы выяснить продолжительную привязанность Глинки и Кукольника, замечу, прежде всего, что сама личность Кукольника, не в меру пострадавшая от литературных нападков, была вовсе не такова, какою ее выставляет И. И. Панаев... Не говоря уже о чудном музыкальном ухе Кукольника, он был посвящен и в сухое таинство контрапункта. Глинка находил в нем тонкого ценителя

своих произведений проверял с ним свои этюды, свои музыкальные рисунки и работал с ним часто над инструментовкой оперных номеров“.

40. Яненко, Яков Феодосиевич (1800—1852), портретист, академик с 1830 г. И. И. Панаев в своих „Литерат. воспоминаниях“ называет его угодником, шутом и блюдолизом; он говорит, что этот „бесталаный художник, грубый, наглый циник... для того только, чтобы хорошо выпить и поесть, готов был пожертвовать всем в угоду кому либо из патронов (т.-е. Кукольникову, Глинке и Брюллову), даже женой и дочерью“.

41. Кукольник, Нестор Васильевич (1809—1868), автор „Торквато Тассо“, „Руки Всевышнего“ и других драм и повестей. Кукольник сам себя считал великим гением и главой русского романтизма. Пушкин и Белинский ставили его очень низко.

О дружбе Кукольника с Брюлловым и Глинкой говорится в „Литерат. воспоминаниях“ И. И. Панаева: „Он... близко сошелся с Брюлловым и Глинкой“, „Сближение и короткость Кукольника с Брюлловым и Глинкой... еще более возвысили Кукольника в глазах его многочисленных поклонников“. Современники видели в этой дружбе какой-то символический союз живописи, музыки и поэзии, и считали, что этот союз может иметь влияние на эстетическое развитие русского общества. Панаев замечает, что „едва ли Кукольник не поддерживал и не распространял эту мысль“. Между тем, „союз этот не имел и тени чего нибудь серьезного“. „Представители трех искусств сходились только для того, чтобы весело проводить время и, разумеется, толковать, между прочим, о святых искусствах и, вообще, о высоком и прекрасном. Союз этот поддерживался некоторое время тем, что представители приятно щекотали самолюбие друг друга. Около них, как всегда около авторитетов, образовался небольшой штат угодников, шутов, исполнителей особых поручений и блюдолизмов из маленьких талантиков“. Кукольник, Глинка и Брюллов неоднократно фигу-

рируют в карикатурах Н. А. Степанова, некоторые из которых воспроизведены в „Литературных воспоминаниях“ И. И. Панаева, изд. „Academia“, 1928 г. Кукольник выведен в юмористическом виде в некоторых произведениях Панаева; особенно обстоятельно изображен он в повести „Белая горячка“ под именем Рябинина, о котором Белинский писал Боткину (16 мая 1840 г.): „Это живой, во весь рост портрет Кукольника“.

Кукольник был, во всяком случае, весьма заметной фигурой в петербургских литературных кругах конца 30-х и 40-х годов. О внешности Н. В. Кукольника дает представление его портрет кисти К. П. Брюллова и сообщение А. Я. Панаевой („Воспоминания“): „Наружность Кукольника была замечательно неуклюжа. Он был очень высокого роста, с узкими плечами и держал голову нагнувши; лицо у него было длинное, узкое, с крупными неправильными чертами; глаза маленькие, с наспущенными бровями; уши огромные, тем более бросающиеся в глаза, что голова была слишком мала по его росту“.

Никитенко, встретившийся с Кукольником впервые в конце 1833 или начале 1834 года, писал в своем дневнике: „Недавно познакомился с Нестором Кукольником, автором драматической фантазии „Торквато Тассо“. Это человек с несомненным талантом, но душа его пока для меня не ясна... Кукольник далеко пойдет, если полюбит искусство и одно искусство, если, подобно многим другим, не попытается соединить в себе чиновника и поэта“ (Записки и дневник, т. I, стр. 233—234). М. Ф. Каменская пишет о Кукольнике, что это был „худой, длинный, бледный молодой человек, с большим носом и толстыми губами“; однако, об этих наружных недостатках все скоро забывали, как только Кукольник давал волю своему веселому, живому характеру, природному своему юмору, начинал острить и шутить или когда садился за рояль. „Как он прелестно играл! Он фантазировал и переходил из мотива в мотив, точно ворковал что-то, и тихие звуки от игры его так и лились прямо в душу, — вспоминает та же современница („Историч. Вестн.

1894 г., № 8, стр. 331—332). Пушкин говорит о нем в своей переписке всего один раз, а именно: в письме к жене от 30 апреля 1834 г., рассказывая о бале по случаю совершеннолетия наследника он пишет: „Передо мною весь город проехал в каретах, кроме поэта Кукольника, который проехал в каком-то старом фургоне, с каким-то оборванным мальчиком на запятках, что было истинно-поэтическое явление“ (Переписка, Акад. издание, т. III, стр. 108). Пушкин, как отмечает Б. Л. Модзалевский, видимо, был очень невысокого мнения о даровании Кукольника и не считал его истинным поэтом; это видно, между прочим, из рассказа Никитенко и из слов барона Е. Ф. Розена; первый, под 10 января 1836 г., записал в своем дневнике: „Интересно, как Пушкин судит о Кукольнике. Однажды у Плетнева зашла речь о последнем; я был тут же. Пушкин, по обыкновению, грызя ногти или яблоко, не помню, сказал: „А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли“. Это было сказано тоном двойного аристократа: аристократа природы и положения в свете“ (Записки и дневник, т. I, стр. 270). Барон Розен, отвечая Пушкину на предложение дать статьи в „Современник“, писал ему 4 февраля 1834 г.: „...Я хотел бы написать статью о Кукольнике. Так как мы почти сходимся в нашем мнении о нем, то не будет никакого препятствия к напечатанию такой статьи, целью которой будет доказать означенному писателю, что все, что он написал, немногого стоит, что он не знаком даже с техникою драмы, и беспощадным образом напасть на тот несчастный жанр, который он избрал, или сказать, что у него дарование, которое при обработке может быть и сможет возвыситься над его теперешнею бледною посредственностью“ (Переписка, Акад. изд., т. III, стр. 275). Наконец, еще один мимолетный отзыв Пушкина о Кукольнике сохранился в „Воспоминаниях“ Е. А. Драшусовой. Описывая обед и вечер у себя 28 января 1834 г., на котором были: Пушкин, Крылов, Жуковский, князь Вяземский, Д. Давыдов, Плетнев, барон Розен

и другие писатели, Драшусова рассказывает: „Оставались уже немногие, когда приехал Кукольник. . Я была довольна, что так случилось. Литературная аристократия не жаловала Кукольника. Но мы не могли не пригласить человека, бывшего нашим коротким знакомым. Полевой—тот сам отказался присутствовать на обеде. Он был в явном разладе со всеми этими господами. Когда все разъехались, мы провели остаток вечера с Кукольником и Базили... Что ни говори, Кукольник был человек даровитый. Многочисленные его произведения, хотя скороспелые, но все носят печать таланта, и когда, бывало, он по целым часам импровизировал на фортепиано с чувством и увлечением, то нельзя было не убедиться, что в нем самом было много поэзии. Пушкин, впрочем, сказал, что в нем жар не поэзии, а лихорадки“ (.Русск. Вестн., 1881 г., № 9, стр. 152). См. примеч. Б. Модзалевского к „Дневнику“ Пушкина.

42. К. П. Брюллов, подобно Глинке и Яненко, умер от последствий сифилиса.

43. Делярю, Михаил Данилович (1811—1868), второстепенный поэт пушкинской плеяды, автор „Опытов в стихах“ (1835); друг Дельвига.

44. Петрашевский, Михаил Васильевич (1819—1867), публицист; на его литературных пятницах бывали Ахшарумов, Достоевский, Дуров, Пальм, Плещеев и др.; на вечерах этих читали Кабе, Фурье, Прудона, высказывались против крепостного права. С этим кружком был связан кружок Иринарха Введенского, к которому принадлежали Благодетель, Чернышевский и др. Вигель написал на них донос. С делом петрашевцев было связано распространение известного письма Белинского к Гоголю. В 1848 г. Петрашевский совещался с Момбелли, Ф. Львовым, Спешневым и др. об учреждении тайного общества. Петрашевский и его товарищи (всего 23 чел.) были преданы суду. Одним из главных пунктов обвинения был „Словарь иностранных слов“, который Петрашевский издавал под псевдонимом Кириллова, помещая в нем либеральные

статьи. Все подсудимые были приговоры к расстрелу, смертный приговор был прочитан и затем отменен; подсудимый Григорьев после этого сошел с ума. См. о петрашевцах: „Русск. Старина“ 1872, VII и 1881, V, „Вестник Европы“ 1883, I—III, „Русский Инвалид“ 1849, № 276, Достоевский — „Дневник писателя“.

45. Введенский, Иринарх Иванович (1813—1855), переводчик Диккенса, Теккерея и др.

46. Чернышевский, Николай Гаврилович (1828—1889), знаменитый публицист, экономист и критик, был арестован в 1862 г. и сослан в Восточную Сибирь в 1864 г.

47. Вигель, Филипп Филиппович (1788—1856), автор знаменитых „Записок“, бюрократ николаевской эпохи. Современники говорят о нем, как о неограниченно самолюбивом завистливом и желчном человеке, мизантропе и цинике, но прекрасном рассказчике и остроумном сатирике. Приобрел печальную известность доносом на „Философическое письмо“ Чаадаева.

48. Липранди, И. П. (1790—1880), военный историк, специалист по расколу; расследовал дело петрашевцев.

49. Герман, дирижер в Павловске с 1839 по 1845 г., славился как исполнитель вальсов Штрауса, Лакиера, Лабицкого. Фельетонист „Сев. Пчелы“ (1838, № 295) писал: „Герман, со своим оркестром, возвел вальс на степень первого из всех танцев, только оркестр Германа дал нам истинное понятие о вальсе“.

П. Н. Столпянский в книге „Старый Петербург“ (Музыка и музицирование), изд. „Мысль“ 1926 г., дает любопытные страницы из истории летних музыкальных развлечений в Петербурге, в которой Герман занимал почетное место. „Музыкальные развлечения летом получили свое наибольшее развитие вследствие того, что петербуржцы, плавая в море звуков, начиная от оркестров Германа и других приезжих капельмейстеров, вплоть до диких таборов цыган и цыганок, забывали думать

и о холере, эпидемия которой приняла прямо невозможные размеры, и о французской революции 1848 года“.

С легкой руки Излера летние музыкальные развлечения размножились необычайно; „ныне столько оркестров в разных окрестностях (читаем мы такие строчки в 1851 году), что трудно вообразить откуда берутся слушатели. Музыка на Петровском острове в двух местах, на Крестовском, в Александровском парке, на даче графа Кушелева-Безбородко, на даче Королева, в заведении искусственных минеральных вод в Новой деревне, в Павловском вокзале и, наконец, в Строгоновском саду и все привлекают слушателей“.

И что эта музыка не есть простое и только развлечение, но что ей придавали, как мы и подчеркиваем, политическое значение, ясно показывают строчки, которыми заканчивается другая, подобная цитируемой нами заметка, говорящая о том же предмете:

„Хлеба и зрелищ!“ кричали древние римляне с голоду и праздности, „музыки и песен!“ тихо восклицают с улыбкою довольные, счастливые обитатели суровой некогда Ингерманландии“.

Как великолепны эти строчки, написанные в 1851 году, когда николаевский режим достиг своего апогея: „тихо восклицают с улыбкою довольные, счастливые обитатели“.

В 1845 году писали: „Вы знаете Безбородкинскую дачу на Неве. Вы помните, что этот край дачной провинции (эта курьезная фраза должна означать просто на просто: эта окрестность Петербурга) чрезвычайно живописен. Все дома и домики кругом заняты жильцами, который день там много гостей—и близко и сообщение теперь такое удобное: в дилижансе вы покойно и дешево съездите туда и обратно, но за грош. Приятность этого места еще в прошедших годах привлекала туда более и более посетителей. Теперь оно взойдет в соперничество с лучшими загородными гульбищами. Угощением за умеренную плату будет управлять наилучший кондитер Излер (Излер таким

образом начинал свою деятельность в Безбородко, а затем арендовал минеральные воды). Вы найдете в палатке его все, чего только потребует ваше прихотливо-гастрономическое воображение и в то же время на той же даче ежедневно изысканные концерты. Оркестр будет разыгрывать все новейшее, все любимейшее. Оркестром будет дирижировать Герман! Мы воображаем, как оживятся все дачные области по правому берегу Невы, эти лучшие места для лета близ С-Петербурга“.

50. Булгаков, К. А., известный повеса 40-х годов, был, по словам А. Я. Панаевой („Воспоминания“), „очень даровитый человек, имел большие способности к музыке, рисовал отлично карандашом и акварелью и был необыкновенно остроумен, но все свои способности он загубил, ведя ненормальную жизнь“. „Когда он бывал у нас с Глинкой“, рассказывает Панаева, „то за чаем оба выпивали бесчисленное число рюмок коньяку, и на них это не имело никакого влияния, точно они пили воду“. М. И. Глинка был с ним на „ты“ и в письмах беседовал с ним о музыке. В одном из писем Глинка называет своего приятеля „человеком, одаренным тонким слухом и изящным пупком для вбирания или, лучше, всасывания в себя всего прекрасного“ („Записки М. И. Глинки“, 1887).

В воспоминаниях Панаевой рассказывается о приключениях Булгакова, причем рассказ о прогулке с вел. кн. Михаилом Павловичем приведен в ином варианте: „Булгаков сознался великому князю, что он до безумия влюблен в одну особу, что если великий князь удостоит его пройти мимо этой особы, то сделает его счастливым человеком“.

Различные варианты анекдотических рассказов о Булгакове приведены в книге М. Пыляева „Замечательные чудачки и оригиналы“, в „Воспоминаниях“ Бурнашова (М. 1873) и в „Историческом Вестнике“ 1889, 6.

51. Высочайший приказ 22 декабря 1849 г.

52. В числе их были: Достоевский, Плещеев, Пальм, Дуров, Ф. Львов, Толь, Ахшарумов и др.

53. Момбелли, поручик л.-гв. Московского полка, 27 лет.

54. Григорьев, поручик л.-гв. Конно-Гренадерского полка, 25 лет.

55. Самойлов, Василий Васильевич (1813—1887), знаменитый актер, особенно выдвинувшийся в 1839 г. исполнением заглавной роли в водевиле „Макар Алексеевич Губкин“, а затем развернувший свой талант в пьесах Островского, Тургенева Потехина и др.

56. Максимов, А. М., драматический актер, ученик Брянского, выступал на петербургской сцене в николаевское время; о нем говорится в „Воспоминаниях“ А. Я. Панаевой.

57. Брянский, Яков Григорьевич (ум. в 1853 г.), драматический актер императорских театров в Петербурге; отец А. Я. Панаевой (см. ее „Воспоминания“).

58. Сосницкий, Иван Иванович (1784—1872), драматический актер петербургских театров; его портрет в книге „Драматический альбом на 1828 г.“, изд. Ард. Иванова, СПб, 1829 и в „Пантеоне“ и „Репертуаре“ на 1839 г.

59. Варламов, А. Е. (1801—1851), композитор, автор популярных романсов; о нем рассказывает в своих „Воспоминаниях“ А. Я. Панаева; отец знаменитого артиста-комика К. А. Варламова.

60. Петров, Осип Афанасьевич (1807—1878), знаменитый бас СПб русской оперы. Его портреты писали Зарянко (1843) и К. Е. Маковский (1870). Лаврецкий вылепил его бюст (1876); гравированный портрет Петрова помещен в III т. „Русских Деятелей“ Баумана (1877); о нем см. „Воспоминания“ А. Я. Панаевой.

61. Соллогуб, Владимир Александрович, граф (1813—1882), автор „Тарантаса“ (1845) и многих других повестей, романов и пр.; пользовался в 40-х годах большим успехом, но впоследствии был почти забыт.

Соллогуб был постоянным посетителем вечеров гр. Мих.

Виельгорского, на дочери которого он был женат. В начале 40-х годов Соллогуб часто бывал в Павловске в обществе Панаевых; одно время он жил в Царском Селе.

По свидетельству Д. В. Григоровича, „графа В. А. Соллогуба не долюбив ли в кругу литераторов; виной был его характер, отличавшийся крайней неровностью в обращении: сегодня—за панибрата, а завтра—как бы вдруг не узнает и едва протягивает руку. К нему можно было бы относиться снисходительнее за его горячую любовь к отечественной литературе“. „Чтец он был превосходный; редкий автор, читая свое произведение, мог выразить все тонкости, подчеркнуть с таким искусством счастливые места и мысли, как делал это гр. Соллогуб“ („Литер. Воспоминания“, гл. IX).

А. Я. Панаева („Воспоминания“, гл. IV) отмечает, что Соллогуб кичился своим аристократизмом, но был „добрый человек“, „никогда не передавал никаких сплетень“. Описывая Соллогуба, прогуливающегося в Павловске на музыке (в самом начале 40-х годов), она говорит, что он был „очень смешон... с важной гримасой и стеклышком в глазу, которое он носил закинув голову назад и смотря на всех величаво презрительно“ (тогда впервые появилась мода на монокль). Соллогуб отличался „небрежными манерами, растягиванием слов и рассеянным видом“.

И. И. Панаев („Литер. Воспоминания“, гл. IX) говорит, что „при Соллогубе было неловко в прямом, бесцеремонном дружеском кружке. Он тотчас нарушал его гармонию, внося, против своей воли, искусственность, ложь, ломанье, фатовство, от которых он никак не мог отделаться и которые становились его второй натурой. Он желал ближе сойтись со многими из нашего кружка, но при отсутствии всякой простоты и искренности и при его смешных барских выходках и замашках—это было невозможно. Пропятствие к такому сближению было с его, а не с нашей стороны, а он добродушно жаловался на нас и упрекал нас в том, что мы его дичимся и удаляемся от него“.

62. Виельгорский, Михаил Юрьевич, граф (1788—1856), царедворец, композитор, пианист, меценат. В 40-х годах его дом (на Михайловской площади) был центром артистической жизни Петербурга. Когда в 1844 г. в Петербург приехал Роберт Шуман, то его произведения были исполнены у Виельгорского под управлением композитора Шуман называл его „гениальным диллетантом“. При содействии Виельгорского Шуберт устроил в СПб университете утренние симфонические концерты, положившие начало Русскому Музыкальному Обществу.

Д. В. Григорович в своих „Литературных воспоминаниях“ (изд. „Academia“, 1928) описывает внешность Виельгорского в старости: „Тонкие черты, сохранившиеся несмотря на ожирение лица, с первого взгляда приводили на память портрет знаменитого композитора Россини; сходство прибавлял завитой, несколько встрепанный парик, постоянно косивший в ту или другую сторону; жирный двойной подбородок глубоко уходил в галстух, обмотанный несколько раз вокруг шеи и принимавший издали вид жабо. Он был среднего роста, тучен, держался прямо, выступал плавно, сильно напирая в разговоре на букву „р“ и своею утонченною вежливостью, своей манерой напоминал французских маркизов прошлого столетия“.

Далее Д. В. Григорович рассказывает о хозяйственных интересах Виельгорского, о его заботах относительно огорода фруктового сада и пр.

Виельгорский, подобно кн. Одоевскому, был гостеприимен и одинаково приветлив ко всем: „первый сановник и бедный пианист встречались им совершенно одинаково“.

В гостиной Виельгорского можно было встретить всех значительных певцов, композиторов, актеров, особенно иностранных гостей. Постоянными посетителями вечеров Виельгорского были: Ф. И. Тютчев, гр В. А. Соллогуб, Д. В. Григорович и др.

Н. Е. Комаровский говорит в своих „Записках“, что Виельгорский много способствовал поднятию уровня музыкального

развития русского общества. Он сам был знаком со всеми музыкальными знаменитостями Европы, и имя его среди них пользовалось самой широкой популярностью и заслуженным почтением“.

Виельгорский был одним из наиболее приближенных к Николаю I сановников; он состоял гофмейстером и обер-шенком (с 1839 г.), сын его Иосиф воспитывался вместе с наследником, дочери бывали постоянно в обществе великих княжен; на свадьбе одной из дочерей Виельгорского Николай I был посаженным отцом.

Д. А. Ровинский („Словарь русск. грав. портретов“) называет Мих. Юр. „замечательным виолончелистом“, смешивая его в этом отношении с Матв. Юр.

Граф В. А. Соллогуб („Воспоминания“, 1886) говорит о Виельгорском, что он „прошел незамеченным в русской жизни: даже в обществе, в котором он жил, он был оценен только немногими. Он не искал известности, уклонялся от борьбы и несмотря на то, или, может быть, именно потому, был личностью необыкновенной: философ, критик, лингвист, медик, теолог, герметик, почетный член всех масонских лож, душа всех обществ, семьянин, эпикуреец, царедворец, сановник, судья,—он был живой энциклопедией самых глубоких познаний, образцом самых нежных чувств и самого игривого ума“.

С этим отзывом совпадает оценка Виельгорского в стихах кн. П. А. Вяземского („Поминки“):

„До невозможности он был разнообразен;

.....

Всего прекрасного поклонник иль сподвижник,

Он в книге жизни все перебирал листы:

Был мистик, теософ, пожалуй чернокнижник,

И нежный трубадур под властью красоты“.

В своей „Записной книжке“ Вяземский отмечает свойственные Виельгорскому „рассеяния“. К числу слабостей Виельгорского принадлежало пристрастие к венгерскому вину и гастрономии.

Пушкин в своем дневнике (6 марта 1834 г.) приводит слова Соболевского о Виельгорском: „Il est du juste milieu, car il est toujours entre deux vins“. Пушкин был лично знаком с Виельгорским и упоминает о нем несколько раз в письмах 1833—1834 гг. Возможно, что Виельгорский подсказал Пушкину тему „Медного Всадника“, сообщив ему (как повествует предание) рассказ о чудесном сне, виденном неким майором Батуриным в 1812 г., когда возникла мысль об эвакуации фальконетовского „Петра I“ (в виду возможности занятия столицы французами); Батурин будто бы видел во сне „медного всадника“, скачущего по улицам Петербурга и обращающегося к Александру I со словами укоризны и предупреждения („Русский Архив“, 1877, II, 424).

„Это был тип барина, доброго малого“, говорит о Виельгорском граф Соллогуб, „умевшего необыкновенно искусно соединить в себе самого тонкого царедворца с человеком любившим и пользовавшимся не только всем хорошим, но и всем грешным. Стол его славился в те времена, когда в Петербурге трудно было удивить хорошим обедом. Его всегда приглашали приятели, когда какойнибудь из них пробовал повара или какоенибудь необыкновенное кушанье или вино и т. д. Суждение его составляло авторитет и всегда было чистосердечно, нередко даже безжалостно; так, однажды, на большом обеде у Бутурлиных, хозяин обратился к нему с вопросом: „как он находит вино будто бы 1827 года?“— „Не знаю, вино ли ваше 1827 года, но масло—наверное“, отвечал недовольным голосом Виельгорский („Воспоминания“, СПб., стр. 131). А. О. Смирнова, описывая свой первый обед, данный ею после выхода замуж, говорит, что за него „Виельгорский, который очень-таки любит поесть, наговорил комплиментов

Николаю (Смирнову) насчет его (повара). Руссле превзошел самого себя для Виельгорского, так как Гиббон (метр д'отель Нико ая I) сказал ему, что граф Михаил умеет оценить обед" („Записки“, ч. I, стр. 219 – 220). Б. Л. Модзалевский отмечает, что в шуточном поминании, составленном Пушкиным, князем Вяземским и Мятлевым, Виельгорский упомянут, как ценитель вин:

„Уж как ты хочешь, надо помянуть
Графа нашего приятеля Велегорского
(Что не любит вина горского)
А по нашему Велеурского...“

(Сочинения князя П. П. Вяземского, СПб., 1893, стр. 541).

63. Виельгорский, Матвей Юрьевич, граф (1794—1866), музыкант-виолончелист, один из основателей Русского Музыкального Общества, младший брат Михаила Юр. Виельгорского.

И. И. Панаев в своих „Литер. Воспоминаниях“, говоря о пустоте большинства светских людей своего времени, называет Матвея Юрьевича Виельгорского „самым блистательным исключением“ в этом кругу, выделявшимся своей „тонкою артистическою натурою и с большою начитанностью“.

А. Я. Панаева („Воспоминания“) говорит, что М. Ю. Виельгорский, „полный, румяный старик“, был „любимцем имп. Александры Федоровны“. „Виельгорский был дилетант музыки, играл на виолончели и сочинял романсы. У Виельгорского постоянно бывали музыкальные вечера и он сам участвовал в квартетах“.

Повидимому, Панаева ошибочно приписывает Матвею Юрьевичу особый успех при дворе: любимец Александры Федоровны был старший Виельгорский—Михаил. Свою богатую библиотеку и музыкальные инструменты Матвей Юрьевич Виельгорский завещал Консерватории, а свою замечательную виолончель (Страдивариуса) подарил К. Ю. Давыдову.

Братья Виельгорские были дружны между собою и часто бывали вместе. Портрет Матв. Юр. Виельгорского был написан П. Ф. Соколовым в начале 40-х годов.

В „Литер. Воспоминаниях“ Д. В. Григоровича (изд. „Academia“, 1928) рассказывается на стр. 210—215 о Мих. Юр. Виельгорском (в указателе эти страницы ошибочно отнесены к Матв. Юр.); на колон-тителе стр. 210 назван Матв. Юр., а на стр. 213 в сноске редактора издания (В. Л. Комаровича) ошибочно упоминается Михаил вместо Матвея (в противоречии со сноской на стр. 211).

64. Толстой, Федор Петрович (1783—1873), одна из центральных фигур в художественной жизни Петербурга во второй и третьей четвертях прошлого века, скульптор, медальер, живописец, занимавший в Ак. Худ. должность вице-президента.

Т. П. Пассек в своих воспоминаниях („Русская Старина“, 1887, октябрь) говорит, что вечера в доме Толстого привлекали „избранное общество: литераторов, артистов, художников“. „Он был прост, непритязателен и исполнен только стремления к пользе общей“. „Всему он сочувствовал, все ему было близко“. „Перед авторитетом его, которого он не давал и заметить, рождалась не робость, не чувство своего ничтожества, но порывы к прекрасному, бодрость духа и желание деятельности“.

В „Литер. Воспоминаниях“ И. И. Панаева говорится, что общество, собиравшееся на воскресных вечерах у Ф. П. Толстого, имело „свой особенный колорит: оно состояло из молодых художников, подававших, по мнению гг. академиков, большие надежды, из литераторов партии Кукольника и из каких-то молодых и пожилых любителей литературы и искусств, захлебывавшихся при появлении Брюллова и Кукольника и для удовольствия хозяина дома, готовых на все,—даже протанцовать, за неимением лучших кавалеров (у Толстого часто устраивались танцы)“.

Толстой, в ту пору уже знаменитый скульптор, которого приветствовал сам Гете (по поводу медалей Толстого на темы

войны 1812 г. Гете прислал ему очень лестное письмо), дружелюбно относился к Брюллову и Кукольнику. Во время вечерних сборищ Толстой, по словам Панаева, „говорил мало; с скромностью и благодушием он только слушал других, соглашался со всеми и всем приветливо улыбался“. Панаев отмечает, что Кукольник, Каменский и все гости постоянно восхваляли талант Толстого. По словам Панаева „прелестный артистический колорит дома“ и „семейное счастье“ были „только один мираж“.

Однако, Панаеву нравились („вначале“) вечера у Толстого, — „радушные хозяев, простота и бесцеремонность“. „Всякий мог свободно удовлетворять своим наклонностям: играть в билиард, танцевать, ораторствовать о святине искусства или выслушивать планы повестей Каменского“. Во время танцев сам Ф. П. Толстой „тщательно выделял фигуры кадрили в своем обыкновенном домашнем костюме: в бархатной куртке, в вышитых туфлях и в шерстяных чулках“. Панаев отмечает, что Толстой „вел жизнь чрезвычайно скромную; ни в нем самом, ни в его доме не было и тени какихнибудь аристократических примычек и замашек. Он редко выходил из дому и всегда почти сидел с карандашом или резцом в своем кабинете“. О Т. см. „Воспоминания“ Е. Ф. Юнге и М. Ф. Каменской.

65. Каменский, П. П. (1810—1875), второстепенный беллетрист, один из подражателей Бестужева-Марлинского, пользовавшийся популярностью в конце 30-х годов, но потом забытый публикой. Он жил одно время вместе с Ф. П. Толстым. О нем см. „Литер. Воспоминания“ И. И. Панаева (изд. „Academia“, 1928, стр. 162). Его жена, М. Ф., была „душою воскресных собраний в доме своего отца, Федора Толстого. Ей принадлежат весьма любопытные воспоминания об этой эпохе (см. журн. „Время“, 1861, „Истор. Вестник“, 1894 и роман М. Ф. Каменской „Пятьдесят лет назад“, СПб., 1862).

Издание „Сто русских литераторов“, о котором упоминает Соколов, заслуживает особого внимания по именам участвовавших в нем художников.

Издание богато иллюстрировано портретами и картинками, выполненными лучшими русскими художниками того времени и гравированными на стали в Лондоне. Смирдин предполагал издавать его в десяти томах по одному тому или более в год. Вышло всего три тома. В каждом томе — по десяти перечисленных в оглавлении портретов и столько же сценок вне текста, по одному портрету и сценке к каждой повести. Сценки эти, в порядке повестей, исполнены следующими, обозначенными в оглавлениях, художниками (без их подписей): в томе первом—1. К. Брюллов, 2. А. Брюллов, 3. Ладюрнер, 4. К. Зеленцов, 5. К. Зеленцов, 6. Демидов, 7. К. Зеленцов, 8. А. Брюллов, 9. Дезарно, 10. А. Сапожников. В томе втором—1. К. Брюллов, 2. Дезарно, 3. Тимм, 4. Тимм, 5. Дезарно, 6. К. Зеленцов, 7. Т. Шевченко, 8. Граф Ф. Толстой, 9. К. Зеленцов, 10. А. Брюллов. В томе третьем, при таком же расположении портретов и сценок, как и в первых двух томах, художники, рисовавшие сценки, не обозначены; по манере многие из этих сценок напоминают К. Зеленцова. Третий том включает в себе, кроме того, одиннадцать повестей барона Брамбеуса „Микерия Нильская лилия“ с виньетками в тексте и тремя картинками вне текста, изображающими египетские нравы и обычаи. Эти последние виньетки и картинки исполнены пером на камне (В. А. Верещагин. „В. Ф. Тимм“, 1911).

66. Рамазанов, Николай Александрович (1815—1867), один из второстепенных скульпторов Николаевской эпохи, сын известного актера александровского времени. С 1849 г.—академик, с 1858—профессор Ак. Худ. Ему принадлежат барельефы на пьедестале памятника Николаю I (в Ленинграде), некоторые скульптурные украшения на внешних стенах храма Христа Спасителя в Москве и др. Кроме скульптуры, занимался литературой, печатаясь в „Моск. Ведомостях“, „Русском Вестнике“ и „Современ. Летописи“. Автор книги „Материалы для истории художеств в России“, М., 1863.

В „Литер. Воспоминаниях“ И. И. Панаева (изд. Academia“,

стр. 164) говорится о Рамазанове, как об ученике Академии „рабски преданном Брюллову“ и „трактовавшем об искусстве очень фразисто и с тем внешним энтузиазмом, который так неприятно действует на слуховые органы“.

67. Федотов, Павел Андреевич (1815—1852), „отец русского жанра“, художник-живописатель николаевской эпохи, сатирик-символист, противопоставивший правдивое отображение жизни псевдоклассической „красивости“, является одной из жертв „николаевщины“, в условиях которой его талант задохнулся и силы преждевременно иссякли.

Соколов касается в своих воспоминаниях последних лет жизни Федотова. Федотов психически заболел летом 1852 г.; его биограф (Л. К. Дитерихс. „П. А. Федотов“, изд. Павленкова, 1893) рассказывает об этом периоде следующее: „Федотов сделался мрачнее, был молчалив, и с его уст все реже и реже срывались меткие слова, удачные сравнения. Он часто бывал у М. А. Половцева, с которым его познакомил гравер Бернгардский, и куда он ходил, как он выражался, „отогревать душу“, но вместо прежних остроумных рассказов, веселых разговоров, он или мрачно молчал, или садился за фортепиано и пел разные романсы, которые прерывал часто припевом, притом совершенно неожиданным:

„Брожу ли я,

Хожу ли я,

Все Юлия, да Юлия!.. (и т. д.).

...Безотчетная тоска, которая, по рассказам близко знавших людей, прежде его никогда не посещала, часто стала его мучить, прерываясь иногда порывами самой неожиданной и бурной веселости.

С середины лета болезнь совершенно овладела Федотовым. В продолжении нескольких дней он ходил по Петербургу и окрестностям, заходил в магазины, покупал разные драгоценности для какой-то воображаемой им свадьбы, намекая на

ожидавшее его величайшее счастье, и роздал все деньги, полученные им незадолго перед тем за одну из своих копий, а также и те, которые были предназначены для помощи родным.

Друзья поспешили принять меры и донесли начальству академии о развившейся болезни художника; после доклада государю, который приказал приложить все старания для излечения Федотова и определил на этот предмет пятьсот рублей, он был помещен в лечебницу для душевно-больных доктора Лейдесдорфа, на Песках. Вероятно, что этой лечебнице Федотов, вместо поправления, был обязан только усилением ужасной болезни. По крайней мере, мы имеем свидетельство таких, вполне правдивых, лиц, как художники Бейдеман и Жемчужников, которые, приехавши раз навестить Федотова, были поражены как помещением, в котором он находился, так и состоянием самого больного.

В прекрасном, чрезвычайно выразительном рисунке Бейдеман выразил то впечатление, которое произвела на него сцена свидания с больным Федотовым, и показал этот рисунок своему профессору. Маркову, который, в свою очередь, не преминул донести кому следует об ужасном положении Федотова. Веледствие этого он был переведен в Больницу Всех Скорбящих на Петергофской дороге, где пять месяцев боролся с ужаснейшими страданиями. Его сильный организм долго противился влиянию болезни, но могучая фантазия оказалась в этом случае для него гибелью: во время страданий мозг его работал с удвоенной силой и не давал ему ни минуты спокойствия, ни благодетельного сна. Несмотря на такие страдания, память его настолько сохранилась, что он узнавал посещавших его друзей, расспрашивал об отсутствующих, чертил рисунки на стенах своей камеры. Порою на него находило бешенство, и тогда он видел перед собой чудовищные сцены и образы; порою он воображал себя богачем, развивал перед собравшимися друзьями грандиозный проект превращения Васильевского

острова в Афины, столицу искусства, с дворцами, садами, статуями и пантеонами...

По городу ходило много различных догадок и сплетень по поводу причин, повлекших за собой болезнь Федотова. Многие думали, что тут не обошлось без участия романтических причин, и в подтверждение этому указывали, что перед окончательным заболеванием Федотов часто упоминал какую-то Юлию, „все Юлия, да Юлия“, но мы знаем, что причиной его болезни была вовсе не Юлия, а страшный, упорный труд и постоянная борьба с плохо сложившимися материальными обстоятельствами. Федотов умер на руках своего бывшего денщика, верного слуги Коршунова, 14 ноября 1852 г.

В. Блох в очерке о Федотове (Гос. Изд., 1925) дает следующую оценку художника, подводя итоги его деятельности:

„Федотова принято называть „отцом русского жанра“. Его считают родоначальником того реалистического направления русской живописи, которое расцвело позднее в передвижничестве. Рассуждая так, принимают во внимание, главным образом, две картины Федотова — „Свежий кавалер“ и „Сватовство майора“, отмечая Федотова — автора сентиментальной „Вдовушки“ и необыкновенной „Офицерской жизни в деревне“. Но что приняли в федотовском наследии ученики и последователи? Их интересовала исключительно анекдотическая, сюжетная сторона искусства художника, — склонность его к повествованию — и ничего больше. Между тем, смысл и значение искусства Федотова не исчерпывается занятой и поучительной фабулой. Творческий путь художника был краток и беспокоен. За восьмилетний промежуток времени (в 1844 г. Федотов оставил военную службу, в 1852 г. — сумасшествие и смерть) мы имеем возможность говорить о двух „переломах“, наметившихся в творчестве Федотова. Оценивая его, необходимо помнить, что „Сватовство майора“ обозначает начало, „Вдовушка“ — поворотный пункт, а „Офицерская жизнь в деревне“ — жуткое заключение (а если бы не смерть, — может, новый поворот?) его худо-

жественной деятельности. Федотов был исключительно чуток и восприимчив ко всем явлениям окружающей его художественной жизни. Хогарт, Роландсон и Гаварни, голландцы и Брюллов в разное время оказывали на него влияние. Вопрос о „влияниях“, вообще очень сложный, не легко разрешается и по отношению к Федотову. Хотелось бы отметить лишь следующее: пресловутое влияние „голландцев“ на Федотова ничем не доказано и вообще доказано быть не может. Этим, однако, ничего не сказано против него. Но наряду с голландскими „светскими жанристами“ (Терборком, Марисом и никак, конечно, не „деревенскими“ жанристами) на Федотова могли влиять некоторые французы, бельгийцы и вообще „малые мастера“ истории искусства XVII, XVIII, XIX вв.—любители „околичности“ прежде всего. Таким утверждением мы рискуем усложнить вопрос. Но справедливость его кажется нам вне сомнений. Поэтому говорить об одной линии, специально анекдотически-бытовой, в искусстве Федотова нельзя. И тщетно протягивать от него нити во вторую половину века, к передвижникам—Перову, Прянишникову, Трутовскому, Чернышеву, Журавлеву, Маковскому... ко всем создателям „живописного анекдота“. Признаем лучше, что Федотов принадлежит первой половине века, своему времени. Этим мы несколько не умалим его значения. Федотов любил рисунок и любил краски. „Он понимал, что можно двумя линиями передать все, что чувствуешь“,—так характеризует художника один из лучших исследователей русского искусства (Врангель) и тем самым утверждает вневременную и внесюжетную ценность художественного наследия Федотова. Оно, мы знаем, невелико. „Только ближайшие из друзей Павла Андреевича могут сказать о том, как слабы, ничтожны были его превосходные начатки перед теми неисчислимыми сокровищами, кото ые зрели в уме его“,—говорит автор „Воспоминаний“ о Федотове—А. В. Дружинин“.

68. Краевский, Андрей Александрович (1810—1889), в описываемое время негласно редактировал и издавал „Лите-

ратурные Прибавления“ к „Русскому Инвалиду“. В 1839 г. он приобрел „Отечественные Записки“, из которых с помощью Белинского сделал передовой журнал. Издавал с 1852 г. „СПБ. Ведомости“, потом „Голос“. О нем см. „Литературные Воспоминания“ И. И. Панаева („Academia“, 1928).

69. Панаева, Авдотья Яковлевна (1820—1893), урожд. Брянская, вышла замуж за Ив. Ив. Панаева в 1838 г. Говоря о Панаевой до ее замужества, Соколов передает едва ли свои личные впечатления („вечера мы проводили на музыке“), так как ему тогда было не более 12 лет; возможно, впрочем, что он ошибается в указании времени и рассказывает о Панаевой не до ее замужества, а после.

70. Дмитриев-Свечин выступал в Павловском вокзале в конце 1840-х годов на благотворительных вечерах совместно с виолончелистом Серве, пианистами Мартыновым, Харитоновым и др. Инициатором этих вечеров, имевших большой художественный и материальный успех, был местный дачник, любитель музыки, Н. С. Мартынов. Устройство этих вечеров относится ко времени выступления дирижера Гунгля, выступавшего в Павловске в 1845—1848 гг. (см. Н. Ф. Финдейзен, „Павловский музыкальный вокзал“, СПб., 1912, стр. 34—35).

71. Самойлова, Юлия Павловна (1803—1875), графиня, урожд. граф. Пален, известная красавица 30—40-х годов. Ее писал неоднократно К. Брюллов. Большой портрет гр. Самойловой с дочерью, раб. Брюллова, находится в Гос. Русском Музее (воспроизв. в „Истории живописи“ Александра Бенуа и „Русском Музее“ Н. Врангеля, 1904, т. I). Она же изображена в „Последних днях Помпей“ (женщина, роняющая с головы кувшин).

72. Бальзак, Оноре (1799—1850), посетил Петербург в 1843 г. Французский романист Жюль Жанен писал в 1858 г. по поводу отъезда Александра Дюма в Россию: „Мы поручаем его гостеприимству России и искренно желаем, чтобы он удостоился лучшего приема, чем Бальзак... Он явился в Россию не во время—тотчас после г. Кюстина и потому, как это часто

случается, невинный пострадал за виновного" (слова Жюль Жанена приведены в „Петербургской Жизни“ И. И. Панаева, — „Современник“, 1858, т. LXX).

73. К ю с т и н (de Custine), Адольф, посетил Россию в 1839 г. В своей книге „La Russie en 1839“ он дал ряд отрицательных отзывов о петербургском „свете“ и это вызвало в высшем обществе столицы возмущение.

74. Героятно, кн. Сергей Михайлович Голицын (1774 — 1859), председатель Московского Опекунского Совета, известный своей благотворительностью. Существует медаль с его профилем, раб. А. Лялина и М. Кучкина, 1857.

75. В и т а л и, Иван Петрович (1794—1855), скульптор, с 1840—академик (за бюст В. К. Шебуева), с 1842—профессор; автор фронтона „Поклонение волхвов“ (Исаак, собор), фигур „Венера“, „Гений“, „Геркулес, поражающий гидру“ и др.

76. Т р о п и н и н, Василий Андреевич (1779—1857), знаменитый портретист и жанрист, академик с 1824 г. (за портрет К. А. Лебрехта). К нему Соколов возвращается в дальнейшем (глава XI).

77. М и х а й л о в, Григорий Карпович (1814—1867), ученик К. Брюллова; повидимому, его имеет в виду И. И. Панаев, раесказывающий в своих „Литер. Воспоминаниях“ (гл. III) о „бесталанном художнике М., с льстивой и рабской натурой“. Этот Михайлов притворно робко входил в мастерскую Брюллова, взглядывал на новое его произведение, с лицемерным благоговением восклицал—„не достоин! не достоин!“ и закрыв глаза, выбегал, как бы ослепленный шедевром Брюллова. За картину „Прометей“ (написанную с помощью Брюллова), о которой рассказывает Соколов, Михайлов получил в 1839 г. вторую-золотую медаль; тогда же он получил звание художника. В 1842 г. он получил первую медаль за программу „Лаокоон с детьми в борьбе со змеями“. Командировка за границу, о которой Соколов упоминает в связи с „Прометеем“, состоялась позже, в 1845 г. Фаворит Брюллова сумел сделать не только

карьеру (в 1855 г. получил звание академика, в 1861 - профессора), но и нажил состояние; на оставшийся после его смерти капитал была учреждена при Ак. Худ. стипендия.

78. Кукук, второстепенный швейцарский пейзажист первой половины XIX в.

79. Калам, Александр (1810—1864), французский швейцарец, писавший по преимуществу альпийские пейзажи; имел значительное влияние в Германии.

80. Соколов говорит об одной из выставок 40-х годов. Айвазовский (1817—1900), вернувшись в 1844 г. из заграничной поездки, пользовался уже громкой известностью и был признан академиком.

81. Мордвинов, Александр Николаевич, проф. (1800—1858), художник-любитель, пейзажист, сын адмирала Мордвинова (деятеля павловского и александровского времени).

82. Воробьев, Михаил Никифорович (1787—1855), проф. Ак. Худ.; совершил в 1820 г. путешествие в Палестину, где запечатлел все места, чтимые христианами.

83. Ладюрнер, Адольф Игнатьевич (ум. 1855 г.), академик живописи, автор многих портретов и батальных картин.

84. Пименов, Николай Степанович (1812—1864), один из виднейших скульптуров николаевской эпохи, проф. Ак. Худ., академик; автор огромных статуй в Исаак. соборе, нескольких памятников и др. Статуя „Русский парень, играющий в бабки“, о которой упоминает Соколов („Бабошник“), была исполнена им в 1836 г; статуя же „Парень, играющий в свайку“ („Сваешник“) принадлежит не ему, как ошибочно указывает Соколов, а А. В. Логановскому (1812—1855); она была исполнена в 1835 г. Обе эти статуи находятся в Гос. Русском Музее, а их чугунные отливки — в Детском Селе, перед Александровским дворцом.

85. Ставассер, Петр Андреевич (1816—1850), скульптор, академик, автор ряда детских жанров.

86. О Рамазанове см. примечание 66-е.

87. Лебедев, Михаил Иванович (1811—1837), пейзажист, автор видов Петербурга и окрестностей.

88. Шамшин, Петр Михайлович (1811—1895), исторический живописец, акад., проф., ректор Ак. Худ.

89. Скотти, Михаил Иванович (1814—1861), портретист и жанрист, академик с 1845 г., проф. с 1855 г.

90. Завьялов, Федор Семенович (1810—1856), исторический живописец, акад. и профессор.

91. Петровский, Петр Степанович (1815—1842), ученик Ак. Худ. с 1831 по 1839 г.; автор ряда картин на библейские темы.

92. Моллер, Федор Антонович (1812—1875), получил за упомянутую Соколовым картину „Поцелуй“ звание академика в 1840 г.; за карт. „Иоанн на остр. Патмос“ (находится в Русском Музее) получил в 1857 г. звание профессора.

93. Иордан, Федор Иванович (1800—1883), гравер, акад. проф. и ректор Ак. Худ., автор „Записок“.

94. Уткин, Николай Иванович (1780—1868), гравер, академик, проф. и библиотекарь Ак. Худ.

95. О Тоне см. примечание 30-е.

96. Штельб, Карл Карлович (1812—1894), окончил Ак. Худ. в 1847 г., акад. архитектуры, профессор.

97. Лагорио, Лев Феликсович (1827—1905), пейзажист, ученик Ак. Худ. с 1843 по 1850 г.; с 1860 г.—профессор.

98. Бейдеман, Александр Егорович (1826—1869), живописец исторический; окончил Ак. Худ. в 1855 г.; с 1860 г.—академик, с 1861—профессор.

99. Агин, Александр Алексеевич (1817—1870), учился в Ак. Худ. с 1834 г. по 1839 г. Автор известных рисунков к „Мертвым Душам“ Гоголя, к „Тарантасу“ В. Соллогуба, к „Ветхому Завету“, ряда бытовых рисунков в журн. „Иллюстрация“, в „Физиологии Петербурга“ (1845 г.) и др. О нем смотри книгу К. С. Кузьминского „Художник-иллюстратор А. Агин“.

Будучи в Академии, Агин крайне бедствовал. М. П. Клодт,

бравший уроки рисования у А. А. Агина, рассказывает (цитируем по Кузьминскому), что приходя к Агину на урок, он не раз заставлял своего учителя в холщевом пиджаке и до-нельзя поношенных брюках, брат же его Василий сидел в одном нижнем белье, так как у обоих был только один костюм. Обедали братья и их товарищ Беляев следующим образом. Между ними стояла табуретка, заменяющая стол; на табуретке лежал кусок черного хлеба и стоял судок с трактирными щами. Ели все трое по очереди единственной деревянной ложкой, висевшей на веревке, спускавшейся с потолка. Рисовали, за неимением стола, на подоконнике. Сходные сведения имеются в воспоминаниях Л. М. Жемчужникова („Вестник Европы“, 1900, кн. 9 и 12), сообщающего, что братья Агины „ели черный хлеб и картофель и рады были, когда могли достать и эту пищу. Нередко сапоги у них были без подошв, вместо которых прикреплялся картон“.

В Русском Музее имеется рисунок П. А. Федотова, изображающий обоих братьев Агиных, В. Зотова, А. Козлова и самого Федотова.

100. Клодт фон Юргенсбург, Петр Карлович, барон (1805—1867), скульптор, акад. и проф., автор памятника Николаю I, конных групп на Анничковом мосту, памятника Крылову (1855) и др. О нем Соколов подробно рассказывает в дальнейшем (гл. XIII).

101. Об этом периоде жизни Н. А. Некрасова (1821—1877) один из его биографов (Л. Мельшин-Якубович) говорит: „целых восемь лет (1838—1846) человек подвергался опасности зачахнуть от непосильной и неблагодарной работы, даже буквально умереть с голоду“.

борник, о котором идет речь, имел выдающийся успех у публики, благодаря появлению в нем „Бедных людей“ Достоевского.

102. Сенковский, Осип Иванович (1800—1858), критик и востоковед, профессор Виленского и Петерб. университетов,

член-корреспондент Ак. Наук; с 1834 г. издавал со Смирдиным „Библиотеку для чтения“; написал огромное количество сочинений по всевозможным отраслям знания. Барон Брамбеус—литер. псевдоним Сенковского.

Александр Дюма в своих „Впечатлениях от поездки в Россию“ отмечает, что „Библиотека для чтения“ имела колоссальный успех, пока ею руководил профессор Сенковский, который с удивительной проницательностью понял умственные потребности эпохи и, не особенно заботясь о просвещении своих читателей, всегда, однако, заботился о том, чтобы их развлекать“.

П. Н. Столпянский в книге „Старый Петербург (Музыка и музицирование“) вспоминает об одном изобретении Сенковского:

„В 1845 году весь Петербург заинтересовался новым вымыслом, который воспроизвел таинственный барон Брамбеус—Осип Иванович Сенковский. Оказалось, что „барон Брамбеус“ не только профессор-ориентолог, не только редактор „Библиотеки для чтения“ и литератор-автор сатирических повестей, но и музыкант-изобретатель. Им был выдуман и помощью двух музыкальных мастеров Петербурга Х. И. Генча и Гиберы воспроизведен особый инструмент, который был назван „клави-оркестром“. Наружность клави-оркестра была следующая: он занимал в комнате менее места, чем обыкновенный флигель—два с половиною аршина в квадрате, а в высоту имел $3\frac{1}{2}$ аршина, наружность его гладкая, без всяких украшений: везде чистое палисандровое дерево почти без примеси металлов. Как мебель, клави-оркестр (по представлениям того времени) отлично хорош и превосходно убирает комнату. Со всех четырех сторон—прозрачные, створчатые двери позволяют видеть внутренность, наполненную множеством деревянных и медных инструментов. Одни только струнные инструменты закрыты кругом от пыли и спереди заслонены рамкою, обтянутой тафтой нежно-голубого цвета, и возвышающейся над клавиатурой.

К той же рамке приделан нотный мольберт с двумя бронзовыми подсвечниками.

Играть на этом клави-оркестре приходилось помощью двух клавиатур и двух родов педалей (общее число их было 20); десять впереди и прижимались носком ноги, десять позади и прижимались пяткою. Особенности регистров заключались в перемене тембров, так (по описанию Кукольника в „Иллюстрации“, очевидно со слов самого Сенковского) регистр флейт переменял четыре раза свой тембр: сперва „обыкновенная флейта“—отл. чно хорошая, потом та же флейта с „поющим“ странным тембром, удивительно сладким с переливами и дрожаниями, которых в подлинной флейте нет; наконец, флейта с „тенорным фистульным тембром“, очень звучным, очень поющим и вибрирующим. Далее: „один и тот же клавиш, без перемены педалей, давал за одним пожатием продолжительный звук струнного инструмента, а за другим, несколько различным, *pizzicato* на той же струне! В одно и то же время можно было играть на виолончели и арфе, ничего не передвигая“. Звуки регистра фаготов были так сильны и полнозвучны, что от одной ноты дрожали стекла в окошках зала.

Инструмент был не вполне готов по следующей уважительной причине— „все время постройки с опытами продолжалось не более 26 месяцев, но изобретатель так нетерпеливо желал поскорее насладиться своим созданием, что некоторые весьма интересные регистры, уже совсем готовые, не поставлены на свои места, для того только, чтоб на прочих можно было играть в день переезда семейства его с дачи в город“. И, несмотря на все это, впечатление от игры было следующее: „Два даровитые артиста, ученый капельмейстер В. М. Кажинский и превосходный фортепианист Ф. И. Шиллер, разыграли при нас почти всего Моцартова „Дон-Жуана“, и мы не можем высказать эффекта, произведенного в нас этим волшебным инструментом, который, спешим прибавить, создан русским умом и исполнен под руководством изобретателя. Мы слушали

с удивлением и восторгом эти чистые, верные, полные, бесконечно разнообразные звуки, то сильные как гром, то нежные и сладкие как весенний воздух; звуки, которых тембре беспрерывно меняется по воле музыканта, раздаваясь попеременно или вместе всеми известными звуками оркестра и нередко представляя изумленному слуху тоны каких-то новых, неведомых инструментов, удивительной приятности и силы“.

Такой восторженный отзыв был помещен или самим изобретателем, или его ближайшим приятелем. Другой современник—положим, литературный противник—Ф. Булгарин, на вопрос по поводу клави-оркестра, что это такое, отвечал: „это нечто вроде органа, но не орган“. Словом, такого буйного восторга Ф. Булгарин не выражал“.

П. В. Анненков („Литер. воспоминания“), говоря о литературном триумвирате О. И. Сенковского, Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина, выросшем „на благодарной почве Смирдинских капиталов“, отзывется о Сенковском следующим образом: „Неистощимое, часто дельное и почти всегда едкое остроумие Сенковского, глумившегося над русской quasi наукой, старалось, вместе с тем, удалить всякую серьезную попытку к самостоятельному труду и отравить насмешкой источники, к которым труд этот мог бы обратиться“.

Пушкин был одно время сотрудником „Библиотеки для чтения“, но характер, приданный этому изданию Сенковским и отношение его к Пушкину принудили поэта отказаться от сотрудничества в „Библ.“. В письме к Нащокину (1835 г.) Пушкин писал: „Сенковский такая бестия, а Смирдин такая дура—что с ними связываться невозможно“.

Гоголь также отрицательно относился к журналу Сенковского (см. статью „О движении журнальной литературы“ в „Современнике“, 1836 г., т. I).

103. Влияние Жорж Занд на русскую литературу было одно время весьма значительно. Это влияние испытали Белин-

ский (вначале относившийся к Ж. З. отрицательно), Тургенев, Герцен, Достоевский и Щедрин.

104. См. примечание 39.

105. Рубини (1795—1854) — знаменитый итальянский певец, тенор, выступал в Петербурге в 1844 г. одновременно с Тамбурини.

106. Виардо, Полина, дочь певца Гарсиа и сестра Марии Малибран, ученица своего отца и Листа, обладательница замечательного контральто (от фа малой октавы до верхнего сопранового до). Известна ее роль в жизни Тургенева, который 20 лет жил в доме ее мужа; об их отношениях см. „Воспоминания“ А. Я. Панаевой гл. 6. По поводу выступлений Виардо и успехов итальянской оперы П. Н. Столпянский („Старый Петербург“. Музыка и музицирование“) приводит следующие показания современников:

„Лишь только появилась на сцену г-жа Виардо Гарсия, началось торжество... В склициания, рукоплескания, цветы и все это продолжалось для нее и Рубини во все представление, от первой ноты до последней. Когда общий голос при окончательной последней арии вызвал знаменитую певицу, из-за кулис вышел Рубини и вручил ей от имени публики золотой, осыпанный драгоценными камнями „porte bouquet“ и в ту же минуту тысячи букетов и гирлянд посыпались на сцену при оглушительных рукоплесканиях и восклицаниях.

„Г-жу Виардо вызывали 18 раз. Потом по закрытии занавеса вызвали г-на Тамбурини, осыпали цветами и венками. А Рубини вручил ему от имени публики богатую серебряную вазу.

„После того с полчаса снова продолжались вызовы трех первых знаменитостей... И появилась Виардо и преклонившись перед первым европейским певцом (Рубини), приветствовала его и надела на его голову золотой венец с драгоценными камнями от имени публики...“.

В 1843 году в день отъезда другой знаменитости, г-жи Аль-

бер, поклонники ее таланта собираются на Английской набережной с букетами, которыми осыпают ее дорогу, и венками, которые ей подносят. Пароход отчаливает от пристани и новые букеты летят на патубу с восклицаниями: *adieu! au revoir! Revenez à nous! Bon voyage!* долго оглашают воздух“.

И публицисты того времени тщательно описывают все эти овации, все эти восторги, и глубокомысленно и основательно примечают:

„Тогда как в Лондоне толкуют о допущении евреев в парламент, тогда как в Париже оппозиция в парламенте депутатов готовит грозу, у нас (то-то счастливая Аркадия!! добавим от себя), у нас вместо политических страстей играют иные страсти, вместо борьбы за мнения идут толки о том, быть или не быть на будущий год Итальянской опере в Петербурге“.

Театр, театральные восторги поощрялись потому, что их считали благодетельным клапаном, помощью которого можно было предупреждать недовольство действительностью.

Не до политики когда нужно поднести букет Виардо или пойти послушать Гугеноты Мейербера с таким, так блестяще переделанным (об этом ниже) либретто.

В эпоху максимального развития крепостного права, которое уже решительно не соответствовало экономическому развитию страны, в эпоху страшного террора и угнетения всякой свободной мысли (а этот террор и угнетение особенно ярко проявляются, когда именно бывает указываемое несоотношение)—„свободооо искусство“ поддерживалось, культивировалось и поощрялось...

107. Каратыгин, Петр Андреевич (1805—1879), актер-комик и водевилист, сын актера Андр. Вас. Каратыгина (1704—1831), брат знаменитого трагика Вас. Андр. Каратыгина (1802—1853).

108. Мартынов, Александр Евстафьевич (1816—1860), знаменитый актер, обративший на себя в 40-х годах внимание Белинского; особенный успех имели его выступления в 50-х

годах в пьесах Островского. Учился у П. А. Каратыгина. О нем см. „Воспоминания“ А. Я. Панаевой, гл. 2.

109. Гедеонов, Степан Александрович (1815—1878), директор Имп. Театров и Эрмитажа.

110. Жемчужников, Алексей Михайлович, вместе со своим братом Владимиром и А. К. Толстым писали в „Современнике“ под псевдонимом Кузьмы Пруtkова.

111. Жемчужников, Лев Михайлович, гравер, оформист, автор „Живописной Украины“.

112. Пожарские котлеты славились во времена путешествий в мальпостях между Петербургом и Москвой; о них упоминает Пушкин в письме Соболевскому:

„На дороге отобедай
У Пожарского в Торжке:
Жареных котлет отведай...“.

113. Маковский, Егор Иванович (1800—1866), художник-любитель, учредитель Московского Художественного Класca.

114. См. примечание 66.

115. См. примечание 50.

116. Щепкин, Михаил Семенович (1788—1866), играл в моск. имп. театре с 1822 г.; его главные роли — Фамусов и городничий. Любопытные сведения о Щепкине и его отношениях к тогдашним передовым литературным кругам имеются в „Литер. воспоминаниях“ И. И. Панаева.

Н. Н. Евреинов („Крепостные актеры“, 1925) говорит о Щепкине: „Щепкин—это новая школа. Щепкин—это подлинный расцвет самобытного русского театра. Это заветное слово того благородного реализма, которое свято хранят наши лучшие театры... Щепкин—это целое направление в русской драме. Это боевой клич труда. Это кристаллизация труда в лаборатории таланта. Это выпад против „нутра“, необразованности, лени. Щепкин—это тот лозунг, который властвует на нашей

сцене больше полусотни лет. Щепкин для России то же, что Тальма для Франции“.

117. Рашель, Элиза (1820--1858) считалась в свое время недосыгаемой в области французской классической трагедии; имела в Москве исключительный успех.

118. См. примечание 76.

119. История тропининского портрета Пушкина, рассказанная Соколовым, весьма сложна и, во всяком случае, изложена мемуаристом неверно. Прежде всего, заказчиком портрета был не какой-то Базилевский (возможно, что это имя ошибочно было названо самим Тропининым, но более вероятно, что оно, по некоторому созвучию, придумано Соколовым), а С. А. Соболевский (1803—1870) известный библиофил и библиограф, остроумец и бонмотист, приятель Пушкина.

Хорошо знавший Соболевского П. И. Бартенев, который получил от него не мало сведений о Пушкине (см., напр., „Русск. Арх.“ 1866 г., ст. 1094, 1108, 1145, 1194 и др.), так характеризует его: „В обществе людей, не близко с ним знакомых, Соболевский слыл нахалом (это как бы принадлежность незаконнорождения); но у него было немало прекрасных качеств, и сердца был он чувствительного... Сатирические стихи его останутся навсегда ценным достоянием русской словесности. Был он отчасти нашим Марциалом“ (Русск. Арх.“ 1906 г., кн. III, стр. 562). К сожалению за всю свою долгую жизнь Соболевский не собрался (как и большинство друзей и приятелей поэта) написать ничего цельного о своем знакомстве с Пушкиным, который был тесно связан с Соболевским своеобразными чувствами приязни и близости. О Соболевском см. статью В. И. Саитова в „Сборнике в честь Д. Ф. Кебеко“, С.-ПБ. 1913 г.; первая и далеко не совершенная попытка собрать литературное наследие Соболевского принадлежит В. В. Каллашу, издавшему в Москве в 1912 г. сборник „С. А. Соболевский. Эпиграммы и экспромты“; здесь даны краткая его биография и характеристика. „Современники оставили

много свидетельств о своеобразной личности Соболевского. С особой любовью относился к нему, как указывает Б. Л. Модзалевский, Пушкин, который часто повторял его стихи и остроты. В письмах великого поэта есть много указаний о „Калибане“, „Фальстафе“, „животном“, как он в шутку называл Соболевского. Для него он был друг и „благосклонный“. Письмо сестры поэта, О. С. Павлищевой, так характеризует их взаимные отношения: без Соболевского „Александр жить не может. Все тот же на словах злой насмешник, а на деле добрейший человек“. В свете Соболевского называли „Mylord qu'importe“ (Б. Модзалевский).

Тропинин рассказывал Соколову, что портрет Пушкина писался „в доме Базилевского, на Зубовском бульваре“. Существует, однако, указание (С. Либрович, „Пушкин в портретах“, 1890), что Тропинин согласился писать портрет лишь при условии, чтобы Пушкин ходил к нему на квартиру, в доме Писарева, на Лиговке, близ Каменного моста.

Портрет был написан в 1827 г. В том же году в „Московском Телеграфе“ появилась заметка Н. М. Полевого „О портрете А. С. Пушкина“, где сообщалось: „Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен à trois quarts, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина — столь определенная, выразительная, что всякий хороший живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие“. Заметка оканчивается похвалою Тропинину, которого, по мнению критика, „должно причислить к числу тех артистов, которые делают честь отечеству своими необыкновенными талантами“.

В „Русском Архиве“ 1871 г., кн. I, Н. В. Берг сообщает, со слов С. А. Соболевского, что когда портрет был кончен,

Соболевский находился за границей. Известно, однако, что Соболевский уехал за границу в начале 1829 г. и пробыл там до осени 1833 г. Остается предположить, что после окончания портрета, он находился еще более года в мастерской художника. Берг сообщает, что Тропинин велел отправить Соболевскому. Упаковкою занялся один бедный живописец, Смирнов, над которым Соболевский позволял себе несколько раз неосторожно подтрунивать (в этом рассказ Берга совпадает с рассказом Тропинина), из мести или других причин, Смирнов сыграл над Соболевском шутку: скопировав оригинал „довольно недурно“ (а по рассказу Тропинина „поразительно верно“) и спрятав оригинал, он уложил копию и отправил ее заказчику, который, получив портрет, не сразу опознал подлог. Копия впоследствии вновь очутилась в Москве, где впоследствии приобретена была за ничтожную цену одним собирателем картин. Берг не называет его имени, но, очевидно, этим покупателем и явился Соколов. Подлинник лежал у Смирнова, подвергаясь разным приключениям во время скитаний художника. В 50-х годах Смирнов умер и его имущество было продано с аукциона. Портрет Тропинина, с разными другими картинами попал к мясале Волкову, имевшему магазин на Волхонке, как раз против того места, где начинается Ленивка, в нескольких шагах от квартиры Тропинина. В магазин зашел кн. М. А. Оболенский (по рассказу Тропинина „известный Фролов“ — может быть, издатель журнала „Магазин Земледелия“, переводчик Гумбольдта) увидел портрет и стал расспрашивать Волкова о его происхождении. Тот рассказал историю портрета и предложил для подтверждения ее правдивости обратиться к самому Тропинину, который подтвердил подлинность портрета. По рассказу Тропинина, в редакции Соколова, портрет купил „Базилевский“ (Соболевский), по рассказу Берга портрет купил Оболенский за сто с чем-то рублей.

Иначе освещает историю портрета М. Погодин (в газете „Русский“, 1868 г., № 116). „С. А. Соболевский, один из самых

близких людей к Пушкину“, пишет он,—„заказал на память его портрет Тропинину в тридцатых (sic) годах и написанный портрет долго красовался у него в великолепной золоченой раме. Отъезжая за границу, Соболевский оставил портрет вместе с библиотекой одному общему нашему приятелю, имевшему собственный дом. Этот приятель, оставляя свой дом, передал библиотеку и портрет другому, тоже общему нашему приятелю. У которого из них, первого или второго, крепостной живописец (я помню, его звали Александром) выпросил портрет для снятия копии и возвратил не портрет, а копию. Приятелю, тому или другому, не пришлось взглянуть на возвращенный портрет, и он оставался у них не на глазах. С. А. Соболевский воротился через пять лет из-за границы. Плутня объяснилась вскоре. Копию он бросил, а подлинник очутился у князя М. А. Оболенского, который купил ее у Бардина“.

Точность переданной Погодиным истории оспаривается в его же газете („Русский“, 1868, № 119),—некто Н. Ш. передает по иному историю злополучного портрета: „С. А. Соболевский, отправляясь за границу, просил Пушкина сняться у Тропинина и портрет переслать ему—кажется, в Мадрид. Задача художника выполнена художественно. Дело стояло за отправкой, а покойный Тропинин был куда как тяжел для исправления комиссий. Ему, по его собственному признанию, легче было написать несколько портретов, чем одно письмо. А тут еще отправка, да за границу! К счастью, зашел к нему один художник (Смирнов или Смирновский?), взглянул на портрет, полюбовался и предложил отправить посылку по назначению—что и исполнил. Только отправлен был не оригинал, а копия, которая чуть ли в Нью-Йорке не побывала. Впоследствии обман открылся. Подлинник очутился у Гаврилы Григорьевича Волкова, где и куплен кн. М. А. Оболенским“.

Заметка Погодина вызвала еще одно опровержение, которому Погодин хотя и дал место на столбцах своей газеты, но называет его „совершенно ложным“. По словам анонимного

автора заметки (подпись—„Между нами“) Пушкин сам заказал портрет Тропинину, тайком, и поднес его, в виде сюрприза, Соболевскому. Стоил этот портрет Пушкину будто бы 300 р. Соболевский, уезжая за границу, увез с собою уменьшенную копию, сделанную „нарочно на сей предмет А. Н. Е.“

Таков сложный конгломерат фактов и легенд, скопившихся вокруг тропининского „Пушкина“.

120. Подключников, Николай Иванович (1813—1877), живописец-реставратор, окончил Московское училище живописи и ваяния, получил в 1839 г. от Академии Художеств звание свободного художника за картину „Вид церкви Василия Блаженного в Москве“.

121. Внутренность Мраморного Дворца была переделана в середине XIX в.; от XVIII века сохранились лишь парадная лестница и большой зал, от еланный разноцветным мрамором изящными и легкими орнаментами и скульптурами Шубина и Козловского.

122. См. примечание 100.

123. Клодт фон-Юргенсбург, Михаил Петрович барон (1835—1914), жанрист, учился в Ак. Худ. с 1852 по 1762 г.; в 1867 г. получил звание академика. Кроме живописи занимался гравированием (офорт).

122. Работами этими руководил американский инженер Уистлер, отец знаменитого живописца Джемса Уистлера, который в те годы также находился в России и был учеником Академии Художеств.

125. Анненков, Павел Васильевич (1813—1877), писатель, автор воспоминаний и критических очерков, издатель сочинений Пушкина и материалов к его биографии.

126. Речь идет, очевидно, о плане издания сочинений Пушкина, которые были выпущены Анненковым в 1855—57 г. г. в 7 томах.

127. Боткин, Василий Петрович (1810—1869) меценат, писатель из кружка Белинского, участник „Отечественных за-

писок" и „Современника“. „Письма сб Испании" появились в „Современнике" в 1847 г. См. о нем воспоминания П. В. Анненкова, Д. В. Григоровича, И. И. Панаева, А. Я. Панаевой.

128. Юм, известный спирит, устраивал сеансы у гр. Кушелева-Безбородко и в других аристократических домах.

129. См примечание 32-е.

130. См. примечание 33-е. В данном случае Соколов ошибочно называет Резанова—Рязанцевым. Существовал архитектор И. А. Резанцев (академик с 1848 г.), но Московский храм Христа Спасителя строил А. И. Резанов, вместе с Каменским.

131. Лаблаш, знаменитый певец, выступавший в 40-х годах в Петербурге в составе Итальянской оперы.

132. Гроппиус, Мартин (1824—1880), берлинский архитектор и живописец, насаждавший в Берлине ренессансовую архитектуру. Он же работал в качестве декоратора берлинских королевских театров. У него учился русский художник-декоратор К. Ф. Вальц, рассказывающий в своих мемуарах („65 лет в театре", изд. „Academia", 1928) следующее:

„Гроппиус считался в то время мировой величиной и дело у него было поставлено на соответствующую ногу. Громадные мастерские, масса помощников и подручных художников, огромные полотна декораций, которые писались для многих сцен Европы—все это было развернуто в таких масштабах, которых впоследствии мне уже нигде не приходилось видеть“.

Вальц сообщает, что в 1861 г. управляющий Московским казенным театром Львов заказал несколько декораций Гроппиусу для Большого театра.

133. Сухозанет, Иван Онуфриевич (1788—1861), директор Военной Академии, генерал от артиллерии.

134. Верстовский, Алексей Николаевич (1799—1862), композитор, предтеча Глинки по основанию национальной русской оперы „Аскольдова могила" была написана в 1835 г. К. Ф. Вальц в своих воспоминаниях („65 лет в театре") замечает по поводу авторства „Аскольдовой могилы" следующее:

„Злые языки в то время говорили, что Варламов принимал живейшее участие в композиции музыки „Аскольдовой могилы“, но правдоподобность этой сплетни осталась тайной Верстовского и Варламова“.

135. См. примечание 59.

136. Ме ж о в, Владимир Измайлович (1834—1894), автор свыше 50 библиографических трудов, из которых главнейшие „Русск. истор. библиография 1865—1875 г.“, „Сибирская библиография“ (1891—1892), „Библиография Азии“ (1891—1892).

137. Поэт Дмитрий Владимирович Веневитинов, умер в 1827 г. (р. в 1805); таким образом, либо „новость“, сообщенная Соколову в салоне Соллогуба запоздала на добрых два десятка лет, либо Соколов допустил ошибку, приняв за новость давно минувшее событие.

138. Лонгинов, Михаил Николаевич (1823—1875), библиограф, автор труда „Новиков и московские мартинисты“; с 1871 г.—начальник Главного Управления по делам печати.

139. Дворец в Мерчике описан в книге Г. К. Лукомского „Старинные усадьбы Харьковской губернии“, 1917 г.

140. Аммон, Владимир Федорович (1826—1879), пейзажист, с 1859—академик.

141. Щербатов, Алексей Григорьевич (1776—1848), князь, генерал от инфантерии, московский генерал-губернатор с 1844.

142. Здесь П. П. Соколов возвращается к событиям, о которых он уже упоминал раньше, и снова ошибается в указании их порядка.

143. Опера „Руслан и Людмила“ была впервые поставлена в 1842 г.

144. Опера „Гугеноты“ была впервые поставлена в Париже в 1836 г.

145. Ковалевский, Егор Петрович (1811—1868) горный инженер, путешественник и писатель, автор „Путешествия во внутреннюю Африку“, „Путешествия в Китай“ и др. Писал также беллетристические произведения под псевдонимами Нил

Безымянный и Е. Горев. Был одним из основателей и первых председателей Литературного фонда. В сборнике Литературного фонда („XXV-летие“) племянник Е. П. Ковалевского П. М. Ковалевский („Встречи на жизненном пути“) оставил подробную характеристику этой крупной личности.

„Имя это, теперь забытое, пользовалось, между концом тридцатых и шестидесятых годов, известностью в высшем служебном, литературном и одно время дипломатическом мире. Может быть, таким успехом оно отчасти было обязано счастливой случайности, подобно тому, как актер благодарной роли; но когда видишь, сколько очень счастливых случайностей и самых благодарных ролей проходят мимо людей бесследно, то поневоле станешь искать еще чего то. И вот именно этим „еще чем то“ и был наделен от природы Егор Петрович. У нас более, чем где либо, достается человеку брать врожденными способностями, где нужны познания, как солдату штыком, где правильная осада.

Егор Петрович принадлежал к таким людям. Познания ему доставил харьковский университет; но эти познания были совсем не те, с какими ждало его служебное поприще; служебное же поприще оказалось опять не тем, на котором ему суждено было проявить свои дарования. С курсом философии в голове—потому что его поместили на квартире у профессора, читавшего философию—он очутился перед лабиринтом сибирских рудников, потому что старший брат его был главным горным начальником в Сибири,—а из неведомого ему мира рудников прямо и неожиданно попал в столько же неведомый мир дипломатии, потому что того захотел случай.

В азиатском департаменте его отчет о командировке для разыскания в Черной Горе месторождений золота (которые, за другими занятиями, так и не были разысканы) имеет гораздо больший успех, чем в горном. Нессельроде, в качестве крошечного Меттерниха, косо посматривающий на неприятное вторжение предприимчивого добровольца в область тиши да

глади (хоть и без божьей благодати) его дипломатии, не считал себя в праве не назначить ему аудиенции после знаменитого приема в Аничковском дворце.

С этих пор Е. П. является первым охотником и кандидатом на поручения рисковые или в странах полудиких. Мало времени спустя в свите поднявшегося войною на верблюдах и казачьих скакунах графа (В. А.) Перовского, на Хивинские хайства, он уже гораздо более в качестве дипломатического чиновника, чем горного инженера, голодает и мерзнет вместе с верблюдами и казаками в степи; отбивается самолично в дрянном земляном укреплении от нападающих дикарей и отсиживается на конине до подоспевшей выручки, за что и получает желтуху, которая окрашивает его в цвет самой чистой охры, но не получает Георгия, к которому его представляют. Император Николай мог поступиться правилами международных отношений, как было в первом случае, но не правилами награждения орденами, и Е. П. за подвиг, бесспорно военный, получил какой-то совершенно статский крестик...¹

Тут он окончательно сознает в себе странствователя, даже присволяет это название целому ряду рассказов о совершенных им странствованиях. Поданное в лакомом виде беллетристических очерков, не без приправы малороссийского юмора, продававшееся при том дешево и в небольших выпусках,—то самое что тщетно и не раз до него предлагалось, под пресным описанием ученого, пошло раскупаться и читаться на расхват. Критика хвалила, редакторы журналов просили статей и ставили под ними „автора Странствователя по суше и морям“. Имя Е. П. Ковалевского сделалось литературным, именем.

С воцарением Александра II скитальческая жизнь Е. П. кончается. В качестве директора департамента министерства ино-

¹ Поход в Хиву графа В. А. Перовского совершен был зимой 1839—40 г. Вместе с Е. П. Ковалевским в нем принимал участие В. И. Даль.

странных дел,—который хотя и называется азиатским, но есть в то же время африканский, американский, австралийский, славянский, греческий и т. д.,—и в чине генерала настает для него оседлость, в казенной квартире, с курьером в прихожей, с обязательною потерей времени на прочтение и подписывания того, что пишется и, доколе стоят мир и департаменты, все не допишется...

Время его управления не походило на то, которое ему предшествовало и едва ли то, которое последовало за ним, на него походило. Славяне, персы, туркмены, греки, бухарцы, до тех пор знавшие только спину департаментского швейцара, смело и свободно шли в кабинет директора, вместо того, чтоб ожидать на морозе и дожде, когда он покажется у подъезда, закутанный в шубу и примет от них прошение, которое прочтет столоначальник. Чтобы увидеть Восток в лицах, следовало побывать у Егора Петровича; чтобы послушаться пререканий славян между собою, понять причину их разрозненности, а от того и приниженности в среде других народностей,—нужно было посидеть у Е. П.“

146. Бравура, Александр Алексеандрович, архитектор, окончивший курс Акад. Художеств в 1847 г.; с 1850 г.—академик.

147. О Полюстрове М. И. Пыляев („Забытое прошлое окрестностей Петербурга“, 1889) сообщает следующие сведения.

„За величественным садом Безбородки, в лесу, существовали знаменитые железные источники, открытые при Петре Великом его лейб-медиком Блументروстом. Этими водами первый пользовался сам царь; местность, в которой они находились, была болотистая, и потому железистые воды в первое время назывались болотными, а по латыни „palustris“; отсюда и взялось название деревни Полюстрово, которую населил граф Безбородко своими крестьянами из других великороссийских деревень. В сороковых годах на водах было несколько счастливых выздоровлений, молва о целебности быстро разнеслась

Здесь явился курзал с музыкой, танцами, фейерверками, оркестром, где дирижировал Шиндлер и т. д. В новом курзале хозяйничал известный Ив. Ив. Излер. Граф Кушелев гостеприимно открыл для публики свой роскошный парк, явились праздники и вечера в Тиволи,—так был назван вокзал в честь развалин, существующих в саду. Но, к сожалению, Полюстрово удержало свою славу недолго и лет через десять воды были позабыты.

В 50-х годах на Безбородкинской даче постоянно жил летом ее владелец граф Г. А. Кушелев-Безбородко. В это время здесь часто устраивались праздники и домашние спектакли. Граф был меценат в широком смысле этого слова, и на его даче почти безвыездно проживали все лето некоторые из наших литераторов. Одно время здесь даже жил французский романист Александр Дюма-отец и вместе с ним гостил шотландец-духовидец Юм. Популярнейший из романистов, проживая здесь, сотрудничал в „*Journal de St.-Petersbourg*“ и по утрам стрелял ворон. Из литераторов жили на этой даче в пятидесятых годах: А. Ф. Писемский, Л. Н. Мей, В. С. Курочкин, И. Ф. Горбунов, Н. Кроль, Е. Молер, В. В. Крестовский, Дрянский, А. Дружинин, В. В. Толбин и Апполон Григорьев“.

148. Кушелев-Безбородко, Григорий Александрович (1832—1870), граф, миллионер-меценат, основатель журнала „Русское Слово“; занимался беллетристикой; издал сочинения Мея, Полонского, Майкова.

О его гостеприимном доме рассказывает в своих воспоминаниях Д. В. Григорович.

„Я пользовался свободными днями, посещая моих знакомых и в том числе графа Г. А. Кушелева-Безбородко, проводившего лето на своей даче в Полюстрово. Станный вид имел в то время этот дом или, скорее, общество, которое в нем находилось. Оно придавало ему характер караван-сарая или, скорее, большой гостиницы для приезжающих. Сюда по старой памяти, являлись родственники и рядом с ними всякий сброд

чужестранных и русских пришлецов, игроков, мелких журналистов, их жен, приятелей и т. д. Все это размещалось по разным отделениям обширного, когда-то барского, дома, жило, ело, пило, играло в карты, предпринимало прогулки в экипажах графа, нисколько не стесняясь хозяином, который, по бесконечной слабости характера и отчасти болезненности, ни во что не вмешивался, предоставляя каждому полную свободу делать что угодно. При виде какойнибудь слишком уже неблагоприятной выходки или скандала,—что случалось нередко,—он спешно уходил в дальние комнаты, нервно передергивался и не то раздраженно, не то посмеиваясь, повторял:—Это, однакож, черт знает что такое!—после чего возвращался к гостям как ни в чем не бывало“.

„Всуже больно было видеть, как беспутно разматывалось огромное состояние, доставшееся ему в наследство. У гр. Кушелева я присутствовал на свадьбе известного престоиджитатора Юма, венчавшегося с сестрою жены графа, урожденной Кроль. Шаферами со стороны Юма были, между прочим, присланные государем Александром II два флигель-адъютанта: граф А. Бобринский (учредитель золотого банка) и граф А. К. Толстой, автор трагедии Смерть Иоанна Грозного и многих других сочинений. На этой свадьбе познакомился я с Алекс. Дюма. Во время поездки в Париж, граф Кушелев, узнав о намерении Дюма сделать путешествие по России, пригласил его, проездом, остановиться у него в Полюстрово. Дюма, не успевший еще хорошенько осмотреться, был, кажется, несколько удивлен бестолковщиной, его окружавшей“.

При корректуре примечаний в проверке дат любезно принял участие знаток генеалогии В. К. Лукомский, которому приношу признательность за несколько полезных замечаний.

Э. Г.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕПРОДУКЦИЙ

Академия Художеств в эпоху К. Брюллова.

П. Ф. Соколов.

П. П. Соколов.

А. П. Соколов.

К. П. Брюллов (автопортрет).

К. П. Брюллов (барельеф).

К. П. Брюллов.

Н. В. Кукольник.

Карикатура на К. Брюллова, М. Глинку, Н. Кукольника и др.

В. А. Соллогуб.

П. А. Федотов.

В. В. Самойлов.

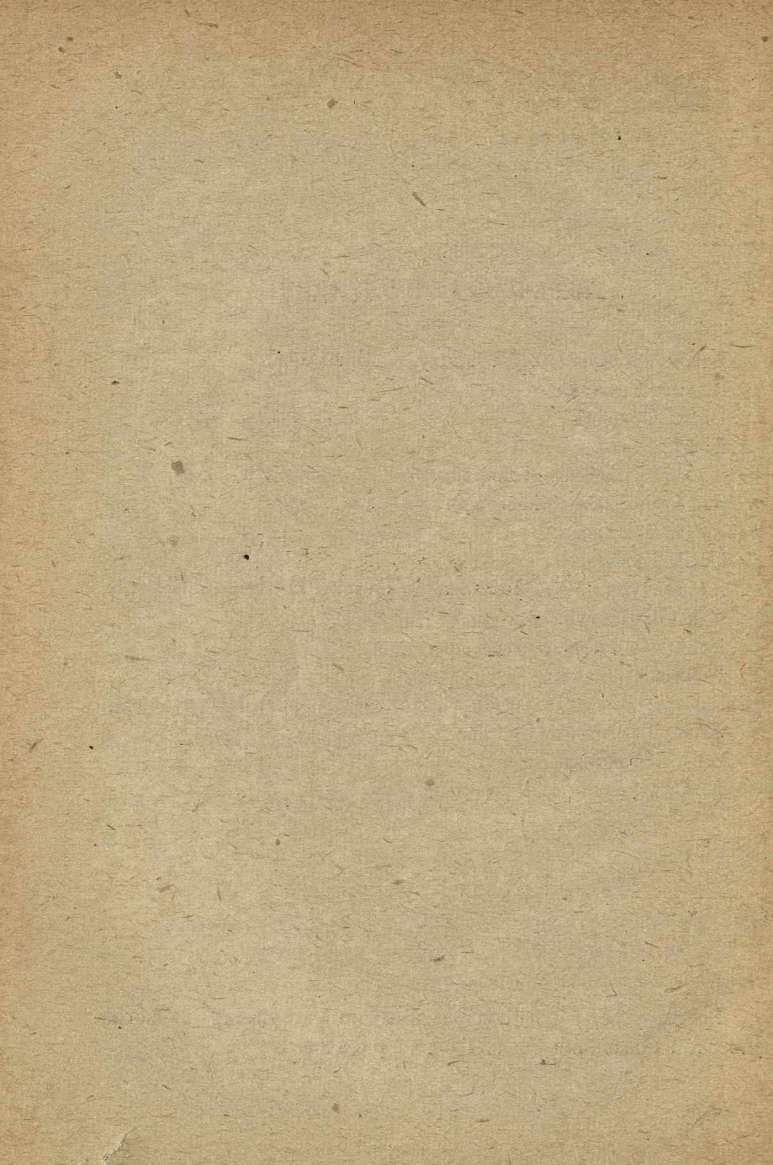
Группа: В. А. Соллогуб, И. И. Панаев, Н. А. Некрасов и др.

А. К. Толстой.

В. А. Тропинин.

А. С. Пушкин.

Все портреты воспроизведены по материалам иконографической коллекции Э. Ф. Голлербаха.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А.

Аванцо 105.
 Агин, А. А. 29, 30, 100, 109,
 169, 262, 327, 328.
 Агин, В. А. 100, 109.
 Адамини, Ф. Л. 71, 300.
 Айвазовский, И. А. 40, 100, 104,
 105, 106, 326.
 Акимов, И. А. 292.
 Александр I 157.
 Александр II 25, 343, 346.
 Александра Иосифовна, вел. кн.
 163, 254, 258.
 Александр-Майер 121.
 Александр Николаевич, цесаре-
 вич 19, 68.
 Александра Федоровна, имп. 19,
 68, 219, 316.
 Аллан 120.
 Альбер 301, 332.
 Аммон, В. Ф. 225, 242, 341.
 Андрианова 137, 138, 139.
 Анненков, П. В. 180, 291, 297,
 331, 339, 340.

Апраксин, С. Ф. 53, 68, 126,
 294.
 Апраксин, Ф. С., гр. 126, 127.
 Ахшарумов 307, 310.

Б.

Бавери 259.
 Базилевский 41, 150—153, 335,
 336, 337.
 Базили 307.
 Балашов 59.
 Бальзак, Онорэ 100.
 Барбе 249.
 Бартенев, П. И. 335.
 Басин, П. В. 48, 292.
 Батюшков, К. Ф. 291
 Батюшков, П. Н. 299.
 Бауман 311.
 Башилов 27, 28, 29, 30.
 Беггров 219.
 Бейдеман, А. Е. 109, 321, 327.
 Белинский, В. Г. 90, 99, 297, 305,
 331, 339.

- Белосельский 276.
 Беляев 328.
 Белянкин, Л. Л. 30.
 Бендо, Н. 68.
 Бенкендорф 25.
 Бенкендорфы 113.
 Бенуа, Ал-др Н. 12, 15, 296, 324.
 Бенуа, Альберт Н. 32.
 Берг 337.
 Бернардский, Е. Е. 320.
 Бестужев-Марлинский 318.
 Благодетель 307.
 Блок, А. А. 8, 9.
 Блох, В. 322.
 Бобринский, А. П. гр. 143, 245, 346.
 Бобринский, П. П. гр. 245.
 Боклевский, П. М. 28.
 Боровиковский, В. Л. 13, 18.
 Боткин, В. П. 27, 90, 182, 298, 305, 339.
 Бравура, А. А. 272, 285, 344.
 Брамбеус, бар.—см. Сенковский.
 Брессан 120.
 Брокгауз 27.
 Бруни, А. К. 72, 300.
 Бруни, Лев 15.
 Бруни, Н. А. 72.
 Бруни, Ф. А. 12, 14, 15.
 Брюлло (Брылло, Брюлловы) 45, 51, 52, 53, 63, 292.
 Брюллов, А. П. 15, 36, 52, 76, 114, 161, 162, 167, 170, 178, 24, 258, 274, 284, 285, 292, 319.
 Брюллов, И. П. 52, 53, 56, 102, 294.
 Брюллов, К. П. 12, 13, 14, 15, 19, 23, 33, 36, 37, 52, 53, 63, 68, 69—71, 73—77, 100, 102—104, 107, 110, 114, 218, 248, 271, 292—294, 296, 299, 302—305, 307, 317, 319, 325.
 Брюллов, П. И. 52, 76, 292.
 Брюллов, Ф. П. 161, 170, 179, 292.
 Брюллов, А. А. 114.
 Брюллова, М. П. 52.
 Брянский, Я. Г. 91, 311.
 Булахов 225, 230.
 Булгаков, К. 25, 37, 83—86, 112, 113, 127, 133—136, 310.
 Булгаков, П. 137, 138.
 Булгаков, Ф. И. 24.
 Булгарин, Ф. 301, 302, 331.
 Бургиньон 244.
 Буринов 310.
 Бутурлины 315.

В.

- Вальц, К. Ф. 340.
 Варламов, А. Е. 92, 214, 311, 341.
 Варламов, К. А. 311.
 Василевский 53, 56, 57.
 Введенский, Иринарх 80, 87, 307.
 Венгеров, С. А. 9.
 Веневитинов, Д. В. 216, 217, 341.
 Венецианов, А. Г. 13.

Верещагин, В. А. 303, 319.
 Верстовский, А. Н. 214, 340.
 Виардо, П. 116, 332, 333.
 Вигель, Ф. Ф. 80, 88, 307, 308.
 Виельгорский, Матвей, Ю., граф
 93, 299, 316, 317.
 Виельгорский, Мих. Ю., граф 27,
 93, 115, 123, 124, 216, 248,
 313, 316.
 Винтергальтер 123.
 Висковатов 57.
 Витаи, И. П. 101, 325.
 Владимир Александрович, вел.
 кн. 71, 112, 300.
 Владиславлев 182.
 Волков, Г. Г. 152, 337.
 Волконская, М., кн. 184, 187,
 188, 189, 190.
 Волконский, П. М., кн. 119.
 Вольф, М. О. 31, 273.
 Воробьев, М. Н. 107, 205, 218,
 326.
 Врангель, Н. Н., бар. 16, 323,
 324.
 Вяземский, П. А., кн. 306, 314;
 315.

Г.

Габер 27.
 Гаварни 300, 323.
 Гагарин, кн. 301.
 Гамазова, Е. А. 221.
 Гамазовы 65.

Гау, В. 18.
 Гедеонов, С. А. 120, 137, 334.
 Гензельт 217.
 Генч 329.
 Герман 83, 308, 310.
 Геоцен, А. И. 332.
 Гибер 329.
 Гильднер 19.
 Глинка, М. И. 68, 77, 78, 92,
 115, 123, 189, 213, 216, 248,
 293, 302—304, 310.
 Гнедич, Н. И. 294.
 Гогарт, В. 323.
 Гоголь, Н. В. 25, 27, 32, 88, 91,
 100, 109, 113, 127, 134, 135,
 210, 296, 307, 327, 331.
 Годунов, Борис 248.
 Голицын, С. М., кн. 101, 325.
 Головинский 87, 88.
 Голохвастов 271.
 Горбунов, И. Ф. 345.
 Горев, Е. 342.
 Горностаев 265, 276—278, 280.
 Готье, В. 30, 113.
 Грановский 298.
 Греч, Н. И. 301, 302, 331.
 Грибоедов, А. С. 25, 27, 28.
 Григорович, В. И. 65, 298.
 Григорович, Д. В. 8, 297, 303,
 313, 317, 340, 345.
 Григорьев, Аполлон 345.
 Григорьев, офиц. 89, 311.
 Гризи 254.
 Грозный, Иоанн 25.

Громов, В. Ф. 25, 221.
Гроппиус 198, 340.
Грот, Я. К. 302.
Гумбольт 337.
Гунгль 324.

Д.

Давыдов 230.
Давыдов, Д. 301.
Давыдов, К. Ю. 316.
Даль, В. И. 343.
Даргомыжский 123.
Дезарно, А. О. 319.
Деккер-Шенк 205, 223, 224.
Деларош 14.
Деларю, М. Д. 78, 79, 80, 81,
161, 163, 165, 166, 307.
Дельвиг, А. А. 307.
Демидов, А. Н. 293.
Демидов 319.
Демут-Малиновский, В. И. 291.
Державин, Г. Р. 230, 294.
Диккенс, Ч. 206, 308.
Димерт, Е. И. 36, 63, 64, 296.
Дитерихс, Л. К. 320.
Дмитриев-Свечин 99, 324.
Достоевский, Ф. М. 8, 87, 88,
90, 112, 307, 308, 310, 328,
332.
Драшусова, Е. А. 306, 307.
Дрейшок 217.
Дрианский 345.
Дружинин, А. В. 323, 345.

Дуров, С. Ф. 78, 79, 80, 81, 82,
86, 88, 119, 164, 307, 310.
Дюма, Александр (отец) 345.
346.

Е.

Егоров, А. Е. 48, 291.
Екатерина II 61, 104.
Елена Павловна, вел. кн. 123,
221.
Елизавета Алексеевна, имп. 19.

Ж.

Жемчужников, А. М. 99, 125,
334.
Жемчужников, В. М. 334.
Жемчужников, худ. 321.
Живокини 67, 139, 298.
Жуковский, В. А. 14, 70, 179,
230, 306.
Журдан 57, 71, 295.

З.

Завьялов, Ф. С. 107, 170, 327.
Занд, Жорж 115, 331, 332.
Зарянко, С. К. 311.
Зауервейд 300.
Зеленцов, К. А. 319.
Зичи, М. А. 30.
Зотов, В. 328.
Зябловский 237.

И.

Иванов, Александр 14.
Иванов, Ард. 311.

Иванова, С. А. 192—198, 254.
Ивановы 184.
Излер, И. И. 222, 272, 345.
Иоанн Грозный 346.
Иогансен 27.
Иордан, Ф. И. 108, 327.

К.

Кабе 79, 307.
Кажинский 210, 211, 330.
Калам 104, 326.
Каллаш, В. В. 335.
Каменинская, М. Ф. 94, 305, 318.
Каменинский, П. П. 94, 318.
Камнищев 296.
Канова, 53, 60.
Карацук, П. А. 117, 302, 333, 334.
Карницкий 76.
Катков, М. М. 113.
Катков, М. Н. 113.
Каткова, М. В. 113.
Катренский, О. А. 145.
Катрев 22.
Катрева, А. В. 184, 204.
Катер 15.
Катт, М. П. 327, 339.
Катт, П. К., бар. 109, 161, 168,
170—179, 295, 328.
Катто, Д. Ф. 335.
Кавалевский, Е. П. 8, 36, 254,
261—265, 278, 279, 341—344.
Кавалевский, П. М. 303, 342.
Казлов, А. 96, 281, 282, 328.
Кальцов 90.

Комарович, В. А. 317.
Комаровский, Н. Е. 313.
Кондаков, С. Н. 24.
Константин Николаевич, вел. кн.
53, 162.
Контский 217.
Корнилов 283.
Королев 309.
Коршунов 322.
Кочубей, В. А., кн. 26, 205—209,
219, 248.
Кракау, А. И. 71, 300.
Краевский, А. А. 27, 90, 98, 323.
Крестовский, В. В. 345.
Кроль, Н. 345.
Крузе 22.
Крылов, И. А. 61, 77, 109, 176,
230, 295, 306.
Кузьминский, К. С. 327.
Кукольник, Н. В. 68, 77, 78, 115,
303—307, 317, 318.
Кукук 104, 326.
Курбатов, В. 295.
Кусовы 79, 82, 87.
Курочкин, В. С. 345.
Кучкин, М. 325.
Кушелев-Безбородко, Г. А., гр.
38, 265, 274, 278, 280, 281,
309, 345.

Кюстин, Адольф 100, 325.

Л.

Лабицкий 308.
Лаблаш 116, 188, 189, 340.

Лаверецкий, Н. А. 311.
Лагорио, Л. Ф. 108, 327.
Ладюрнер, А. И. 107, 319, 326.
Лакиер 308.
Лалаев 71, 65.
Лалаевы 65.
Ламот, А. 30.
Лампи, И. Б. 18.
Лансере 15.
Лауренс 18.
Лебедев, М. И. 107, 327.
Лебедева 140.
Лебрехт, К. А. 325.
Левицкий, Д. Г. 13, 18.
Левицкий, капитан 62.
Левицкий, фотогр. 299.
Лекок, маркиз 267.
Леман 63, 67, 298.
Ленский 140.
Леонова 122.
Либрович, С. Ф. 299, 336.
Лейдесдорф 321.
Леонов 213.
Лонгинов, М. Н. 205, 219—220, 341.
Липранди 80, 88.
Лист 332.
Логановский, А. В. 36, 48, 291, 292, 326.
Лужин 225, 226.
Лукомский, В. К. 346.
Лукомский, Г. К. 341.
Львов, упр. театр. 340.
Львов, А. Ф. 63, 68, 298.

Львов, Ф. 307, 310.
Лялин, А. 325.

М.

Мадаева 122.
Мазарини 121.
Майков, А. 345.
Майков, Л. 113.
Маковская, Л. К. 132, 133.
Маковские 244.
Маковский, В. Е. 130, 323.
Маковский, Е. И. 127, 130, 131, 239, 334.
Маковский, К. Е. 67, 127, 130, 131, 311.
Маковский, Н. Е. 130.
Максимов, А. М. 91, 213, 311.
Малибран 332.
Марно 254, 259.
Мария Александровна, вел. кн. 25.
Мария Николаевна, вел. кн. 19.
Марков, А. Т. 321.
Маркс, А. Ф. 25, 30, 113.
Мартынов, А. Е. 117, 118, 119, 205, 209—213, 258, 333.
Мартынов, Н. С. 324.
Мартьянов, П. К. 21.
Марциал 335.
Межов, В. И. 205, 214—216, 341.
Мей, Л. Н. 345.
Мейербер 259, 333.
Мелихов 294.
Мельшин-Якубович, Л. 328.

Менге, Р. 14.
Меттерних 342.
Мещерская, кн. (рожд. гр. Строгонова) 20.
Мещерский, В. П., кн. 299.
Михаил Николаевич, вел. кн. 246.
Михаил Павлович, вел. кн. 37, 78, 83—86, 137, 221, 310.
Михайлов, Г. К. 100, 103, 104, 325, 326.

Михайлов, Н. 27.
Михельсон 288.
Михневич, В. 22.
Модзалевский, Б. Л. 306, 307, 316, 336.
Молер, Е. 345.
Моллер, Ф. А. 108, 327.
Момбелли 89, 307, 311.
Монферран 282, 283.
Мордвинов, А. Н. 107, 326.
Мосолов 130.
Моцарт 247, 248, 260, 330.
Муравьева 121, 122.
Мятлев 300.

Н.

Наполеон I 283.
Наполеон III 180.
Нахимов 283.
Нащокин, П. В. 331.
Негри 220.
Некрасов, Н. А. 8, 21, 90, 99, 100, 111, 112, 297, 328.
Нессельроде 342.

Николай Александрович, цесар. 124.
Николай Николаев. ст., вел. кн. 25, 246.
Николай I 19, 51, 68, 69, 71, 75, 110, 119, 318, 343.
Новиков 204.

О.

Оболенский, М. А., кн. 337.
Огарев, Н. П. 27.
Одоевский, В. 313.
Ольга Никол., вел. кн. 19.
Ольденбургский, принц 205.
Оом 124.
Орлов-Денисов, гр. 225, 232.
Орлова-Денисова, Н. А., гр. 20, 244.
Островский, А. Н. 334.

П.

Павленков 320.
Павлищева, О. С. 3 6.
Пальм, А. И. 78, 81, 82, 87—90, 119, 164, 307, 310.
Пальчиков, А. В. 25, 225, 232, 233, 244.
Пальчиков, Н. В. 233, 234, 236, 244.
Панаев, И. И. 35, 64, 90, 91, 97, 98, 110, 111, 182, 183, 297, 298, 303, 304, 305, 312, 316—319, 324, 325, 334, 340.
Панаев, Ипполит 68.

Панаева, А. Я. 35, 98, 99, 297,
305, 310 312, 316, 332, 334,
340.

Панаева, М. Е. 64, 92, 297.

Панаевы 27, 63, 64, 65, 68, 297.

Пассек, Т. П. 317.

Перов, В. Г. 323.

Петр I 274.

Петрашевский, М. В. 78, 80, 81,
82, 87, 88, 89, 307, 308.

Петровский 107, 154, 157, 161,
190, 191, 193, 197, 231—233,
236, 237.

Петровский, В. А., гр. 343.

Петипа, М. В. 121.

Петров, О. А. 92, 122, 311.

Петровский, П. О. 327.

Пещуров 47, 49, 50, 51.

Пименов, Н. С. 36, 107, 186,
326.

Писемский, А. Ф. 345.

Пищалкин, А. А. 48, 291.

Плетнев 306.

Плещеев 87, 307, 310.

Погодин, М. 337, 338.

Подклюшников, Н. И. 24, 156—
161, 190—194, 196, 230, 339.

Пожарский 334.

Поздеев 78, 79, 81, 82, 221.

Половцев, М. А. 320.

Полонский, Я. 345.

Польпети 118.

Прихунова 121.

Прудон 79, 807.

Прянишников, худ. 96, 105, 323.
Пугачев 288.

Пуни 122.

Пушкин, А. С. 9, 10, 25, 32, 35,
45, 56, 66, 70, 71, 97, 100, 110,
112, 136, 145, 147, 149—153,
180, 230, 244, 264, 291, 293,
299, 303, 315, 331, 334—336,
338, 339.

Пушкин, С. Л. 299.

Пыляев, М. 295, 298, 310, 344.

Р.

Радина 122.

Разумовская, гр. 293.

Радциг, Е. 301.

Раевский, Н. Н. 46, 291.

Разль, баронесса 26.

Рамазанов, Н. А. 94, 107, 127,
132, 133, 319, 320.

Рафаэль 292.

Рахманов 225, 231, 241.

Резанов 71, 300.

Резанцев, И. А. 340.

Репин, И. Е. 15, 299.

Рибус 139.

Ришелье 121.

Ровинский, Д. А. 314.

Родзиевский 242.

Розен, Е. Ф., бар. 306.

Роландсон 323.

Россет, А. О. 299.

Росси, Ал-др 71, 72, 170, 171,
299.

Росси, Карл 71.

Ростовцев 80.

Рубини 301, 302, 332.

Рубинштейн, А. Г. 216, 299.

Рубинштейн, Н. Г. 299.

Рязанов 184, 185, 186.

С.

Сабуров 180.

Саврасов 36.

Садовский 139.

Сайтов, В. И. 335.

Салтыков 77, 99.

Сальери 247, 248, 260.

Самарин 139, 140.

Самойлов, В. В. 91, 117, 120,
121, 311.

Самойлова, Ю., гр. 99, 324.

Санковская 137, 138.

Сапожников, А. 319.

Сенковский, О. И. 114, 115, 319,
328 - 331.

Серве 324.

Сергей Алаксандрович, вел. кн.
207, 276.

Серра-Каприола, герц. 101, 294.

Сидоров, А. А. 27, 28.

Скотт, Вальтер 296.

Скотти, М. И. 107, 327.

Смирдин, А. 94, 329, 331.

Смирнов 337, 338.

Смирнова, А. О. 315.

Соболевский, С. А. 41, 315, 334—
339.

Соколов, А. А. 283.

Соколов, А. П. 15, 18, 19, 22,
32, 64, 102, 255, 257, 268,
280, 285.

Соколов, И. А. 23.

Соколов, И. И. 22.

Соколов, И. К. 22.

Соколов, Ник. 22.

Соколов, Н. И. 23.

Соколов, П. И. 23.

Соколов, П. К. 22.

Соколов, Павел П., акад. живо-
писи 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 36—45 и далее.

Соколов, Павел Петров,, акад.
скульптуры 23.

Соколов, Петр Павл. 20.

Соколов, Петр Петр. 20, 21, 31,
57, 65, 72, 73, 98, 265, 267—273.

Соколов, П. Ф. 15, 16, 17, 18,
19, 20, 45—51, 53, 55—57,
65, 68, 130, 135, 237, 239,
240, 291, 292, 299.

Соколова, Ю. П. (рожд. Брюл-
лова) 15, 19, 238, 239, 242,
243, 254, 255, 267, 268, 284,
285.

Соллогуб, В. А., гр. 17, 27, 92,
93, 110, 123, 124, 133, 134,
135, 144, 153, 154, 162, 181,
182, 216, 217, 251, 311—315,
327, 341.

Соллогуб, С. М., графиня 123,
124, 181, 217.

Соллогубы, гр. 249.

Солнцев, Ф. Г. 218, 293.

Сосницкий, И. И. 92, 140, 311.

Спешнев 307.

Ставассер, П. А. 107, 326.

Станицкий 99.

Стасов 63, 296.

Степанова, М. В. 265.

Степанов, Н. А. 303, 305.

Степанов, эк. 192, 193, 195.

Столянский, П. Н. 308, 329, 332.

Столыпин, Д. А. 113, 136.

Страдивариус 316.

Стрекалова 20.

Стрелковский 102, 154, 155.

Строгонов, граф 55, 294, 295.

Строгонова, графиня 55.

Струговщиков, А. Н. 303.

Суворов 59, 60, 283.

Сусанин, Иван 25.

Сухожанет, И. О. 209, 340.

Сю, Евгений 302.

Т.

Тагеев, Б. Л. 24, 25, 32, 33.

Тамани 122.

Тамбурины 116, 332.

Теккерей 368.

Терещенко, М. И. 9.

Тиблен, Н. 27.

Тимм, В. Ф. 36, 74, 248, 283,
300—302, 319.

Толбин, В. В. 345.

Толстой, А. К., гр. 124, 125, 334
346.

Толстой, Ф. П. 36, 39, 94, 95,
251, 282, 317—319.

Толь 87, 310.

Тон, А. А. 299.

Тон, К. А. 23, 71, 108, 299.

Тропинин, В. А. 14, 41, 102,
136, 147—153, 156, 230, 325,
335—338.

Трубецкой 136.

Трутовский, К. 323.

Тургенев, И. С. 27, 90, 297, 332.

Тюлев 301.

Тютчев, Ф. И. 313.

У.

Угрюмов, Г. И. 292.

Уистлер, Джемс 295, 339.

Уистлер, инж. 339.

Уткин, Н. И. 108, 145, 205, 218,
291, 327.

Ф.

Фальков, Л. 271.

Федотов, П. А. 14, 15, 24, 34,
35, 95, 96, 282, 320—323.

Фельтен, Ю. М. 295.

Фет, А. А. 99, 298.

Финдейзен, Н. Ф. 324.

Фролов, художн. 105—106.

Фролов 152, 337.

Фурье 79, 307.

Х.

Харитонов 324.
Хмельницкий 79, 88.

Ч.

Чаадаев, П. Я. 308.
Чевкин 62, 296.
Черенцов, А. Ф. 78, 79, 81, 166.
Чернышев 77, 262, 263, 323.
Чернышевский, Н. Г. 37, 80.

Ш.

Шамшин, П. М. 107, 327.
Шаншиев, Н. С. 221.
Шаповалов 193, 225, 230, 244.
Шарлемань, А. 30.
Шебуев, В. К. 48, 292, 325.
Шевченко, Т. 319.
Шекспир 120.
Шибанов 25.
Шиллер, Ф. И. 330.
Шрейндер 18.
Шгельб, К. К. 168, 327.

Штраус, И. 308.
Шумский 139.

Щ.

Щапин 224.
Щедрин 332.
Щепкин, М. С. 26, 139, 140, 334, 335.
Щербатов, А. Г., кн. 225, 226, 229, 341.
Щербатов, кн., художн. 126.
Щербатов, кн. 20.

Э.

Элькан 302.
Энгр 14.

Ю.

Юм 183, 250, 346.

Я.

Языков, М. А. 298.
Языков, Н. М. 27.
Яненко, Я. Ф. 68, 77, 78, 304.

СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
Э. Голлербах. П. П. Соколов и его „Воспоминания“ . . .	7
Акад. П. П. Соколов. Воспоминания:	
Глава I	45
„ II	53
„ III	63
„ IV	68
„ V	78
„ VI	90
„ VII	100
„ VIII	114
„ IX	123
„ X	127
„ XI	136
„ XII	154
„ XIII	161
„ XIV	182
„ XV	184
„ XVI	205
„ XVII	225
„ XVIII	237
„ XIX	245
„ XX	254
„ XXI	265
Примечания	291
Перечень репродукций	347
Указатель имен	349



2020075955